ISSN 0012-6756

ДРУЖБА НАРОДОВ

- *Инга Кузнецова*
  Из «Книги реки и осоки»
  Стихи
- *Елена Долгопят*
  Как стать видимым
  Повесть
- *Рада Полищук*
  Лапсердак из лоскутов
  Два фрагмента новой книги
- *Анатолий Цирульников*
  Тамань до большого взрыва
- *Юрий Каграманов*
  Китайский реверс

ДРУЖБА НАРОДОВ 6/2011

6'2011

ДРУЖБА НАРОДОВ

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

6'2011

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Инга КУЗНЕЦОВА. Стихи из «Книги реки и осоки». *Стихи* **3**
Елена ДОЛГОПЯТ. Как стать видимым. *Повесть* **8**
Денис ГУЦКО. Тварец. *Рассказ* **25**

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
Сергей ВАСИЛЬЕВ. Не прячь лица. *Стихи* **34**
Багаутдин АДЖИЕВ. Волны Хазарского моря. *Стихи. С кумыкского. Перевод Сергея Васильева* **36**

Елена СКУЛЬСКАЯ. Новые рассказы о Баклане **39**
Алексей ИВАНТЕР. На окрайне Ильинского сада. *Стихи* **51**
Рада ПОЛИЩУК. Лапсердак из лоскутов. *Два фрагмента новой книги* **55**
Ната СУЧКОВА. Благовест птичий. *Стихи* **83**
Григорий АРОСЕВ. Два рассказа **86**
Рубен ОВСЕПЯН. Под абрикосовыми деревьями. *Роман. С армянского. Перевод Лилит Овсепян* **100**

Публицистика

Арсен МАРТИРОСЯН. 22 июня 1941 года **134**
Юрий КАГРАМАНОВ. Китайский реверс **149**

Нация и мир

СТРАНА РОССИЯ
Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Тамань до большого взрыва **165**

Критика

Илья ФАЛИКОВ. Прозапростихи. *Три этюда* **185**

Книжный развал

Даниил ЧКОНИЯ. Общий план любви **198**
Елена ЗЕЙФЕРТ. Мамона, Чубайс и блаженная Матрона **200**
Владимир ШПАКОВ. Краеугольный камень **203**
Михаил РУМЕР-ЗАРАЕВ. Эпизод из жизни ученого **206**
Андрей ТУРКОВ. Милость к падшим… **208**
Анна ПАПЧЕНКО. Дорогами фантазий **213**

Говорят лауреаты премий журнала «Дружба народов» за 2010 год **215**

Эхо

Приземление рюмки. *Рубрику ведет Лев Аннинский* **220**

Summary **224**

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2011 году
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.
Наш индекс 70250

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА,
Галина КЛИМОВА, Владимир МЕДВЕДЕВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ,
Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ, Александр
КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЁДУШКИНА, Давид МУРАДЯН,
Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, ЭЛЬЧИН,
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

© «Дружба народов», 2011

Инга Кузнецова

Стихи из «Книги реки и осоки»

1

наводнение а сердце не может плавать
песок а оно не умеет на велосипеде
ну давай сердце-лава рули влево-вправо
не вступай в прямые беседы

все сначала
        подгнивающие колоды
слов ни поднять ни понять диафрагма батут
прыгает сердце оно не лодырь
падает сердце в колодец
оно там и тут

понимаю экспрессионистов
        виртуальные нежности производят
грозы междугородние
        чуть прибивает пыль
здесь — у тебя встают и обрушиваются жестяные заводы
на глазах возбужденной толпы

жарко поджарое сердце бежит впереди меня как собака
натягивая поводок
по облакам забрызганным
        некогда лакать и плакать
облаков транспортный поток

вот и автобус сжимается сердце
        прячась в карман нагрудный
«огнеопасно» надписи
        это сквозняк или крушения дрожь
сердце превращается в гонщика
        разбивается не боясь но
сообщения не проходят
                дождь

в воздухе в сетке памяти бьется тяжелый вымысел
сердце в воде ты под водой
        космос сплошной водоем
впадинка на запястье пульсирует
        тело вынеси
как прием
        есть прием

Кузнецова Инга Анатольевна — поэт, переводчик, литературный критик. Родилась в 1974 г. в поселке Черноморском Краснодарского края, провела детство в академгородке Протвино. Окончила факультет журналистики МГУ. Автор книги стихов «Сны-синицы» (М., 2002), удостоенной молодежной премии «Триумф» и профессиональной премии поэтов «Московский счет»; в 2010 г. вышла книга стихов «Внутреннее зрение». Живет в Москве.

5

я только и могу
что идти по волнистому воздуху по проводам
выцветшим городам
и просить уважительно посторониться
усталых птиц
я только и могу
что смотреть как быстро
впитывается вода
в песок а время в лица

о как целуются пересохшими хоботками
капустницы над цветками

я только и могу
что падать в траву
сталкиваясь с запоздалыми июньскими жуками
скатываться в овраги
я не реву
рвать и комкать тело из бумаги

лес малинный
ты дразнишь разницей всякого естества
и человечьего текста
бузины бы синичьей наесться
лягу ничком
лес твой тест на
просветы проходит одна листва

о как целуются пересохшими хоботками
капустницы над цветками

с земляникой сникаю
с зябликом зябну
в мох зарываюсь как рыжик
говорю о любви
перед сонмами мошек и муравьев
поднимаюсь лечу вот и плоские крыши
небо неба наполнено до краев

по неровному воздуху как парашют
одуванный
о западный ветер давай ну
я тебя прошу
изменяется
так расстояние меж городами
не одолеешь годами

ничего не поделаешь
лета таблетки глотать
пилюли июля
небо сомкнулось
с бабочек сыплет пыльца
только б успеть закрепиться на сизом крыле
голубя

грохот
бегу и скребу по земле
лист я
хочу чтоб меня развернули
ливень
прочли до конца

о как целуются влажными хоботками
капустницы над цветками
тяжелыми точно из мокрой ткани

6

вот и конец
месяца смерть обещаньям
лак обечайкам
сердце-птенец
чуть оперен
жизни пока
необучаем

вот и финал
лета в его сердцевине
боснии-герцеговине
вот и казанский вокзал
страшно сказал
вечности нету в помине

сгнившие доски
ракиты и скрип
скрипки уключин
вот отголоски
оркестра вдали
клич невезучей трубы
концерт неуклюжий

вот и тоска мегаполиса
жуть
так муравейна
так откровенна
выносить по лесу б
нежности шум
ветер ввести внутривенно

вот и неверия шок
жалкий расчет
как каталог
без персоналий
нет поупрямься еще
буйствуй еще
пассионарий
смерть обещаньям
отпор
фразам расхожим похожим
друг на друга
даешь с этих пор
власть тонкокожим

власть кистеперым
что прибивает к теплу
тела приливом
мимо того кто рассудочно груб
власть тем кто нежен и глуп
нетерпеливым

детям фонтаны секреты
влюбленным мосты телеграфы
качели
этим декретом
волю жирафам
солдатам
весну ботичелли

смерть обещаньям
сомненьям словам «точно»
обвалам височным
необычайно
летящему лету в тебе и во мне
пропуск бессрочный

12

дерево погибает
в дереве зреет раскол
засыхает ствол
боковая ветка становится главной
переход этот смелый и плавный
звук гобоя
орешник зацвел

о рябинный глубинный обиженный бог
выгляни между строк
на краю удивленья ночного
на краю удивленья ночного

светом облитый с лихвою
в городе зреет сентябрь
в летней маске шутя
растянутые дни растяп
он смешивает с листвою

о рябинный глубинный обиженный бог
выгляни между строк
на краю удивленья ночного
на краю удивленья ночного

я споткнулась качнулись слова
дикорастущие их собака
обнюхала расцеловать
хотелось лицо ее и заплакать
тебе по течению вниз
отправить орехов и низку ягод
веселой возни
синицам летягам твоим хватит на год

о рябинный глубинный обиженный бог
выгляни между строк
на свету озаренья дневного
на свету озаренья дневного

16

падающий на меня
тяжелый день
в фортку боли голову продел
фурами гремя стеклами звеня
падает он на меня

это я тягучей ниткой шью
рыбам сна сквозную чешую
падают срываются с дерев
тучей птичьи тени на меня
ножницы для разрезанья дня
чик-чирик для измельченья дня
на мою иглу не обменять

падай день падение твое
до дождей последнее шитье
частный смысл как чаща поредел
эти рыбы видимо предел
падай день

17

безумие привкус железа во рту
удерживай боже меня на свету
о бог грозовой мой читай между строк
сквозь тающую наготу

обыскивай лепет но ты не найдешь
под ужасом трепетом логики ложь
все зримо зверино рычит и кричит
живое шерстистое сплошь

глазастые вещи в засаде слова
все требует пищи и хочет порвать
меня на куски не покормишь с руки
как кружится голова

о древний молчащий мой молничий бог
здесь неба порог клокотанья исток
я больше не выдержу я перейду
за мыслимую черту

черти предначертывай сбудется бус
рябинное горькое пламя и пусть
я выйду из тела нет я не боюсь
в светящуюся наготу

Елена Долгопят

Как стать видимым

Повесть

1. 1986

Бумага лежала у меня на столе. Я смотрел в нее и молчал.

Заявление на отпуск, три строчки, я полагаю, он не мог взять в толк, отчего я так долго их читаю. Не представляю, о чем он мог думать, стоя перед моим столом в ожидании. У меня никогда не хватало воображения представить, что думает другой человек. Даже обо мне. У меня просто желания никогда не возникало узнать.

— Что-то не так? — он спросил, решился наконец.

— Что у вас было в восемьдесят шестом году?

Он, конечно, растерялся от такого нелепого вопроса. Задумался. Я бы, кстати, тоже задумался. Не так просто вспомнить, что было в восемьдесят шестом, четверть века прошло. Если только с этим годом не связано что-то особенное. У меня — ничего.

— Может быть, вы квартиру получили в восемьдесят шестом? — я спросил. — Или развелись? Нет? Ну, не знаю. В отпуск куда-нибудь ездили? В Болгарию. Я помню, вы что-то про Болгарию рассказывали.

— Болгария в семьдесят четвертом была.

— Отлично. Тогда что в восемьдесят шестом? Что-то очень приятное? Любовницы у вас не было?

— Никогда.

В отделе у меня четверо. Леониду, который ждал моей подписи, скоро шестьдесят, но отчество не прижилось, звали по имени. Маша сидела дома, с ребенком. Лариса и Геннадий о чем-то перешептывались, шур-шур, как мыши, они редко в голос меж собой разговаривали, все тайно. Мне никогда не хотелось узнать, о чем они, но и шур-шур раздражало. Они и жили вместе. И не уставали друг от друга, что удивительно. Когда я спросил Леонида про любовницу, они шуршать перестали, притихли. Смотрели во все глаза, ничего не понимали, конечно.

— Тогда, наверно, что-то очень плохое было, — сказал я Леониду, — Восемьдесят шестой. Вспоминайте.

— Перестройка началась, — тихо пискнул со своего места Гена.

— Наплевать на перестройку, — я сказал. — Или не наплевать?

Я посмотрел пристально на Леонида.

— Не знаю, — сказал он растеряно.

— Сын погиб? В каком году он погиб?

Вопрос, конечно, был страшный, я это понимал прекрасно. Мыши молчали — тоже ответ ждали. Боялись ответа.

Елена Долгопят род. в г. Муром Владимирской обл. в семье военнослужащего и учительницы. Окончила Московский ин-т инженеров транспорта (1986), сценарный ф-т ВГИКа (1993). Работала программистом на военном объекте в Московской обл. (1986—89). Научный сотрудник Музея кино. Прозаик, кинодраматург. Постоянный автор «ДН». Последняя публикация — № 2, 2010.

— Саша погиб в восемьдесят восьмом, — ответил Леонид ровным, скучным голосом. — Попал под машину.

— Да, я в курсе. Кажется, он сам был виноват, помчался на красный.

— Он спешил.

— Очень хорошо. В восемьдесят шестом он был еще жив. Не надо делать такое трагическое лицо, я вас про восемьдесят шестой год спрашиваю, ваш сын жив. Он в этом году школу закончил?

— Что вы хотите от меня, Сергей Николаевич?

— Ничего. Просто любопытно, с чего вы вдруг подписали заявление тысяча девятьсот восемьдесят шестым годом.

Я подтолкнул бумагу к краю стола. Он растеряно взял лист. Сощурился.

— Восемьдесят шестой, восемьдесят шестой, не сомневайтесь. Очки на столе у вас лежат, идите и посмотрите. И перепишите заявление, я уйду через пять минут, у директора совещание.

Мыши затаились. В батареях что-то зажурчало и смолкло. Его ручка зашуршала по бумаге.

На совещании я смотрел в окно. Подъехала к крыльцу «скорая», побежали из нее врачи. Вызвали Леониду, как выяснилось. Когда я вернулся в отдел, его уже увезли с сердечным приступом. Мыши на меня не смотрели, стучали по клавишам. Всегда бы так работали.

До вечера так молча и просидели, ни словом не перемолвились.

Топ-топ, ушли, до свиданья. Я дописал программу и выключил компьютер. У Николая компьютер так и работал, я сел за него, поерзал мышкой и экран осветился.

Я рассмотрел его фотографии, в почтовый ящик залез. Абсолютно чужд был мне этот человек, неинтересен, я смотрел равнодушно на его лицо, на снимках он выглядел старше, особенно на солнечных, где-нибудь в отпуске, на улочке средиземноморской или у моря. В нормальном состоянии я бы слова ему лишнего не сказал. Попросил бы переписать заявление и все, разговор окончен. Я всегда держал дистанцию, скучно и хлопотно лезть в чужую жизнь.

2. Ужин

Дома за ужином все было обыкновенно, я слушал радио, ел и молчал. Жена у меня домохозяйка, сын в восьмом классе, учится неплохо, занимается борьбой, что-то японское, сейчас модно. Он Вале рассказывал что-то, смешное, и сам не мог удержаться от смеха, но смеяться ему было больно, зуб вырвали, он и ел с необыкновенной осторожностью, обычно пожирал все мгновенно. Валя даже огорчалась, что он не чувствует вкус, не успевает, и говорила любовно, что он — ее домашнее животное. Готовит она и в самом деле превосходно. Для меня одно из удовольствий ужин дома. Уют и вкусная еда — одно из условий моего существования, как ни смешно это звучит.

Но в этот вечер я не чувствовал вкуса. И радио меня раздражало, я поднялся и его выключил, и это было так необычно, что мои за столом смолкли, сын уставился на меня во все глаза, а Валя улыбнулась растеряно. Дело было не в раздражении. Это и нельзя назвать раздражением. Я написал, что не чувствовал вкуса еды, но я ничего не чувствовал, знаете, было такое состояние, как будто спишь. Хотелось укусить себя за руку. Мне казалось, что люди, сидящие со мной за одним, маленьким, тесным, столом, не существуют. Хотя я их слышал и видел. Или существуют где-то очень от меня далеко. И как будто все дальше и дальше от меня уходят. Вселенная расширяется, несомненно. Я не знал, что мне с этим делать. И, разумеется, не в этот вечер все началось, но в этот обострилось. Или историю обострения следует начинать с Леонида? Как будто они все удалились от меня на слишком уже большое расстояние, пугающее.

Я нацепил на вилку кусок мяса и спросил сына буднично:

— Можешь мне помочь в одном деле?

Он жевал осторожно и смотрел выжидающе.

— Надо одного человека убить.

Сын прекратил жевать. Валя посмотрела на меня испуганно.

Я продолжал невозмутимо:

— Он живет на верхнем этаже, выше только чердак, до лифта надо спускаться два пролета. Его просто надо столкнуть с лестницы, когда он выйдет гулять со своим псом. Ближе к полуночи. Очень удобно, народ, в основном, спит. Человек он старый, под восемьдесят, жить ему уже надоело, я полагаю. И псу его жить надоело. Сделаешь доброе дело и денег подзаработаешь.

Могу поклясться, что сын мой слушал меня с интересом, он может и сам не желал в себе этого интереса, и не хотел, но интерес был, проявился.

— Милая, ты не подашь мне хлеба? — спросил я жену.

— Сережа, зачем ты? — с упреком, недоуменно сказала Валя, и подала хлеб.

— Спасибо, дорогая.

И сын, и она следили за мной: как я откусываю хлеб, как жую, как запиваю уже прохладным чаем.

— За сколько столкнешь старика? — спросил я.

— Серьезно?

— Абсолютно.

— Десять тысяч евро.

— Губа не дура. На что потратишь?

— Мотоцикл куплю.

— Кто тебе продаст, малолетке?

— Ты купишь.

Мы смотрели друг на друга, глаза в глаза, как в игре кто кого переглядит. Сын отвел глаза первым. Я отставил чай, поднялся. Уходя, я слышал, как Валя что-то прошептала сыну, но он, по-моему, не ответил. Я вернулся и положил на стол перед ним пять бумажек по сто евро. Он посмотрел на деньги, на меня.

— Аванс, — пояснил я.

И сел за стол.

— Чаю не нальешь еще? — спросил Валю.

Она молчала, не двигалась. Сын медленно собрал бумажки одну к одной. Жена смотрела заворожено, как он это делает. Как складывает бумажки пополам и прячет в задний карман джинсов. Затем берется за хлеб.

— Миша, — тихо позвала его Валя.

Он не взглянул на мать. Провел хлебом по тарелке, собирая соус. Отправил хлеб в рот.

— У тебя руки грязные, — сказала Валя, — после денег.

Но сын не отвечал. Дожевал и спросил меня:

— Он толстый?

— Старик? Да. Зато неуклюжий. Толкнешь — не поднимется. Ты оденься как-нибудь понезаметнее, у тебя куртка яркая, надо черную, все надо черное, шапочку, штаны, чтоб как униформа, таких ребят тысячи, никто не опознает.

— Нет у меня черной куртки.

— Купи на рынке. Деньги у тебя есть. Вложи маленько в предприятие.

Валя молчала и растеряно следила за нашим разговором.

— И отвернись от камеры наблюдения, она перед подъездом обозревает. И не беги обратно. Иди спокойно. Можно даже хромать.

— Зачем?

— И туда хромать, и обратно. Это с толку собьет. Будут искать хромоного.

— Меня собака смущает.

— Она старая. Зубов нет, чтоб кусаться.

— Все равно.

— Ну, хочешь, и собаку убей.

— Сережа, что ты несешь? — Валя пыталась уловить мой взгляд. — Миша, не слушай его, бога ради.

— Далеко он живет? — деловито спросил сын.

— Я тебе завтра адрес дам.

И я поднялся из-за стола.

— Что за игры? — остановила меня Валя.

— Игры? — удивился я.

Не знаю, о чем они говорили, я ушел к себе, в так называемый кабинет. Там у меня книги, компьютер, я закрываю дверь и никто не входит. И здесь балкон. Я выхожу курить ночью, смотрю на город, он практически скрыт, только огни обозначают что-то: окно, за которым живут, кто и как, мне нет дела, фары автомобилей, куда они, с кем, неважно, уличные фонари. Иногда я не выхожу, меня почему-то не тянет туда, к огням в темноте, я сажусь в кресле у открытой балконной двери. Даже зимой. Когда снег идет, мне кажется, я слышу, как он шуршит. И как сигаретный дым тянется или я не знаю, какой тут подобрать глагол. Но дым я тоже слышу. Я практически не курю, привычки нет, но в кабинете за книгой, поздним вечером тянет, не к сигарете, к красному ее огоньку, к уходящему дыму. У меня вообще нет вредных привычек, здоровье отличное. Я проживу лет до ста, если машина не собьет. Под машиной я разумею того театрального бога, который разрешает все неразрешимые вопросы, развязывает сюжетные узлы и бесит критиков топорной работой. Да, топором по башке тоже могут дать.

Мне не хотелось видеть город, я зашторил окна. Устроился в кресле. Шторы у меня плотные и я почти ослеп в темноте. Говорила за стеной жена. Может быть, с сыном, а может, по телефону, ответов я не слышал. У соседей как будто кто-то мебель передвигал. Затем они включили телевизор, наверно, какой-то фильм про любовь, с долгими лирическими музыкальными паузами. Но все это меня не касалось, все эти звуки не имели никакого отношения к моей жизни. В конце концов они стихли. Но не все звуки умерли. Вода урчала в трубах, за окном по шоссе шли машины. Вдруг скрипнуло что-то в моем кабинете, и этот близкий, внезапный скрип меня напугал. Как будто кроме меня еще кто-то здесь оказался. Я включил лампу. Золоченые буквы поблескивали на корешках. Оказывается, на корешках моих книг много золоченых букв.

3. Миллиардер

Жена читала в постели. Она взглянула на меня и вновь опустила глаза в журнал. Путешествия. Какая-то экзотическая страна. Я рассматривал ее читающее лицо. Она перевернула страницу.

Я улегся на своей половине, забрался под одеяло. От жены исходило тепло. Она вообще-то редко мерзла, в морозы ходила в легких сапогах, а у меня ноги вечно ледяные.

— Можно вопрос? — жена повернулась ко мне.

Я тут же закрыл глаза.

— Зачем ты устроил этот цирк?

Я молчал и глаз не открывал.

— Миша тебя уважает. Я слышала как-то раз нечаянно, он тобой хвалился перед приятелем, перед этим Федей, но ты Федю, конечно, не помнишь. Ты вообще не знаешь, чем твой сын живет. Ты когда-нибудь интересовался у него, как дела? Я не помню. Про беседы задушевные и говорить нечего. Здравствуй. Спокойной ночи. Подай хлеб, пожалуйста. Все твои к нему обращения. При этом он тебя любит, что удивительно. И хочет тебе понравиться. Ты в курсе, что он тебе понравиться хочет? Скажи мне, с чего ты вдруг завел этот бред с убийством? Что ты от него хочешь?

Я молчал, глаз не открывал, дышал ровно.

— Кто этот старик?

Я слышал, как она журнал бросила на столик. Щелкнула кнопкой, погасила лампу.

Я открыл глаза. За окном мерцало ночное небо.

— Ты помнишь, за тобой в институте Меламуд таскался? — спросил я. — Он, кажется, чуть не травился из-за тебя. Или под поезд бросался, я не помню. Или

подрался и в милицию попал. Он сейчас в Швейцарии. Миллиардер. Не женат. Благотворительностью занимается. Они все сейчас благотворительностью занимаются.

Она молчала.

Я повернулся к жене. Приподнялся на локте. Она лежала с открытыми глазами.

— Неужели ты не думаешь об этом? — спросил я.

— О чем?

— «Как жаль, что я его тогда упустила, жила бы теперь, как королева, в Швейцарии, и у сына будущее было бы не в пример более ясное и прекрасное». Так? Или у дочки. Или ты бы ему шестерых родила.

— Да, — сказала она, — подумала. Я бы действительно могла быть сейчас в Швейцарии.

Я лег затылком в подушку, руки заложил за голову.

— Не могла бы.

Я улыбнулся в темноту.

— Я понятия не имею, где сейчас Меламуд. Может, где-нибудь в Самаре. Или в Ашдоде. Может в Нью-Йорке концы с концами сводит. Я выдумал про Швейцарию.

Она не отвечала.

— Хотя, конечно, может, и в Швейцарии, может и миллиардер, чем черт не шутит?

Я отвернулся, поджал заледеневшие ноги и закрыл глаза.

4. Утро

За окном светлело небо. Ноги согрелись, и я наслаждался их теплом. Я слышал шум воды, голоса из кухни, звяканье посуды.

Собирались они очень долго, ходили по коридору, включали и гасили свет, переговаривались. Меня никто не тревожил. Затворили дверь, повернули в замке ключ. Ушли. Завтракать я уже не успевал. Торопливо принял душ, оделся. Вошел в кухню проверить завернут ли газ. В мойке стояла кружка с остатками чая. Что-то в ней было чрезвычайно одинокое, заброшенное, покинутое. Как в остывшей планете. Нет тепла — нет жизни.

Я нащупал ключ в кармане куртки.

До работы добрался очень уж быстро, везде передо иной вспыхивал зеленый свет и мгновенно рассасывались пробки. Так что я не опоздал. Подкатил почти к самому крыльцу, еще нашлось место. Из машины не выходил. Сидел и смотрел, как люди идут на работу. На улице было холодно, почти предзимняя погода. Пронизывал людей ветер, они отворачивались, опускали головы, спешили. И, несмотря на такой холод, был жив комар. Он сидел на лобовом стекле со стороны улицы. Я ждал почему-то, что он улетит. Но он не двигался. Он как будто ждал, что стекло растает, растворится и он мгновенно окажется в тепле, возле живого человеческого тела. Мне стало не по себе, будто стекло и в самом деле могло раствориться. Я включил «дворники», и они смахнули комара.

Рабочий день уже начался. Крыльцо пустело.

Подкатил троллейбус, вышли из него мои мыши. Одеты они были тепло, уютно и не спешили, не боялись опаздывать, я к опозданиям относился спокойно, я вообще был не требовательным начальником, хотя мыши меня все-таки побаивались, да и все меня побаивались на работе.

На холодном ветру их лица раскраснелись. Они были близко уже к моей машине, я лег на сиденье, чтоб они меня не увидели. Радио у меня бубнило, я всегда включаю радио, я даже в детстве уроки не мог делать без радио, мне как-то спокойнее с ним. Сказали погоду на завтра, еще холоднее, возможен снег, и я поднялся. Мыши прошли, на крыльцо вышел охранник и закурил. Я завел двигатель, и поехал — от работы. Просто от работы, никакой другой цели у моего движения не было.

Я попал в пробку, как в ловушку.

Долгое стояние меня раздражило, и я при первой возможности свернул в арку большого дома и въехал в унылый двор. Вышел из машины.

Их было пятеро. В черных куртках, джинсах, кроссовках, в черных трикотажных шапочках. В точности как я предлагал одеться сыну для убийства. Они стояли на детской площадке. Пока я подходил, один из них уселся на качели и стал не спеша и несильно раскачиваться. Я расслышал их разговор.

Говорил парень с сигаретой. Примерно так:

— Америка воспринимала творчество Скотта и Байрона не просто как уникальные литературные достижения, но как часть общего потока английского романтического движения.

Он дал прикурить от своей сигареты парню на качелях.

Самый из них низкорослый и юный, лет двенадцати, не больше, заявил:

— Своего Байрона в Америке не нашлось. Ближе всего, по спецификациям, подходил Эдгар Алан По.

Стоящий с сигаретой затянулся и выдохнул с дымом:

— Самым «байроническим» из американских штатов был, очевидно, Виргиния.

Я подошел вплотную, вошел в их круг, и они смолкли.

Все было, как я описываю: качели, сигареты, низкорослый мальчишка среди ребят постарше, но разговор другой, я соврал про Байрона, списал из предисловия к книге стихов По. Разумеется, они не могли говорить ничего подобного. Или могли?

Разговор вели про то, как маленький проник в ночной клуб, куда его старшие приятели не попали, не прошли фейс-контроль. Через окно в туалет. До окна добрался по пожарной лестнице. Постучал в стекло. И ему, о чудо, открыли. Туалет был дамский. Приятели маленькому не верили, говорил, что в клубных туалетах нет окон.

Они смолкли, когда я вступил в их круг. Я понял, почувствовал, что главный тот, кто покачивается на доске. Поскрипывали тросы, на которых доска крепилась.

— Вы бумажник не находили? — спросил я главного. — Черный, лаковый, с монограммой серебряной. Не серебряной, конечно, просто белый металл. Я здесь уронил, ровно на этом месте.

Все зашарили по земле глазами.

— Не видели?

— К сожалению, нет, — сказал главный.

Насчет «к сожалению» я не вру. Так и сказал.

— Денег много было? — спросил маленький.

— Почти сорок тысяч.

— И давно уронил?

— Минут двадцать назад. Не больше.

— Уверен, что именно здесь? — спросил главный.

— Уверен.

— Отчего же не подобрал?

— Забыл.

Маленький засмеялся.

— Да, забыл. Ничего смешного. Вспомнил и вернулся.

— Мы здесь больше часа сидим. Это я к тому, что ты не мог здесь двадцать минут назад что-то уронить. Тебя здесь не было двадцать минут назад, понимаешь?

— Понимаю, — сказал я. — Отлично понимаю. Бумажник у вас, да? Верните, ребята. Нехорошо чужое брать, грех это.

— Никто твой бумажник не брал, — сказал маленький.

— К сожалению, — добавил главный.

— К сожалению, — подхватил маленький.

— Покажи карманы, — сказал я главному.

— Что? — улыбнулся он.

— Встань, — жестко сказал я, — покажи карманы.

Он встал и придержал качели за трос.

Ребята напряженно молчали. Следили за каждым его движением.

— Карманы, — приказал я.

— Ага, — сказал он. И врезал мне в лицо. Я бы упал, но сзади меня подхватили.

Он въехал мне ногой в живот. Сзади меня отпустили, я рухнул. Старался закрыть голову от ударов.

Женский пронзительный крик их спугнул.

Кричавшая подошла ко мне. Я скорчившись сидел на земле. Она заглянула мне в лицо.

— Скорую вызвать?

— Нет, — сказал я.

— Милицию-то бесполезно вызывать, у Гришки у самого отец в милиции работает.

— У какого Гришки?

— Мальчишка, сосед мой, за этими обалдуями таскается. Возьмите, — она протянула мне бумажный платок.

— Ничего, — сказал я.

— У вас кровь из носа.

— Ничего, все в порядке. Идите. Идите, правда. Все нормально.

Она ушла, я лег на землю. Лежал, смотрел в небо, шел редкий, едва заметный снег, от ветра поскрипывали качели. Кровь остановилась. Я замерз.

5. Костоправ

Я увидел собственный скелет, как герой «Волшебной горы», при жизни. Кости были целы. Хирург сказал, что мне повезло и убрал снимки. Хирург — так на двери кабинета было написано, а представился он мне костоправом.

— Кто вас разукрасил? — поинтересовался.

— Ребята, подростки.

— Знакомые?

— Нет.

Мы были одни в кабинете, сестра отпросилась, кажется, у нее приехали родственники из-за границы. В коридоре ждала очередь, но он не спешил. Долго искал бланк на столе, шуршал бумагами, уронил ручку, посмотрел, как она катится, и пошел следом. Я сидел на затянутой белым кушетке. В сумерках это белое казалось чистым, а когда он зажег свет, я разглядел на белой простыне выцветшие пятна. Кровь?

Он поднял ручку и пробурчал:

— Ненавижу подростков.

— Они не при чем. Я их спровоцировал.

Он посмотрел с недоуменным любопытством.

— Зачем?

В темном ночном окне отражалась-светилась лампа.

— У вас не было никогда чувства, что вас как будто уже и нет на этом свете? Вы живы, здоровы, все отлично, но на самом деле вас давным-давно нет.

Ничего не ответил костоправ. Вернулся к столу, уселся на вертящийся стул. Чиркнул ручкой по бланку. Спросил, не взглянув:

— И что? Легче стало?

— Да.

— То есть, сейчас ты — живой? — он отложил ручку и уставился на меня. Любопытно, почему он решил вдруг перейти на «ты»?

Я посмотрел на свои пальцы, пошевелил, как бы пытаясь увериться, что да, живой.

— Тебе к психиатру надо. К психотерапевту, так скажем.

— А я ходил.

— Серьезно?

— Кучу денег отдал.

Он смял бланк, скомкал, бросил в урну и не попал. Посмотрел на бумажный комок долгим взглядом. Комок вдруг зашуршал разворачиваясь, можно подумать и он — живой. Костоправ взял новый бланк. Склонился над бумажкой, начал писать.

— Я тебе сейчас телефон пишу. Анатолия Ивановича. К нему не попасть, но он мне должен.

— И с чего ты мне вдруг такое одолжение делаешь? — спросил я.

Он отложил ручку, откатился на кресле от стола к моей кушетке и протянул бланк. Кроме телефона там ничего написано не было.

— Мой отец погиб в сорок шесть лет при невыясненных обстоятельствах, — сказал костоправ, близко глядя мне в лицо. — Его нашли на рельсах под пешеходным мостом. То ли сам прыгнул, то ли сбросили, никто не видел. Незадолго до гибели, буквально за пару дней, я застал его перед зеркалом. Я увидел, как он смотрит на себя в зеркале. Я этот взгляд на всю жизнь запомнил. У тебя был точно такой же, когда ты глядел в зеркало на свою разбитую рожу.

Он оттолкнулся ногой и покатил в кресле к столу.

— И какой был взгляд? — спросил я.

— Никакой. Не видел ты себя. Не наблюдал. — отвечал он. И добавил. — Я ж не писатель, чтобы описывать

6. Вечер

Никто не открывал и пришлось искать ключ. Входить в темную и холодную, как будто нарочно выстуженную квартиру. Хотя батареи были жаркие, а запертые окна не пропускали уличный промозглый воздух. Но пропускали ночную тьму, едва разбавленную фонарным светом.

Я уселся на диван в большой комнате, она же спальня, уставился в телевизор, точнее, в его пустой серый экран.

Записка лежала в кухне на столе:

«Суп в холодильнике, там же плов. Белье перестирала и перегладила. Купила хлеб и молоко. За квартиру заплатила. Мы у мамы.»

Это было большое облегчение сидеть одному в доме перед слепым экраном ти ви.

Захотелось есть и я разогрел плов. Радио за ужином не включал, не от кого было прятаться за звуками. Пришло в голову, что звуки — кокон, я в нем защищен, как в состоянии до-рождения. Жена с сыном были в общем-то рядом, на соседней улице. Наверное, уже спали.

7. Обеденный перерыв

Утром я проснулся раньше будильника, но вставать не стал, смирно долежал до звонка. Отправился в ванную. Лицо в зеркале страшное после вчерашнего. Зубы чистить больно и бриться, но я стерпел и выбрился тщательнейшим образом, до младенческой гладкости. Выпил болеутоляющее, поел, оделся, как на прием: белая рубашка, черный дорогой костюм, темно-вишневый галстук. Жаль, фрака нет в заводе, я бы в него вырядился.

На работе меня встретили мыши. Тревожными яркими глазами. Я поздоровался, они не ответили, глаза мгновенно отвели. Погрузились в работу.

От них исходила ненависть и растерянность. Кажется, у всех этих вещей есть запах, и у ненависти, и у растерянности. И у любви, и у страха, и у боли. Не в прямом смысле, наверно, — запах, но что-то вроде этого. То, что сразу улавливаешь.

Они, видимо, после вчерашнего решили объявить мне бойкот. Я проверил. Спросил, как там Леонид в больнице. Ответа не последовало. И все же их мощный заговор был поколеблен. Отсюда растерянность. Моя разбитая физиономия их смутила. Сочетание разбитой, разбойной физиономии с парадным костюмом. Интересно, что до самого обеда они не перемолвились словом не только со мной, но и друг с другом.

Обед у нас начинается в час. Я ухожу в столовую. Они приносят еду с собой. Их столы стоят рядом, впритык торцами, так что получается как бы один длинный стол

на двоих. Посредине они стелют салфетку, выкладывают судки, режут хлеб, включают чайник. Мне кажется, после обеда Геннадий курит, видимо отворяет окно и запирает дверь, и получает массу удовольствия. Я не застал ни разу, но запах не весь выветривается, да и следы пепла остаются на подоконнике. Леонид тоже обычно ходит в столовку и даже занимает мне очередь и пропускает в этой очереди вперед. Я столовскую еду ненавижу, но таскать еду из дому не смог бы. И есть на рабочем месте отвратительно. Столовка — хоть какое-то отвлечение, иногда и развлечение.

Мой компьютер показал ровно 13.00. Мыши выглянули из-за своих мониторов.

Минута прошла, другая. Я не поднимался и не уходил. Сидел за компьютером, стучал клавишами. Время шло. Первой поднялась Лариса. Поставила чайник. Геннадий сдвинул бумаги и расстелил салфетку. Выложил судки и свертки. Чайник вскипел. Судки Лариса вынула из микроволновки. Он тем временем резал хлеб.

Я встал, когда они принялись за еду. Вынул из шкафчика кружку, бросил пакетик, налил кипятку.

С дымящейся кружкой я направился к ним. Геннадий взглянул на меня почти испуганно.

— Хлеб мне передай, — сказала ему хладнокровно Лариса. И он торопливо отвлекся на хлеб.

Я поставил кружку на край стола, возле их скатерти-самобранки. Придвинул стул и уселся напротив. Они старались не обращать на меня внимание. Ели. Лариса сказала ему негромко, домашним голосом:

— Развалились голубцы все-таки.

Я сидел напротив них со своей кружкой. Улыбался. Хотя улыбаться было больно.

— Вкусно? — спросил я вдруг. — Можно попробовать?

Геннадий замер. Я вынул из его окоченевшей руки вилку. Подцепил в его судке кусок голубца, отправил в рот. Оба они смотрели, как я жую, и молчали. Голубец мягкий и жевать было терпимо.

— Замечательно, — сказал я. — Очень вкусно. Прекрасно. Ваша жена прекрасно готовит, я так не умею.

— Это я готовлю, — глухо сказал он.

— Потрясающе! — я подцепил еще кусок. — Великолепно. Я бы на вас женился.

Он смотрел на меня со страхом, а вот она — с ненавистью.

Я подобрал последний кусок, проглотил. И нацелился вилкой в ее судок.

— Можно?

— Нет, — жестко сказал она и дернула судок к себе.

— Вы меня прямо глаза прожгли, — сказал я. — Зеркало моей души прожгли и оказались внутри, а не снаружи. Это знаете, почище секса. Такая близость.

Я обратился к нему:

— Она вам изменила сейчас. Со мной.

Геннадий сидел жалкий, потерянный.

Я внезапно спросил Ларису:

— У вас была кличка в детстве? А у меня была. Ванька мокрый. Чтоб вы чего не подумали, это цветок. Я написал в сочинении, что у нас дома на подоконнике растет Ванька мокрый. Вот какие сокровенные подробности вы теперь обо мне знаете! Как честный человек вы обязаны ко мне переехать.

Я глотнул чаю. Поставил кружку на стол. Поднялся. Вышел из кабинета. Я был как будто пьян.

8. Вечерний театр

Темнело. В доме напротив зажигались огни.

Мне принесли кофе. Но я его не пил. Я очень устал. После обеденного перерыва из меня будто душу вынули. Я стал равнодушен к своей судьбе, — так примерно.

Хотя и нет ни души, ни судьбы, это только в литературе они появляются, самый главный вымысел. Литература — сказка о реальности, придание реальности смысла и значения, прекрасного или ужасного, возвышенного, уродливого, хотя бы какого-

нибудь; не смысл, тоска по смыслу. Любое слово, написанное на бумаге, произнесенное или скрытое — оправдание реальности.

Мне и самому темна эта мысль, я не хочу ее додумывать. Я сижу в кафе у окна. В доме напротив горит уже много огней. Электрических, а может быть, и газовых тоже, если у них газовые плиты, в этом доме. Мне безразлично, какие там плиты. Какие там живут люди. Я слишком представляю всех этих людей. Они толпятся передо мной, мне тесно с ними, я их прогоняю, они меня не слушают и стоят упрямо перед глазами. Вчера я звонил по номеру, который мне дал костоправ. «Анатолий Иванович», — представился мне сухой голос. Он не захотел со мной встретиться, ограничился телефонным разговором. Расспросил, выслушал и дал рекомендации. И я готовился их исполнить.

Я сидел опустошенный перед черным кофе, он поблескивал, подрагивал, внизу проходила линия метро, и все здание подрагивало, вся улица, и черный кофе, который уже давно перестал пахнуть, остыл. Коснуться губами холодного кофе, все равно, что коснуться покойника. Жизни нет.

Около восьми я подозвал официанта и попросил счет.

Я перешел улицу и приблизился к зданию, которое наблюдал из окна кафе. За первым подъездом была черная полуподвальная дверь. Я позвонил в нее, и замок щелкнул, отворяясь. Слева от двери сидел охранник за низким школьным столом. Лампа освещала большие руки. Они лежали без дела. Кажется, он вообще не заметил, что я вошел. На всякий случай я остановился и сказал, что мне назначено.

— Арт-терапия, — зачем-то я уточнил.

— По коридору направо, — сказал он. И записал у себя в журнале: «арт-терпапия». Ручка казалась спиченкой в его лапе. Но удивительно изящно он выписывал буквы. Легкие они у него выходили, стройные, но чуть-чуть непристойные, как подвыпившие слегка балерины, если можно представить таких.

— Гардероб у вас есть? — спросил я.

— Нету.

И я направился узким, бедным коридором.

В небольшом, десять рядов, зале освещена была только сцена. Я различил на ней дощатый пол и узкий длинный стол. За ним сидели двое, мужчина и женщина. Не знаю, видели ли они меня из круга света, ведь я стоял внизу, в темноте.

Они сидели молча за столом, не переговаривались, не двигались. Я даже подумал, не манекены ли это. Но женщина повернула вдруг голову и посмотрела сощурившись в темный провал зала.

Я направился к сцене тесным проходом. По правую руку, в зале, разглядел темную фигуру и приостановился. Женщина произнесла со сцены:

— Нельзя побыстрее? Ждем вас десять минут.

— Часы отстают, — отвечал я миролюбиво.

— Так поставьте их правильно. У нас почасовая оплата, между прочим.

Я почему-то ожидал, что доски сцены будут скрипеть под моими ногами, но они молчали, не выдавали. Я приблизился к столу, лампа висела над ним низко, сосредоточенно.

— Садитесь, — приказала женщина.

— Где?

— Мест много.

— Анатолий Иванович будет?

Она указала глазами в темный зал.

— Занятия по арт-терапии веду я. Анна Игнатьевна, к вашим услугам.

Она сидела с торца, а я устроился за длинную, свободную часть стола, лицом в зал. Плешивый, средних лет, мужчина был от меня по левую руку, но через стол, лицом к мне, спиной к черному провалу. Мне увиделось в этом его положении какое-то особенное спокойствие, устойчивость. Мне было бы неуютно иметь за спиной черный провал. Из которого смотрит на меня так никогда и не увиденный мной Анатолий Иванович.

— Вам успокоительное назначено? — спросила меня Анна Игнатьевна.

— Нет. Я его раньше принимал. В разных видах. Бесполезно. Тупею. Не могу работать. Даже детективы не могу смотреть. Путаюсь в сюжете, как в лабиринте. Переход улицы становится невыполнимой задачей.

— Очень хорошо, — сказала она. И обратилась к плешивому:

— Виктор.

Он сидел, погруженный в себя, в свое состояние, но на обращение женщины тут же отреагировал, вынул из кармана облатку с таблетками, выдавил одну на ладонь, рассмотрел с брезгливым любопытством, как я бы рассмотрел жука, и торопливо закинул таблетку в рот. Перед каждым из нас стояла бутылка с водой. Он отхлебнул из своей. Вытер ладонью мокрый рот.

Анна Игнатьевна тоже приняла таблетку. При этом лицо у нее было строгое и сосредоточенное. Затем она вынула из сумки очки в толстой черной оправе и насадила на узкий нос. Достала из сумки листочки, разгладила, распределила на три худосочные стопки. Одну подтолкнула через стол мне, другую — мужчине.

— Я читаю за Сафонову, — сказала мне. — Вы — за Алексея. Виктор, вы читаете ремарки.

— Сцена номер один, — прочитал Виктор унылым, замороженным голосом.

Подъезд. Дверь отворяется. Входит Алексей. Отряхивается от снега. Стучит ботинками в пол. Идет к лифту. Уборщица Сафонова возит шваброй, во влажном кафельном полу криво отражаются электрические лампы. Завидев Алексея, она оставляет работу. Стоит и наблюдает за ним, опершись на швабру. Он подходит к лифту и нажимает кнопку вызова.

С а ф о н о в а: Что-то не видно жены вашей с сыночком.

А л е к с е й: Они в отъезде.

С а ф о н о в а: В отпуске?

А л е к с е й: У жены отпуск, у сына каникулы.

С а ф о н о в а: Хорошие они у вас. Сынок вежливый, всегда поздоровается. Отличник.

А л е к с е й: Хорошист.

С а ф о н о в а: И супруга вежливая. Но строгая. Я ее Кристиной зову, про себя. Я всем жильцам прозвища придумала. И вам.

А л е к с е й (несколько раздраженно): Замечательно.

Алексей с тоской смотрит на лифт. Кнопка никак не зажигается. Такое ощущение, что лифт сломался и застрял. В тоже время слышны с верхних этажей гулкие голоса, смех, кашель. Алексей кажется человеком сдержанным. Но только потому так кажется, что он, как правило, отстранен от происходящего. Но если нет возможности отстраниться, уйти в себя, быть незаметным, не на виду, он раздражается почти мгновенно. Он продолжает быть вежливым, но очень краснеет, ему как будто жарко становиться.

— Мне что, краснеть в этом месте? — спросил я.

— Как хотите, — ответила Анна Игнатьевна и перешла тут же к своей реплике.

С а ф о н о в а: Я вас зову Джеймс про себя.

А л е к с е й: Почему? По аналогии с кем? С чем?

С а ф о н о в а: Вы как будто иностранец. Англичанин. Не похожи на наших. Можно, я и вслух буду вас звать Джеймс?

А л е к с е й: Джеймс Бонд, если угодно.

Лифт наконец-то начинает гудеть, едет, и Алексей веселеет.

С а ф о н о в а: Джеймс Бонд вам не подходит. (Подумав): Тогда я буду звать вас Николай.

А л е к с е й: Чем вас Алексей не устраивает?

С а ф о н о в а (задумчиво): Николай вам больше подходит.

Лифт отворяет двери. И из него с шумом вываливает толпа: несколько взрослых и детей. Собака. Алексей хочет войти в освободившийся лифт.

С а ф о н о в а: Погодите, я в лифте протру. Быстро, мгновенье. Натоптали почерному.

Она суется в лифт со шваброй. Нажимает кнопку задержки, двери застопориваются.

С а ф о н о в а: А у меня сын пропал.

Алексей с тоской смотрит, как долго она трет крохотный лифт; Сафонова явно тянет время, хочет задержать его возле себя, выговориться.

А л е к с е й (с нарастающим, едва сдерживаемым раздражением): В каком-то смысле я даже рад. Нет, мне жаль, и я думаю, он найдется скоро, ваш сын, но прямо скажем, за стеной стало гораздо тише. Я все никак не мог понять, почему, теперь ясно. Ничего не имею против вашего сына, но музыку он слушает убойную, у меня сердце болит от этого грохота. И рюмки в горке звенят и дрожат. Землетрясение, а не музыка.

С а ф о н о в а (обиженно): Еще неизвестно кто туда въедет, за стенку вашу. Еще такую музыку заведет, что о прежней как о райском пенье вспоминать будете.

А л е к с е й: Кто заведет? С какой стати?

С а ф о н о в а: Так продала я квартиру. Сына спасала. Он не в том смысле пропал, он денег проиграл много, его убивать начали, и сейчас еще не все заплатил, еще в долгу, но не убивают, он отрабатывает, хоть жизнь простили. Так что я теперь без квартиры, Николай, у соседки пока живу, пока разрешает, полы ей мою, еду варю, белье стираю, она инвалид, одна, ей скучно, надоем, выгонит, так и сказала, что выгонит, когда надоем.

Сафонова высказала наконец, что было на сердце. Дотерла полы в лифте и оставила кабину. Алексей вошел в лифт. Прежде чем двери закрылись, успел спросить и получить ответ.

А л е к с е й: А как вы сына своего зовете?

С а ф о н о в а: Ванечка.

— Следующая сцена, — сказал Виктор. И замолчал. Задумался над листком.

— Устали? — обеспокоилась Анна Игнатьевна.

— Да нет. Нормально.

— Я вижу, что устали. Давайте прервемся.

— Нет-нет, ни в коем случае! Я вас прошу, я только что интонацию нащупал.

Я раздраженно вмешался:

— Какая интонация? Вы же комментарии читаете. От автора.

— Думаете, у автора нет интонации? — обиделся Виктор.

— Для меня все эти комментарии — только инструкция. Пойди налево, затем — прямо. Тоже, что инструкция для сборки дивана. Возьмите гвоздь номер восемь, молоток номер шесть, бейте ровно.

— Вы говорите полную чушь, — холодно заметила Анна Игнатьевна. — и прекрасно это понимаете, просто хотите разозлить.

— Какая разница, с каким настроением вы будете гвозди заколачивать? — нервно вступил Виктор. — А в сцене настроение — важнейший фактор. Комментарий подсказывает не только направление движения, но и состояние. Смысл сцены раскрывает!

— Гвозди лучше с хорошим настроением заколачивать, чтоб не перекосило. — улыбнулся я.

— Чтоб не перекосило, надо опыт иметь! И только! — волновался Виктор.

— Разумеется, гвозди лучше с хорошим настроением заколачивать, — миролюбиво согласилась со мной Анна Игнатьевна.

— Особенно в гроб! — крикнул Виктор.

— Во что угодно, — мягко сказала ему Анна Игнатьевна. И обратилась ко мне. — Но в сцене иногда необходимо, что гвоздь пошел криво, чтобы человек расплакался, может быть.

— Конечно, — согласился я. — И тогда будет написано: пошел налево с плохим настроением. Споткнулся по дороге и расплакался. Это важно и нужно, я согласен.

Но почему эту рекомендацию насчет настроения нужно читать с какой-то особенной интонацией? Можете объяснить?

— Чтобы до тебя дошло лучше, — глухо сказал Виктор.

— Успокойтесь, — попросила его Анна Игнатьевна. — Вы ему ничего не докажете. Он вас провоцирует. Выпейте еще таблетку и продолжайте чтение.

Виктор молчал. Смотрел остановившимся взглядом в листочек. Взял бутылку, отхлебнул воды. Таблетку пить не стал. Анна Игнатьевна ждала терпеливо. Он поставил локти на стол, взялся ладонями за виски, точно отгородился от нас ладонями, и начал чтение глухим, невыразительным голосом:

Алексей входит в подъезд, отряхивается от снега. Направляется к лифту и приостанавливается. Возле лифта появился домик. Почти как настоящий. С большим стеклянными окошком, за которым уютно горит свет. Фанерные стены покрашены снаружи, и окраска имитирует кирпичную кладку. Так что домик в первую секунду кажется совершенно настоящим, основательным.

Алексей заглядывает в окошко. Кресло. Тумбочка с телевизором. Роза в глиняном горшке. Половичок на полу. Но людей в домике нет, хотя горит свет, и чайник электрический закипает.

С а ф о н о в а (за спиной Алексея): Здравствуйте, Николай.

Алексей от неожиданности вздрагивает и отшатывается от окошка.

С а ф о н о в а: Любуетесь? Я и сама любуюсь. То внутри посижу, то наружу выйду поглядеть. Так мне нравится, прямо так бы и жила здесь.

А л е к с е й: Так это для вас домик соорудили? Значит, вы теперь у нас консьержка? С повышением. А полы теперь кто моет?

С а ф о н ов а: Полы мою по-прежнему. Деньги нельзя терять в моем положении.

А л е к се й: Рад за вас.

Алексей направляется к лифту, но Сафонова его останавливает.

С а ф о н о в а: У меня разговор к вам, Николай.

Алексей нажимает кнопку вызова лифта.

А л е к с е й: Я спешу, извините.

С а ф о н о в а: Я вас надолго не задержу.

Она стоит и смотрит на Алексея. Меж тем лифт подходит и открывает двери.

С а ф о н о в а: Про жизнь и смерть разговор.

Алексей: В абстрактном смысле или в конкретном?

Лифт закрывает двери, но Алексей вновь нажимает на кнопку, и двери разъезжаются.

С а ф о н о в а: В очень конкретном смысле.

Алексей смотрит на нее вопросительно.

С а ф о н о в а: Секретный разговор.

Лифт закрывает двери.

Виктор отнял ладони от висков, перевернул прочитанный листок. Отпил воды из бутылки.

— Все нормально? — спросила Анна Игнатьевна.

Он на ее вопрос не отвечал. Смотрел упорно в следующий листок. Очевидно, читал про себя, нащупывал интонацию. И голос у него изменился, когда он начал. Стал приглушенным.

Входя в домик, Алексей едва не смахивает чайник, но успевает подхватить, удержать.

С а ф о н о в а: Осторожно, горячий.

Видно, что Сафонова очень обеспокоена сохранностью своего хрупкого мирка.

С а ф о н о в а: В кресло садитесь, Николай.

А л е к се й: Не развалится оно подо мной?

С а ф о н о в а: Крепкое кресло, почти новое. Даша отдала из пятьдесят четвертой. Наши дети в одном классе учились, только ее дочка сейчас в Англии процветает, а мой совсем пропал. Ваши давно вам звонили?

А л е к с е й: Мы светские разговоры будем вести? Вы же про жизнь и смерть хотели?

С а ф о н о в а: Я про них и говорю, про жизнь и смерть.

Алексей смотри на Сафонову с тревогой. Слышно, как открывается дверь подъезда, кто-то входит. Сафонова задергивает занавеску на окне и включает телевизор. Чтоб посторонние уши слышали телевизор, а не разговор.

С а ф о н о в а: Когда они вам звонили?

А л е к с е й: В обед. Все в порядке. Сказали, что все отлично. С какой-то очень высокой горы катались.

С а ф о н о в а: Ну, слава богу! Рада за них, пусть здоровья набираются, пока мы тут с вами дела решаем.

А л е к с е й: Вы простите, конечно, но какие у нас с вами дела могут быть?

С а ф о н о в а: Вы правы, вы правы, где вы и где я, думаете я не понимаю? Места не знаю своего? Это все Ванечка, он все путает, ни сна, ни покоя от него, но не могу я в беде бросить кровиночку свою, поймите и вы, Николай.

Алексей молчит, смотрит на Сафонову настороженно. Телевизор бубнит.

С а ф о н о в а: Ванечка просил передать, что все будет хорошо с вашими, можете не волноваться.

А л е к с е й (волнуясь): Я и не волнуюсь.

С а ф о н о в а: Всего-то десять тысяч, они у вас есть, и не сказать, что последние.

Алексей удивленно приподнимает брови.

С а ф о н о в а: Не выдержал Ванечка, опять играть начал, это как наркотик, он говорит, избавиться невозможно, хотя знал, что нельзя выиграть, не дадут, знал, но не удержался, теперь должен десять тысяч евро, не отдаст, руки отрубят по локоть, сроку дали один день. Выручайте, Николай. До полуночи Ванечка ответ ждать будет.

В стекло с той стороны стучат, сдержанно, но требовательно. Сафонова успокоительно кивает Алексею, подходит к окошку, отгибает угол занавески, приподнимает раму со стеклом.

В а л ь я ж н ы й г о л о с: Голубушка, Алевтина здесь живет?

С а ф о н о в а: Как фамилия?

В а л ь я ж н ы й г о л о с: Фамилия мне неизвестна. К этому подъезду вчера подвозил.

С а ф о н о в а: Алевтины не знаю.

В а л ь я ж н ы й г о л о с: Думаешь, обманула старика?

С а ф о н о в а: Не знаю.

В а л ь я ж н ы й г о л о с: Сказала, что здесь живет, а сама, может, в Бибирево.

С а ф о н о в а: Не знаю.

В а л ь я ж н ы й г о л о с: Или, может, ее Ксюшей зовут? Живет у вас Ксюша?

С а ф о н о в а: Не знаю.

В а л ь я ж н ы й г о л о с: Что ж ты, голубушка, сидишь и ничего не знаешь?

С а ф о н о в а: Не знаю.

Сафонова опускает раму и расправляет занавеску. Делает телевизор громче. Поворачивается к Алексею.

С а ф о н о в а: Он сказал, что если до полуночи вы согласия не дадите, он ваших живыми не отпустит.

А л е к с е й: Я с ними в обед разговаривал. Они с горы катались.

Сафонова молчит.

А л е к с е й: Где ваш Ванечка находится?

С а ф о н о в а: Не знаю, милый.

А л е к с е й: Он по телефону с вами разговаривал?

С а ф о н о в а: Нет, мой хороший, письмо он мне прислал, утром нашла в почтовом ящике.

А л е к с е й: Покажите.

С а ф о н о в а: Не могу. Сожгла. Как велено было.

А л е к с е й: На бумаге письмо было?

С а ф о н о в а: А на чем же?

Алексей достает мобильник и набирает номер. Номер не отвечает. Алексей отключает телефон. Смотрит внимательно на Сафонову. Включает телефон.

А л е к с е й (набирая номер): Звоню в милицию.

С а ф о н о в а: Тогда вы их не увидите. Ванечка просил передать, что ни живыми не увидите, ни мертвыми. Ему терять нечего, так он просил передать.

Алексей отключает телефон и смотрит устало на Сафонову.

А л е к с е й: Больше ничего он не просил передать?

С а ф о н о в а: Больше ничего.

А л е к с е й: А как он узнает, согласился я или нет?

С а ф о н о в а: Если я до полуночи на подоконник герань поставлю, значит, вы согласны.

А л е к с е й: На подоконник?

С а ф о н о в а: В кухне.

А л е к с е й: А если я не соглашусь?

С а ф о н о в а: Значит, я герань не поставлю.

А л е к с е й: С чего Ванечка ваш решил, что у меня есть такие деньги в наличии?

С а ф о н о в а: Моя вина, Николай. Не казните, я ему проговорилась, что у вас лежать десять тысяч теще на операцию, так как в любой момент понадобиться могут.

А л е к с е й: Откуда бы вам знать такие подробности? Я, кажется, с вами не делился.

С а ф о н о в а: Со мной не делились, с кем-нибудь другим делились. Я, Николай, много чего про людей знаю. Хотя это и лишнее, спокойнее не знать.

Раздается стук в стекло, настойчивый, но сдержанный. Сафонова оказывается у окна, отгибает угол занавески, приподнимает раму.

В а л ь я ж н ы й г о л о с: Голубушка, я вот что подумал. Я тебе ее опишу. Высокая, с меня практически ростом. Но это, конечно, на каблуках. Рыжая, веселая и глаза голубые. В какой она квартире живет?

Сафонова: Не знаю.

В а л ь я ж н ы й г о л о с: Зачем здесь сидишь тогда?

С а ф о н о в а (задумчиво): Погоди, погоди! Рыжая? С голубыми глазами?

В а л ь я ж н ы й г о л о с (с надеждой): Веселая.

С а ф о н о в а: Есть у нее такая привычка: кончик носа трогать, когда задумывается?

В а л ь я ж н ы й г о л о с: Знаешь все-таки! Ты моя красавица...

С а ф о н о в а: Она на Фрунзенской набережной живет.

В а л ь я ж н ы й г о л о с: Точно?

С а ф о н о в а: У меня там подруга, в сотом доме, я в лифте ехала с рыжей вашей.

В а л ь я ж н ы й г о л о с: Уверены?

С а ф о н о в а: У нее мобильник красного цвета.

В а л ь я ж н ы й г о л о с: Ты моя красавица!

Сафонова опускает раму, расправляет занавеску. Поворачивается к Алексею.

А л е к с е й: Рыжая здесь живет. В семьдесят третьей.

С а ф о н о в а: Она просила не говорить. Какое ваше решение, Николай?

Алексей молчит. Смотрит в телевизор.

А л е к с е й: А как же вы ему деньги доставите?

С а ф о н о в а: В листочке была инструкция.

А л е к с е й: Сложная инструкция?

С а ф о н о в а: Не простая.

А л е к с е й: Ничего не перепутаете?

С а ф о н о в а: У меня память в порядке.

Алексей молчит. Вертит в руках мобильник.

С а ф о н о в а: Бегу ставить герань?

Алексей разглядывает Сафонову долгим взглядом.

А л е к с е й: Я подумаю.

С а ф о н о в а: Конечно.

Алексей поднимается. Сафонова придерживает за спинку покачнувшееся кресло.

С а ф о н о в а: Осторожнее.

Квартира Алексея.

— Секунду, — останови я Виктора. — одну секунду. Давайте прервемся.

— Только я интонацию нащупал, — пробормотал недовольно Виктор, не подымая головы от листков.

— У меня ноги затекли, — пожаловался я.

Я поднялся из-за стола. Вышел на авансцену. Различил в седьмом ряду темную фигуру.

— Интересно, — сказал я, — кто написал эту дурацкую пьесу?

За спиной молчали. И человек в зале молчал.

— Сергей, вернитесь, пожалуйста, за стол, — попросила Анна Игнатьевна.

— Я лучше домой вернусь.

— Осталось совсем немного. Дочитаем и пойдете домой.

— А что вы дома делать будете? — поинтересовался Виктор.

— Спать.

Я обернулся. Он сидел за столом вполоборота ко мне. Сообщил:

— А я буду есть. У меня пельмени в холодильнике.

— Домашние? — спросила Анна Игнатьевна.

— Покупные.

— А я хочу, чтобы мне деньги вернули за этот дебильный сеанс арт-терапии, — сказал я человеку в зале. Но он не отреагировал.

— Я вам верну деньги, — сказала Анна Игнатьевна. — Если скажете после читки, что не помогло, верну.

— Даете слово?

— Честное слово. Говорю при свидетелях.

— Вашим свидетелям доверия нету, — заметил я. Но от авансцены отошел и вернулся к столу.

Усевшись и поглядев в темный зал, я сказал:

— Я понял, что мне напоминает наша посиделка. Тайную Вечерю. Из-за длинного стола, наверно.

— Без Христа Тайной Вечери быть не может, — не согласилась Анна Игнатьевна.

— Он здесь, — сказал Виктор дрогнувшим голосом. — Он всегда здесь.

— Читайте лучше текст, — взмолился я.

— Да, Виктор, пожалуйста.

— С какой тут интонацией надо?

— Читайте размеренно. Холодно. Как можно отстраненнее от происходящего.

Квартира Алексея. Гостиная. Алексей сидит на диване и смотрит в телевизор. Глаза устремлены в телевизор, но происходящего там не видят. Алексей погружен в свои мысли. На журнальном столике перед ним — две телефонные трубки. Мобильный телефон и стационарный. Мобильный вдруг звонит, и Алексей его хватает. Видит в окошечке имя звонящего, и возбуждение в его лице гаснет. Он разочарованно нажимает кнопку и подносит трубку к уху.

А л е к с е й (с паузами, в которых выслушивает собеседника): Что? За какой месяц отчет? Разумеется, есть. Да. Посмотри внимательно. Очень хорошо. Я рад. На здоровье.

Алексей отключает телефон. Вновь включает. Набирает номер. Долго прислушивается к гудкам в трубке. Отключает. Смотрит на часы. Одиннадцать тридцать. По телевизору идут новости. Экономические, криминальные, погода. Алексей хватает пульт с дивана и отключает телевизор. Смотрит на часы. Берет трубку стационарного телефона, набирает номер. В это время звонит мобильный, Алексей видит в светящемся окошке имя абонента, хватает трубку.

А л е к с е й (возбужденно, с паузами на выслушивание собеседника): Але! Маша! Господи! Где вы? Как? Как? Как там Ленечка? Господи, как хорошо! Да нет, я просто волновался ужасно, звоню, никто не отвечает. А что за экскурсия? Я рад, очень. Очень. Ленечка пусть скажет пару слов. Здравствуй, парень. Как лыжи, освоил? Я и не

сомневался. Маму слушайся, ладно? Трубочку ей передай. Конечно, соскучился, милая. Нет, я не голодный. Картошку варил. Обедаю на работе. Желудок в порядке. Не забываю. Спокойной ночи! Спокойной ночи. Ленечку поцелуй.

Алексей отключает трубку и с облегчением откидывается на спинку дивана. И тут он вспоминает о трубке стационарного телефона. Точнее, она сама ему о себе напоминает. Из нее доносится унылый голос.

С а ф о н о в а (голос из трубки): Я вас слушаю, говорите. Говорите, я вас слушаю.

Алексей подносит трубку к уху, хочет в нее что-то сказать, но передумывает и отключает телефон. Ложится навзничь на диван, руки закладывает за голову. Закрывает глаза. Большая стрелка догоняет маленькую, часы показывают полночь. Большая стрелка идет дальше. Первый час.

Виктор отложил прочитанный листок. Свинтил с бутылки крышку. Отпил воду. Посмотрел хмуро на меня. Он будто ждал от меня какой-то реакции, вопроса что ли. Смотрел и ждал.

— Интонацию не забудешь? — спросил я.

Он поставил локти на стол, пальцами сжал виски и продолжил:

Алексей гасит в прихожей свет и отворяет дверь квартиры. Падает с лестничной площадки полоса света. Алексей хочет переступить порог и замечает на полу под дверью белый плотный конверт. Он наклоняется за конвертом. Конверт незапечатан, и Алексей вытряхивает из него фотографию. На ней сняты трупы его жены и сына.

Виктор перевернул листок. За этим, последним, листком оказалась фотография, которую он подтолкнул ко мне. Она подлетела мгновенно по скользкой столешнице.

На снимке были тела мальчики и женщины, моего сына и моей жены, Миши и Вали. Они смотрели на меня остекленевшими мертвыми глазами. Валя лежала оскалившись, будто смеялась чему-то перед смертью. У Миши лицо было спокойное, умиротворенное.

Я взял фотографию и внимательно рассмотрел.

— Фотошоп, — сказал.

Они молчали. Я поднялся из-за стола. Я чувствовал их взгляды, когда спускался по трапу в зал и шел к выходу. Взгляды со сцены и взгляд из зала. Охранник не обратил на меня ни малейшего внимания.

В машине я достал мобильный. Руки дрожали.

Трубку взяла теща.

— Ольга Николаевна, как там мои? Могу я с Валей поговорить? Привет, Валь, как вы? А Мишка? Да нет, ничего, не голоден. Суп еще не съел. Просто.

Я отключил телефон. И заплакал.

Денис Гуцко

Тварец

Рассказ

О весеннем хаосе — днем жара, под вечер снег — напоминают лишь лоскуты подсохшей грязи вдоль бордюров. Июнь, наконец, развернул свой зеленый балаган. «Лето, лето! Лета кому?!» — воробьи-зазывалы орут — разрываются. Лезут вон из перьев. А ведь праздник наверняка будет скомкан: лето небывало позднее. Вот-вот грянет жара, оглушит и придушит, окунет город в асфальтовый чад... Впрочем, что ж — сегодня славно. Ластится ветерок, облака кружавятся. Куда ни глянь — иллюзион и фокусы. Обрубок радуги мерцает под задранной ногой спаниеля. Стальной сосок отключенного фонтана ослепительно брызжет солнцем. Кленовая ладонь, зачерпывая и выплескивая свет, превращает изумруд в янтарь, янтарь в изумруд — и так далее, так далее.

Но главное — тени каштанов. Каштаны роняют дырчатые, как дуршлаги, тени.

Вследствие погоды в сквере многолюдно. Скамейки усеяны самой разнообразной публикой — от кислых стариков, тенистой прохладой врачующих непреходящее свое уныние, до истомных парочек, которым именно сегодня, черт возьми, негде уединиться. Парочки тискаются исподтишка, старики осуждающе подглядывают.

На одной из скамеек, утопив подбородок в ладонь, устроился тусклый офисный гражданин с неожиданно колючим взглядом, который, собственно, и думает о погоде, о стариках и парочках, о плавающих у его ног тенях теми самыми — кружевными книжными словами. Гражданин считает себя писателем. Давно и мучительно. А минувшей весной, столь разрушительно взбалмошной — решил, что пора, наконец, начать писать.

Хватит с него потной толчеи в колонне, выступающей по опостылевшему маршруту от зарплаты к зарплате.

— Задачи ясны? Всем спасибо. Все по рабочим местам, — пусть другие выстаивают ежеутренний бред летучек; он напишет о них сагу.

Осмелиться. Стать. Преодолеть.

Вообще-то пока речь идет лишь об отпуске, который он от первого до последнего дня посвятит, наконец, творчеству. Но все с чего-то начинается — его прорыв начнется с пробного рейда...

Сейчас у Кудинова обеденный перерыв, шестьдесят минут дозволенной свободы. Можно не только покинуть помещение банка, но, во-первых, покинуть в произвольном направлении, во-вторых — не думать о банковских делах. Совсем. Правда, во что-нибудь неотложное можно вляпаться и во время перерыва. Позвонят: «Ты где? Здесь срочно нужно...». Но это редко.

Мысли его невольно поползли к кабинету Башкирова. Кудинов еще раз подумал о том, как пойдет говорить с ним про отпуск. Нужно будет с ходу, не рассусоливая: «Вы обещали в начале лета, Дмитрий Семенович. Вот заявление». Мотнул головой, отгоняя прочь воображаемого фашиста-начальника: хватит, это потом.

Денис Гуцко — постоянный автор «ДН». В Тбилиси окончил среднюю школу. В 1987 году переехал в Ростов-на-Дону. Окончил геолого-географический факультет Ростовского государственного университета по специальности «Экология и прикладная геохимия». Служил в Советской армии. Постоянный автор журнала «Дружба народов». Лауреат премии «Букер — Открытая Россия» (2005, за роман «Без пути-следа»). В настоящее время живет в Ростове-на-Дону.

Тени каштанов чрезвычайно его занимали — дырчатые как дуршлаги. Он повертел ими так и эдак, вдруг вылепил вычурный анапест: дуршлаговые тени каштанов, — отбросил и снова поморщился. Дуршлаг не давался.

Кудинов принялся поглаживать через ткань брюк лежащий в кармане мобильник: отключить?

Он долго держался. Считай, со школы, где Валентина Ивановна однажды объяснила ему, что у него есть творческая жилка. Он блистал на школьных олимпиадах, выпускал в одиночку стенгазету. Завуч называла его «наш луч света в темном царстве». Окончив школу, Женя Кудинов храбро решил, что жизнь — главный писательский университет. Вначале собирался перекантоваться годик — и в армию, но перед самым выпускным случайно попавшаяся фраза «Журналистика описывает изменения окружающей действительности» прямо-таки загипнотизировала его своей математической элегантностью, и для ознакомления с жизнью Кудинов выбрал журфак.

Обретенный здесь опыт был весьма неожидан. Одновременно с Кудиновым научиться описывать изменения окружающей действительности вознамерились, вне всяких сомнений, самые яркие, самые темпераментные девушки города. Пожилые преподаватели, оглушенные разразившейся гласностью, учебным процессом интересовались слабо, так что занять себя всерьез книгами и лекциями не представлялось возможным. К тому же к третьему курсу Кудинов оказался единственным парнем в группе. Остальные разбежались кто куда.

Окончив журфак вполне состоявшимся ловеласом, Евгений Кудинов и на будущее свое смотрел как на девушку, к которой он не спешит подкатывать, поскольку недавно порвал с предыдущей и выдерживает положенный карантин — но ведь куда она, милая, денется...

Будущее оказалось отнюдь не девушкой, а совсем даже наоборот — визгливым толстым мужиком с гламурной стриженой бородкой. Став пресс-секретарем при Башкирове, Кудинов спустил кураж, скукожился и, призвав себя быть реалистом — «жить-то на что-то надо», — отложил мечту о писательстве на неопределенное «потом».

Мать вскоре умерла — он и года не успел проработать. Времена были ельцинские, беспутные. Козлы ели людей. Сожрали и Зинаиду Романовну. Она была маляром, часто и подолгу шабашила. Все деньги на книжку откладывала, ему в наследство. А тут обменная реформа. Как только услышала, что вклады сгорели, слегла. Вроде бы не болела никогда, и вдруг — опухоль в мозге, неоперабельная. Угасла за неделю: пшик, и нету. Отца же своего Кудинов не знал совсем: тот еще в семидесятые сбежал от семьи на БАМ — и без вести.

Короче: сесть на шею было некому.

Работа ему выпала тупая и в общем-то никому не нужная: готовую рекламу для газет присылала Москва, а другого общения с прессой не подразумевалось. Но платили приемлемо. Все не потолки красить.

Время от времени, будто спохватываясь о чем-то важном — пора, пора! — он бросался в свои уютные катакомбы, в которых подпалины, оставленные чужими шедеврами, подсвечены угольками собственных замыслов, где торжественно и страшно от предвкушения чего-то огромного, радостного. Вбегал туда, урча от страсти — будто теперь уж точно навсегда; но снова и снова оказывалось — ненадолго. Только приладится творить — вламывается беспардонная реальность, сует в руки дурацкое свое кайло:

— Кудинов, хватит бездельничать. На, вот, займись.

Кайло, даром что аллегорическое, довлело со вполне натуралистической грубостью. Пресс-секретарь при Башкирове — должность широкопрофильная: пойди, принеси, пшел вон, не мешай. Видимо, Башкиров догадывался о бесполезности пресс-службы в своем филиале.

«Все равно ведь временно», — подбадривал себя Кудинов, и перед мысленным его взором привычно вздымалась другая — бурливая, полнокровная жизнь мастера: герои нашего времени, проклятые вопросы, фейерверки вдохновения и серафимы на перепутье — жесткие и неукротимые.

В тридцать один, когда на темечке проклюнулась плешка, Кудинов, ужаснувшись затяжному своему бездействию, засел за повесть о поваре-пиромане, изныва-

ющем от желания завершить свою кулинарную карьеру грандиозным праздничным пожаром. Кудинов составил подробный план, написал полглавы — и вдруг женился. На Наде Полищук из параллельной группы, с которой аккурат перед самой дипломной у них обнаружилась тихая взаимная симпатия с перспективами. До перспектив тогда не дошло — Кудинов отвлекся на Марину Алтуфьеву. Зато спустя девять монотонных лет, скрашенных несколькими вялыми романами с затурканными банковскими операционистками, Кудинов, встретив на улице Надю — разведенную, без детей и лишних килограммов, — вцепился в нее без колебаний. Вмиг обретя прежнюю свою искристость, Евгений прямо там, в шумном потоке прохожих, рванул в атаку. «Надюх, неужели мы так и не попробуем?» — сказал он. И мину трогательную скроил — как он умел, представ перед Надеждой не примитивным кобелем среднего возраста, а нестареющим адептом исконной легкости бытия. Надя, смеясь, предложила попробовать безотлагательно. К вечеру они были в постели, через два месяца — в загсе.

«Дуршлаговые тени, — думал Кудинов. — Тени как дуршлаги».

Тут он вспомнил, как Надя говорит «отбросить через дуршлаг» — и в этой незатейливой кухонной фразе увяз окончательно. Как ни пыхтел, без толку: через *дуршлаг ветвей* ни тени, ни солнце отбросить никак не удавалось.

Ветви каштанов... дырчатые как дуршлаги...

Хрена! Сбился! Утоп в дуршлагах.

— Да потому что неграмотно! — вслух разозлился Кудинов, насторожив шествовавших мимо голубей; продолжил про себя угрюмо: — Отбросить *на* дуршлаг, НА! Процедить — *через*!

Телефон проснулся как раз в тот момент, когда он, стараясь отвлечься от дуршлагов, принялся лепить фразу из «безвкусного провинциального бетона, щедро политого солнцем».

— Черт вас всех побери!

Звонила Надя, конечно. При всей сбивчивости ее редакторского распорядка звонит она ему только в обед. Кофе она пьет исключительно из старой надколотой кружки. Стрижется все эти годы неизменно под каре. Любое однообразие для нее — источник комфорта. Вероятно, как и сам Кудинов.

— Женек, ты помнишь, что я завтра номер верстаю? У нас на субботу перенеслось?

— И что?

Запнулась. Немного растерянно:

— И поэтому ты весь день с Лешкой. Один.

Дальше, уже оправдываясь:

— Просто напомнила. Суббота ведь завтра. А то в прошлый раз тебя куда-то вызвали. Встречать кого-то. Или провожать. Лелика на этот раз некуда сбагрить: мои ж на даче.

Участливо:

— У тебя что-нибудь случилось, Жень?

Эта ее усугубляющая участливость... Лучше уж огрызнись в ответ, поскандаль по-человечески. Обидься. Поплачь. Прекрати, наконец, вести себя как наемная нянька с ребенком из новорусской семьи.

— Надя, ничего у меня не случилось. Тебе от этого легче?

Помолчала немного. Тишина какая-то шаткая — будто во время паузы в разговоре она успевает что-то сделать: помахать кому-то рукой, переложить что-то на столе, перейти с места на место.

— Ладно, Жень, обнимаю.

Кудинов нажал на «отбой».

Быть с нею легким он сумел совсем недолго. Спекся сразу после свадьбы. Но Надя, казалось, этого до сих пор не заметила. Как в самом начале она говорит: Женек, обнимаю, — и миллионы шелковых колокольчиков рассыпаются в ее голосе... Черт! Сам он переживает с Надей необъяснимое волнение, тревогу сродни агорафобии. Она так невозмутима, ее всегда так много, так много, так непреодолимо много. Нет, быть с нею легким невозможно.

— Такие вот дуршлаги, — пробубнил Кудинов.

Еще раз всмотрелся в тени у себя под ногами, примериваясь к неуступчивой метафоре.

Пятница, как водится, дожимает — напоследок командует: ап! «Ну-ка, в стоечку, в стоечку. Держим-держим-держим». Но сегодня Кудинов вне игры. Дел пятничных не осталось, понедельничные затевать глупо. В окна переходной галереи, выходящие внутрь банка, ему видны кусок холла и оперзал. По залу стелется бубнеж рекламных роликов, транслируемых на огромную «плазму», над галереей гудит вентиляция. В отделе вкладов несколько смурых дерганых клиентов. Верзила с мотоциклетным шлемом самый непоседливый. Боится не успеть до закрытия. То кинется к кассе, то — обратно в кресло. Шлем его — распухший бедный Йорик — бултыхается, насаженный на крюк согнутой руки. То в одном, то в другом коридоре за спиной Кудинова цокотят каблуки — то начальственно вальяжные, то служиво-рысистые. Из подземелья кассы, открытой для проветривания, долетают обрывистый писк и бульки смеха — все, что осталось от голосов кассирш по пути на поверхность.

Жалюзи нашинковали солнце на тонкие золотые полоски…

Вспомнив тени-дуршлаги, Кудинов раздраженно морщится: пристанет же!

Вот именно эти минуты — не честные последние минуты рабочего дня, а лживые, двуличные минуты перед теми, последними — стабильно вгоняли Кудинова в тоску. Старался проскочить их, подбирая самое бессмысленное занятие — вроде подготовки отчета о запросах газетчиков, на которые все равно никто никогда не отвечал. Кудинов давно заметил, что именно бессмысленный труд лучше всего скрепляет этот ежедневный разрыв временного континуума: тоску сменяет сладкая истома обреченности — демон скуки милостиво принимает жертву… Ко всему прочему Башкиров имел привычку эдак в полшестого наведываться в кабинеты с каким-нибудь неотложным заданием. В какой сунется, угадать невозможно. Правило про снаряд и воронку не работает: может в один и тот же отдел и два, и три раза подряд шарахнуть. Все должны быть на местах, желательно в трудовом загибе. Иначе можно отхватить сюрприз под дых:

— Мне это нужно к двенадцати в понедельник, потрудитесь не задерживать.

Возможно, вернуться к себе и сыграть в финишный рывок не помешало бы. Идти к Башкирову с отпускным заявлением Кудинова отговорила секретарша Лилечка:

— Кажется, его Москва сегодня отымела. Я, правда, не уверена. Но звуки из кабинета были, знаешь… Ему Дударев звонил. Смотри, конечно… Я бы не рискнула.

Он тоже — не рискнул. Но, что называется по случаю, вполне мог бы про отпуск свой ввернуть. Вламывается к нему Башкиров — а он, отрывая от монитора сосредоточенное свое лицо, говорит: «Можно к вам зайти, Дмитрий Семенович?». А подтекст такой — дескать, как удачно вы нас навестили, а то секунды свободной нет к вам выбраться. Башкиров, не решаясь отмахнуться от взмыленного героя: «По какому вопросу?». А он, устало, но сдержанно пожимая плечами:

— Вы отпуск обещали. В июне. Июнь скоро кончится…

— Заявление готово? Давайте подпишу.

Может. Вполне.

И вот оно, вот — устроиться на лоджии, включить ноутбук… правой кнопкой «мыши»: создать новый… и слово за слово — то путаным выплетая узором, то сваями вбивая во временно безжизненную пустошь… ну, здравствуй, новый мир, я твой создатель…

Конечно, с б***о***льшим удовольствием Кудинов положит ему на стол заявление об увольнении — но это потом, потом. Аккуратно нужно с мечтой. Мало ли. Как с земным давлением после резкого подъема с глубины: рванешь наверх, и вот оно, готово — кессонова болезнь. Рвота, трясучка, обморок. Грубая палубная проза, боль и антисанитария — а все из-за банальной нетерпеливости. В общем, приближение счастья — не повод для идиотизма.

Он поворачивается к другому ряду окон, выходящих наружу — и видит Башкирова. Его затылок: две тугие розовые складки, подернутые редким пушком. Башкиров идет к машине. Складки пружинят в такт его шагам. Приостановившись на секунду-другую, Башкиров поворачивает голову: что-то привлекло его внимание. Складки скручиваются в продолговатый мясной крендель. Башкиров улыбается, и, проследив за его взглядом, Кудинов видит молодую узконосую дворнягу, азартно гоняющую

большой белоснежный мосол по банковской парковке. Проявление простецки-человеческого в господине Башкирове, как обычно, кажется Кудинову особенно отвратительным, будто он застал его за жутчайшим извращением. Кудинов отворачивается от окна.

— Уехал? — спрашивает его появившийся в другом конце галереи завхоз Гена.

— Уехал, — отвечает Кудинов.

— Ну и ... с ним! — заключает Гена и смачно потягивается.

Ничего, в понедельник никакая Лилечка не встанет между ним и Башкировым: обещал отпуск — отвечай за базар.

Голуби, точно выздоравливающие больные, бодро ковыляют мимо фонтана. Кудинов представляет себе, как они переговариваются по дороге: у кого где ноет, сколько «заряжено» врачам.

К истории о поваре-пиромане он давно остыл. Это будет повесть о выжившей Джульетте. Современность. Антураж и детали изменены, только суть. Она просыпается и обнаруживает возле себя труп Ромео. Пытается покончить с собой, но это оказывается не под силу хрупкой интеллигентной девушке — так, легкое ранение. Ее находят родственники. Женщины в истерике, Джульетта подавлена. Организатор похоронного трюка, чудаковатый профессор по фамилии Монах, идет под суд за непредумышленное убийство Ромео — и тянет за собой Джульетту. Дескать, она все затеяла, а он, Монах, сдуру поддался уговорам, которые в известном смысле являлись не чем иным, как шантажом — учитывая влиятельное положение Джульеттиных родителей...

Кудинов вдруг замечает, что на остановку подошла его маршрутка, и бросается к открытой двери, из которой торчит плотная гроздь задов вперемешку с локтями и сумками. Немного усилий и Кудинов — еще одна ягодка в маршруточной грозди.

Дергая ногой, на которой повисла наполовину снятая кроссовка, Леша повторяет:

— Пап, хочешь, я тебе покажу, что я сегодня нарисовал? А, хочешь?

Кудинов столкнулся с Надей и Лешей у подъезда. Так глубоко погрузился в Джульеттину историю, что не сразу их признал. Остановилась перед ним женщина, плечо оттянуто рюкзаком, держит за руку мальчика, говорит: «Привет», — целует в щеку. Оказывается: его жена, ведет сына из школы...

— Пап, показать?

Надя уже хлопочет на кухне: заваривает Леше его пищеварительный чай, греет в ведре воду — горячую снова отключили.

Кудинова манит диван. Но отцом нельзя быть по расписанию, к тому же не так это сложно — посмотреть картинки. Соглашается:

— Конечно, хочу.

Лешка выстреливает кроссовкой под диван.

— Ой! Ну, я потом достану.

Быстрым плещущим движением, как будто умывается, он отбрасывает с глаз отросшую челку:

— Идем?

— Пора тебя постричь, — размышляет Кудинов, ероша сыну волосы.

Леша отстраняется, заново прибирает челку.

— Идем, пап.

В руках у Леши блескучая пластиковая папка — видимо, выужена из рюкзака. Серебристо-сиренево-желтая. Переливается.

Они устраиваются на диване. Леша вручает папку с рисунками отцу и вытягивается во весь свой семилетний рост на широкой диванной спинке. Не успевает Кудинов открыть папку, сын скатывается вниз, выхватывает ее.

— Здесь на резинках, — Леша срывает резинки с уголков папки и, скомандовав: «Смотри», — возвращается на свое любимое лежбище.

На тонком мелованном картоне — карандашные рисунки. Обычные предметы и персонажи, которыми взрослые традиционно заселяют мир детей: так рисуется зайчик, так белочка, так яблочко, а вот так — во-о-от так — груша.

— О, отлично. Заяц особенно получился. Ушастый такой...

— Да не, это так... вот.

Алексей кладет на колени отцу следующую картонку.

Мрачноватое задумчивое существо. Глаза, синий и желтый, смотрят несколько вбок. Крупный кочан головы, лицо вполне человеческое, но рот чем-то напоминает кошачью пасть. На шее цепочка с бутоном красной розы. Ноги как тумбы и три мощных бугристых руки.

Леша в предвкушении похвал переводит взгляд с папы на рисунок. «Тварец», — читает Кудинов на обороте. Столь беглое знакомство с шедевром не удовлетворяет Лешку. Он сползает по спинке дивана, усаживается поближе к отцу. Переворачивает картон обратно, рисунком вверх:

— А? Как? Этот у меня лучше всех получился. Рисовалка сказала — теперь рисуйте, что хотите. И я нарисовал.

— Кто? Рисовалка?

— Учительница по рисованию.

— Вы ее так называете?

— Ну... да, — Леша неохотно отвлекается на второстепенное.

— Так нехорошо учительницу называть. Понятно?

— Понятно... Пап, — с заметным нетерпением он возвращается к главному. — Ну как тебе?

— Да отлично. Тип такой... ногастый, трехрукий.

— Это чтобы больше успевать.

— Рот у него такой... хищный, — Кудинов переходит к критике.

— На самом деле он ветром питается, — пресекает критику Леша. — Роза у него, видел? Это, знаешь, что значит?

— Чем, говоришь, питается? — спохватывается Кудинов.

— Ветром. Если долго ветра нет, он голодает. И отправляется искать, где ветер. А роза — это с его родины. Это чтобы надолго дом не покидать. Как только роза высохла совсем, листья выпали — пора, значит, домой. Только у него на родине ветра не бывает почти, он там долго тоже не может. Раньше там был ветер, а теперь нет. Зато розы.

Рассказывая, Леша непроизвольно вдавился грудью отцу в плечо.

— Это Тварец. Видел, сзади там написано?

Кудинов слегка отстраняется от Леши, осуждающе качает головой:

— Э-эх! Грамотей! «Творец» через «о» пишется. А ты как написал? — переворачивает рисунок, постукивает ногтем по незаконному «а». — Слышишь?! — зовет он Надю. — Как сын твой «творца» написал? Через «а»! Чему только их в школе этой учат?

— Почему через «о»? — тихо удивляется Леша, вновь притискиваясь к отцу.

— Да ладно, Жень! — откликается Надя. — Научится еще, успеет.

Кудинов чувствует новую волну раздражения в адрес Нади: все ей мелочи, все у нее «успеется». Беспечная, легкомысленная. А ведь сразу было ясно...

Чувствуя, что перегибает, он пытается себя одернуть: «Ты только молчи!».

Если перемолчать, помрачение рассеется. Уйдет. Потом сам же будет радоваться, что не ляпнул ерунды, Надю не обидел. Но может и накрыть.

— Почему «о»? — снова приступает Лешка. — Мы вот с мамой «Маугли» читали. Там было: «Ты из дикого леса, дикая тварь?». Через «а» было.

— Правильно, — соглашается Кудинов с некоторой неохотой: теперь не осталось ничего иного, как пуститься в дальнейшие разъяснения. — Если «тварь» — то через «а». А «творец»... тот, кто эту тварь сотворил... ну, в нашем контексте — «бог», «всевышний» и так далее — «творец» уже через «о».

Задумавшись, Лешка молча забирает свой трехрукий разноглазый рисунок, смотрит. Переворачивает, смотрит.

— Понятно, нет? — миролюбиво заключает Кудинов и трет лицо, подавляя зевоту.

Кажется, отпустил нервный спазм.

— «Тварь» через «а», «творец» через «о», — на последнем «о» Кудинов все-таки срывается в долгий глубокий зевок.

Пересев на ручку дивана, Леша думает.

— Нет, непонятно, — наконец, говорит он. — Почему там через «а», а здесь через «о».

— Потому что так правильно. Творец, понимаешь? Тво-рец.

Некоторое время Леша молчит, всматриваясь по очереди в синий и желтый глаз.

— Ну, ладно! — выносит он свой вердикт. — А у меня «Тварец». Это другое. Он не бог. Он как бы тоже — из дикого леса, но только… — Леша сбивается, но скоро подхватывает, — только может сам разных существ делать. Живых.

Повернувшись к Леше, Кудинов чувствует, что приступ немотивированного раздражения, который казался преодоленным, никуда не делся. Чудище лишь притаилось, и теперь встает во весь рост. Жаль. Жаль, он не в силах с ним совладать… Впрочем, почему это — немотивированного? В школе не учат, так отца послушай. Набирайся знаний хотя бы дома, благо — есть у кого.

— Во-первых, слезь с ручки дивана, — холодно чеканит Кудинов.

Смекнув, что нарвался, Леша спрыгивает с ручки — она предательски надрывно скрипит. Этот звук заводит Кудинова на полные обороты.

— Сколько раз повторять, чтобы ты не ломал диван!

— Я не хотел…

— Во-вторых, — припечатывает он, не слушая Лешкиных оправданий. — Ты запоминай, когда тебя учат. Мотай на ус, а не спорь и не умничай. Сказано: через «о» — значит, через «о». Ясно?

Лешка с готовностью кивает:

— Ясно.

— Не через «а». Ясно?

— Да. Ясно.

Все, отпустило. Будто электрический провод отняли от головы. Переходит на ворчание:

— Ну, и отлично.

Ой-ей, успел-таки наломать. Лешка стоит, вытянувшись по струнке, в глазах испуг и… Кудинов не исключает, что в такие минуты ему это мерещится, но в Лешкиных глазах за пеленой испуга он каждый раз видит сполохи жалости.

Если не взять себя в руки хотя бы сейчас, вслед за случайным гневом накатит другая напасть: бурное раскаяние, полное пьяных слез и сопливого удушья. Надя явится с рюмкой валерьяны, Лешка просидит весь оставшийся вечер беззвучно в своей комнате, а когда придет поцеловать перед сном, будет отводить взгляд…

— Иди.

Леша разворачивается к двери.

— Забери.

Леша подхватывает картонки, сует их в папку, уходит к себе. Скорей всего встанет там перед своим столом, уткнувшись в стену: почему-то всегда переживает стоя.

Кудинов запрокидывает голову на спинку дивана. Разгорается изжога раскаяния. Позвать его, что ли, обратно…

— Мальчики, к столу! — зовет из кухни Надя, не слышавшая того, чем закончился Лешкин вернисаж.

Проспав часа три, Кудинов открыл глаза. Сердце стучало ровно и упруго, как у стайера на середине коронной дистанции. Он знал: если сейчас встать, поддавшись обманному ощущению бодрости, уже часа через два его настигнет усталость столь безжалостная, что опустошенность в конце позапрошлой недели, которая была посвящена приему высоких московских гостей, покажется мимолетным затмением после чрезмерно жаркой парилки. Нарушение сна было делом для него привычным, Кудинов был опытным ловцом сновидений. Новички бросаются сразу считать овец. Бесперспективное занятие, если сначала не дать мозгу пробежать намеченный круг, прокрутить все то, что не удалось дожить и додумать за день. И Кудинов дал волю извилинам, заскользившим по петлистой границе между мыслью и бредом.

— И ведь обязательно на выходной, — шепотом, чтобы не разбудить Надю, посетовал Кудинов.

Оттолкнувшись от каштановых ветвей, равномерно проколотых светом, его видения прокатились над оперзалом банка, где, впав в секундное завихрение грезы,

нарисовали то, чего так никогда и не случилось: в опустевшем банке он любит Галочку Сенькину на столике с рекламными буклетами… где она теперь? говорят, в Швейцарию уехала… здесь Кудинов прочно вернулся в стадию бодрствования и, пролистав одну за другой скучные картинки прошедшего дня, остановился на крупном плане складчатого Башкировского затылка. В понедельник, подумал Кудинов, нужно будет просто отдать заявление Лиле. И все. А если Башкиров не подпишет, прийти к нему и спросить — почему.

— Почему. Да. Почему, — уныло потянул про себя Кудинов, глядя в творожистый ночной потолок, и вздохнул.

Ему вспомнилось, как вечером он совершенно по-идиотски завелся оттого, что восьмилетний сын недоумевал, почему «творец» следует писать через «о», тогда как «тварь» — через «а», и мысли его покатились по совсем другой спирали: Надя, семья, обязательства… завтра нужно первым делом помириться с Лешкой… искупить… эх, нервы… призвание, принесенное в жертву…

Подоткнув поудобней подушку, Кудинов поспешил на инвентаризацию ночного стада: одна овечка, две овечки, три овечки, четыре… Сюжет семейный заканчивался известно чем. Леша вырастает и уезжает учиться в другой город. Пять овечек, шесть овечек, семь. Его стареющий жалкий отец, всю жизнь мечтавший писать романы вместо того, чтобы рассылать пресс-релизы, от безысходности разводится с женой. Восемь овечек, девять овечек, десять. Но время, хоть и горит незримо, сжигает наверняка: его заброшенный — отложенный — талант давно превратился в золу. Одиннадцать, двенадцать. Чертовы овцы!

В понедельник заявление ляжет на стол Башкирову с самого утра. Точка!

Одна овечка, две овечки, три.

Когда, растолкав спасительных овец, Кудинов в десятый раз ввалился в будущий понедельник и застыл там перед дверью с табличкой «Управляющий» — он решительно отбросил одеяло, встал и, стараясь не цеплять в темноте мебель, отправился на кухню.

На кухне налил стакан вермута, капнул в него апельсинового сока и, запахнув халат, ушел на лоджию.

Здесь, укутанный в плед, он устроился в том самом кресле, в котором когда-то начнет свою историю про суд над Джульеттой, и, потягивая из стакана, принялся ждать. Алкоголь действовал медленно и не всегда с первой дозы.

На другом конце поселка уныло, одиночными лаяла собака. Тоже бессонница. Тоже, значит, считает, чтобы уснуть. Слава богу, соседские бобики на далекий лай не отзываются… Окрестная тишина нарушалась лишь редким, затихающим покряхтыванием качелей. Неподалеку детская площадка. Наверное, какой-нибудь ночной забулдыга сидел на качелях, недавно поднялся, а они теперь качаются ему вдогонку, скрипят.

Скоро и качели умолкли.

Луна висела спелая, тяжелая. Открытая луна, середка двора льдисто тлела, куски мрака по краям лежали какие-то праздничные, точно обернутые в подарочную упаковку. Под самым забором, за кустом сирени, раздались вдруг шорохи, перестуки. Ничуть не вороватый — полновесный хозяйский шум. Невидимый ночной хозяин занялся там каким-то серьезным невидимым делом. Лешка когда еще уверял, что во дворе завелся еж…

Стакан был выпит до половины, когда Кудинов почувствовал первое прикосновение долгожданной ласковой пустоты.

— Здравствуй, — шепнул он в монгольское лицо луны.

Лицо осталось траурно-отрешенным, всматриваясь поверх Кудинова в свои холодные потусторонние степи.

— Всегда так, — сказал мама. — Ты разве не знал?

— Нет, — ответил Кудинов.

Мама спустилась со стремянки, одной рукой поправляя съехавшую на лоб газетную «наполеонку», в другой держа задранный кверху длинношерстный валик, с которого бойко капало яркое холодное серебро. Глянула вверх, проверяя равномерность окраса.

— Я думала, ты знаешь.

Кудинов открыл глаза. Сверкало утро. Стакан, целый и невредимый, лежал на полу.

Не выспался — угрюмо констатировал он и устроился повыше в кресле. От сидячего сна шея задеревенела. Скорей всего весь день будет ныть голова.

Лешка, одетый уже совсем по-летнему, в футболку и бриджи, играл во дворе. Игра кипела, заставляя мальчика метаться с места на место, бельевыми прищепками крепить какие-то загогулины к кустам, к скамейке, к рулю велосипеда, тут и там втыкать в землю щепки и веточки, быстрыми короткими тычками отыскивая рыхлые места.

— Хо-хо! — долетело до Кудинова. — Баррабисс! Фрус! Хо-хо!

Кудинов не сразу понял, в чем состоит игра. Присмотревшись, разглядел, что Леша расставляет и развешивает по двору картонные фигурки, пестро раскрашенные акварелью. Разнообразнейшие фантастические существа, родня вчерашнего Тварца. Самого? трехрукого крепыша Кудинов высмотрел на каменой дорожке торчащим из двух сдвинутых вплотную кирпичей.

— Пап! — крикнул Леша, заметив, что тот проснулся. — А я тут играю!

Подбежав к лоджии, Леша взобрался на выступ стены, по-птичьи покрутил головой, ища угол, под которым лучше разглядит отца сквозь блики и отражения на стекле.

— Мама на работе, а я играю, — от его рта по стеклу расплывается матовая клякса, которая начинает таять, стоит ему умолкнуть. — Ты видел, сколько я их наделал? То есть это он их наделал. Ну, мой Тварец. Ну, так по игре. Видел? — Леша мотнул головой в направлении двора, по которому расселился его картонный народец. — Больше двадцати... забыл... А, вспомнил — двадцать три. Я им как раз имена придумываю. Поможешь?

Вчерашний назидательный рык отца забыт напрочь. Леша весь захвачен игрой.

— Пап, хочешь со мной имена придумывать?

Кудинов отвечает с запозданием, долго выбирает, взвешивает слова. Выходить во двор ему не хочется. Рваная ночь повисла на нем тяжело, держит цепко. Он будто рыба, упущенная рыбаком вместе с сетью. Но нужно хоть как-то приголубить Лешку — после вчерашнего.

— Я позже, ладно, сынок? Ночью почти не спал. Умоюсь, чаю попью.

— Ладно, — спрыгнув с выступа, Леша бежит к садовому столику, на котором лежат неустроенные пока и безымянные фигурки. — Приходи!

— Приду, — отвечает Кудинов и закрывает глаза.

Уснуть бы по-настоящему.

Была, конечно, возможность взять отпуск весной: Башкиров как-то ворчал на летучке — дескать, берите, а то, как всегда, приспичит всем одновременно. Можно было ухватиться — и взять. В апреле.

Включил ноутбук, открыл новую страницу.

Начало... чуткая белая пустошь...

Весной не стал. Весной был хаос: днем жара, под вечер снег. Весной было слишком взбалмошно. Сейчас утряслось. Сохнут лоскуты грязи вдоль бордюров. Зелень, воробьи. Празднично и шумно как в балагане.

Лето.

Наконец-то.

Но скоро жара.

Оглушит и придушит, окунет в асфальтовый чад.

И что-то про кленовую ладонь. Туда-сюда. Изумруды, янтари. Как-то так. Каштаны еще. Эти тени.

Да и хрен бы с ней, с Джульеттой. А вот написать бы про Надю. Про то, как ему сладко и жутковато возле нее — как в море, когда берег пропал из виду. Про маму еще написать. Про схватку ее с козлиным веком. Про ее мужские руки с разноцветной каймой под ногтями. Как он их стеснялся...

— Баррабисс. Хо-хо.

Сплюнув сквозь щелку в передних зубах, Тварец повторяет с некоторым нажимом: «Хо-хо».

— Что, простите?

— Дигирума фрус, — отвечает он задумчиво. — Нума, — и ловко отбрасывает Кудинова через дуршлаг.

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

Сергей Васильев

Не прячь лица

* * *

Любовь, как жизнь, кромешна и длинна,
Не надо шелка нам, не надо льна,
Ни радости, а только звезд и света.
Печаль пройдет — она всегда одна,
И лишь луна ответит нам за это.

Нам в этой жизни очень повезло,
И мы храним Хароново весло.
Чем кончится печаль — конечно, кровью,
Горячей очень, очень дорогой.
Ты, милый, стал совсем уже другой,
Чтобы назвать судьбу свою любовью.

* * *

Не прячь лица пред Господом, гляди,
Как снег летит над миром неизбежным,
Как сердце льется колоколом нежным —
Не у тебя, у Господа в груди,
И как ты огород ни городи,
Мир навсегда останется мятежным.

Настанет день однажды, день такой,
Когда ты осознаешь, что воочью
Увидишь Бога только лунной ночью,
И лишь тогда к тебе придет покой,
И ты тогда расстанешься с тоской,
Услышав песнь синичью и сорочью.

* * *

Синичка плавает, снегирь идет по льду —
Такое сумасшествие, однако.
Я об ночную уколюсь звезду,
Чтобы увидеть знаки Зодиака.

Вот Лев, а вот Телец, но все не впрок,
Стрелец толкает в бездну Козерога,
И, не найдя обещанных дорог,
Тихонько плачет Дева-недотрога.

Васильев Сергей Евгеньевич — поэт, переводчик. Родился в 1957 г. в с. Терса Еланского района Волгоградской области. Окончил в 1982 г. Литинститут им. А.М.Горького. Автор 4 книг стихов, в т.ч. «Странные времена», «Бересклет» и др. Пишет стихи для детей.

Багаутдин Аджиев — гл. редактор детского ж. «ПРОСТОКВАША». Лауреат всероссийских премий «Сталинград», «О, Русь!», имени Расула Гамзатова. Пишет на кумыкском. Живет в Волгограде.

* * *

Небо радостным слывет,
В небе чудо-кит плывет,
Поражая жирным телом
Тишину летейских вод.
Там жирафы и слоны
Удивительной длины,
Там готовят между делом,
Приглашают на блины.

Там и ангел не верблюд,
Там тебе компот нальют,
А потом закинут в заводь —
Ведь в колодец не плюют.
Ни находок, ни утрат,
И сам черт тебе не брат
Жизнь прекрасна, милый, да ведь
Смерть прекрасней во сто крат!

* * *

Прости меня, любимая, зима
Крылата и дает нам задарма
Снегурочек и дурочек отважных,
Веселых, привлекательных весьма,
Я сам от них бываю без ума,
Как от игрушек ярких и бумажных.

А вот что делать с ними, подскажи,
Висеть всю жизнь над пропастью во ржи
Заснеженной невесело, однако,
Их целовать, запутаться во лжи
Или на грубых лыжах плыть в Кижи,
Чтобы дождаться радостного знака?

Молчишь, родная? Вот и я молчу.
Топчу всю эту глупую парчу
И душу свою вечную калечу,
Над снегом ясным соколом лечу,
А нужные слова я прошепчу,
Когда тебя под этим снегом встречу.

* * *

Полно сеть плести, полно когти рвать —
Холодна, словно лоб твой, Волга.
Снег опять не ляжет к тебе в кровать,
Снег — он в землю уйдет надолго.

И лепечут о чем-то цветочном сны,
И прощанья с тобою кротки,
И живут, печальные, до весны
Ангелы на сковородке.

И течет сквозь тебя живая вода,
Делаясь слишком твердой,
И стучится колокол иногда
В мозг твой, еще не мертвый.

* * *

Памяти отца Евгения Ивановича

1

Бог не враг тебе и не льстец,
Никогда не всплакнет навзрыд.
Предо мною стоит отец:
— Что ли, выпьем? — он говорит.

К старой груше он подойдет
И засунет руку в дупло.
Два стаканчика он нальет —
Мне светло, и ему светло.

2

Я в деревне. Отпуск идет к концу.
Вместе с женою и Ксюхой иду к отцу.

Подправляю могилку, шалфей разросшийся рву,
Разгоняю ворон, галдящих шумно во рву.

А Ксюха, глядя на могильное фото, от восторга визжит:
— Мама, а почему тут Сережа лежит?

3

Жизнь в саду, как будто в раю —
Яблоки там висят,
Пчелы подмигивают соловью,
И медом полнится сад.

Но покрыта ржавчиной ножевой
Пашня, высохшая совсем.
И стоит отец мой, еще живой,
Надо мной и над миром всем.

* * *

Глянь, какие облака,
Словно Божия рука
Их стыдливо обнимает —
Ты лишь только далека!

Жизнь прекрасна и легка,
И плывут, плывут века,
Но никто не понимает,
Как твоя течет река.

Багаутдин Аджиев

Волны Хазарского моря

С кумыкского. Перевод Сергея Васильева

* * *

Музейный сад еще в ночной росе,
А он, угромоздясь на ветке сливы,
Распелся так, что улыбнулись все
И стали все немножечко счастливы.

Благодарю тебя за выбор твой —
Музей ведь этот посвящен поэту.
Он тоже пел, пока он был живой —
О правде пел. Продолжи песню эту.

Пой, соловей, восторженно и всласть —
Такие песни нынче очень редки.
Но я прошу: не улетай во власть,
Чтоб в золотой не оказаться клетке.

Живи на воле, песнею гордясь,
Не посыпая голову золою
Сожженной чести, — и возникнет связь
С историей, народом и с землею.

* * *

Ученые, мыслители, поэты,
Живущие от родины вдали,
На многое пытались дать ответы —
На жизнь и на вращение Земли.

Им ведомо устройство мирозданья,
Они с рожденья космосу близки.
За что же, славой заглушив рыданья,
Терзали их и рвали на куски?

За то, что почву мыслью оросили,
Что крошку хлеба не могли украсть?
За то, что милостыни не просили
И не ходили никогда во власть?

Талант не нужен власти? Да, похоже.
И правда тоже — вот она, возьми!
И все же, Господи, скажи, за что же
Живьем содрали кожу с Низами?

А вот Алхин Марин — ей рот зашили,
Чтоб правду говорила мертвым ртом.
А вот ашуг Саид — и глаз лишили,
И бросили его в зиндан потом.

А вот вельможе голову на блюде
Опять несут, и плачет весь народ.
Они чужие? Нет, они-то люди.
А вы, цари, совсем наоборот.

Из цикла «Колокола тридцатых годов»

3.

Волны Хазарского моря прилежно
Лижут соленым языком прибрежные камни.
Им хорошо, камням этим круглым, —
Им не стреляют в затылок.

Хмурится древний Хазар —
Он единственный, может, свидетель
Того, что здесь было
В тех страшных и скорбных тридцатых.

Сейчас здесь красиво —
Цветут черноглазые маки,
И сладко прохожим
Миндальным дышать ароматом.

Ах, знал бы малыш босоногий,
Беспечно играющий в мячик,
Куда он пришел
И кто ему пятки щекочет!

Художник один,
Убеленный давно сединою,
Приходит сюда
Каждый вечер и каждое утро.

Он ловит тяжелые краски
Зари и заката,
Омытые чисто
Слезами овдовевших горянок.

И кровь проступает
На белом холсте, и какой-то подросток,
Взглянув на картину,
Воскликнет: «Так не бывает!»

«Бывает», — ему отвечает
Неведомый голос —
То ль древнего моря,
То ли погибшего горца.

А мир опять окутывает мгла —
Динь-дон-динь-дон — гудят колокола.

5.

Говорят, что в своем отечестве
Нет пророка.
«Есть, — уверяю, —
Это наши отцы и деды,

Которые жили, влюбленные в жизнь,
Для того лишь,
Чтобы их детям и внукам
Жилось хоть чуточку лучше.

Они верили свято в то,
Что оно так и будет,
Что, кроме счастья,
Ничего не будет на свете,

Что Дагестан
Станет большой страною
И горцев никто
Даже пальцем не тронет.

И нам теперь,
Детям тех, кто пропал в тридцатых,
Скорбя и плача о них,
Великих страдальцах,

Приходится в явь претворять
Золотые их сновиденья,
И у нас это получится скоро,
Честное слово!

А мир опять окутывает мгла —
Динь-дон-динь-дон — гудят колокола.

* * *

Весна, как мужчина женщиной, овладевает миром,
А с небес синева долгожданная льется лунным сапфиром.

И цветет там и тут — не надышишься им! — миндаль,
А весна, как художник, с прищуром рассеянным смотрит вдаль.

По Хазару древнему куда-то плывут корабли,
В чайхане толстосумы считают свои рубли,

И глядит на все это с улыбкой мудрой весна,
Пробуждая земные пласты и людей от сна.

Но наш мир остается в старой своей рубахе:
Войны вспыхивают то в Чечне, то в Карабахе,

То в горах, то в долине, и что там душой кривить:
Даже весна их бессильна остановить.

А красота-то какая, ты посмотри!
Черноглазых маков скорей в степи собери,

Подари их любимой, и пусть поверит она
В то, что нашей земли не коснется больше война.

Время бывает дел и время утех,
Но хоть иногда надо бы помнить о тех.

Елена Скульская

Новые рассказы о Баклане

Мост

Он, давно уже хранивший в шкафу свой скелет, все-таки оделся и вышел на улицу.

Мост переминался и примеривался к своему отражению в воде. Вот! Чуть присел тяжем перед подрывом и стал медленно подниматься спиной. Ладони, иссушенные мелом, сжали гриф мертвым хватом; пригнув голову, рванул. Выгнулся, и отражение, вцепившись в спасителя, разорвалось на части.

Он подходил все ближе. Мост рвал из воды свое отражение. Плечи его до дыр протерла река. Мост уже готов был уступить утопленника, чтобы самому спастись.

Они сложились в медальон, любовники. Медальон приоткрылся, и темный портрет в нем окатила непроглядная вода.

Он, собственно, всегда боялся оказаться лишним и потому пошел мимо моста, не беспокоя, пошел вдоль канала, сторонясь воды и держась домов. Приободрившись после встречи с утопленником и решив, что она была случайной, он, не заметя, задел какой-то оттопыренный локоть — то ли фонарь, то ли ставень. И тогда дома сдвинулись и пошли за ним. Он ускорил шаг, но и они заторопились, отдавливая друг другу подъезды, раскрывая объятия дверей. Подвалы в последний раз хотели взглянуть на свет Божий — выкарабкался наружу, подсаженный стремянкой, семейный коричневый альбом. Цеплялся за порог капот прогнившей машины, еще в прошлом году обещавший прорастание сквозь него синенького чертополоха или хотя бы тусклого мха, но Господь судил, чтобы только ржа своей оранжевой пыльцой тронула его грудь, когда-то знавшую удары сердца.

Грянуло лицо и покатилось, охая, по мостовой. Птицы проклевывали в нем глаза, собаки прокусывали в нем рот.

Он ощупал свою голову в поисках потерь. Прикрыл ее сорванным со столба объявлением, где некто предлагал от себя угловую комнату с окном во двор, в каменном доме, спросить Толю: ехать на электричке, идти по лесу, пока не превратишься в шуршащую точку, споткнешься о корни, будешь лежать в гниющей листве, пропадешь ни за грош, а деньги, негодяй, требовал вперед.

К нему подошла девочка в летнем платье. Из ситцевого выреза торчали два комка свалявшегося под подкладкой ватина; оборвала бородатый край объявления, где убийца называл и имя свое, и номер телефона, и адрес.

И хотя он знал, что ее уже не спасти, все-таки побежал, поехал, спешил по лесу и славил имя Господа, падая в волчью яму, радовался, ибо напоследок жизнь его была озарена светом добра.

Елена Скульская — поэт, прозаик, драматург, эссеист, автор тринадцати книг стихов и прозы, выходивших как в Эстонии, так и в России. Постоянный автор «ДН». Последняя публикация — «ДН», № 5, 2010.

Сестра зимой

— Как бы нам поговорить... Когда я встаю, ты еще спишь, когда ты возвращаешься домой, я уже сплю... Утром боюсь тебе позвонить, вечером слышу твои звонки сквозь дрему.

— Потому что я тоже хочу прийти домой и поговорить! Поговорить, попивая вино, ведь ты не пьешь, а я бы пьянела потихоньку, а ты бы по телефону ничего не замечала, а то бы и хмелела вместе со мною. Бог весть, как ты это умеешь делать...

— Да, да, так хорошо говорить!

— Нет, ничего не получится, он уже моется в душе.

— Кто же?

— Совершенно чужой, посторонний человек, не знаю, как он здесь оказался. Пошел за мной по улице, моется в душе. Он мне противен.

— Терпи, надо терпеть!

— Надо, а тошнота подбирается ко мне, как к лодке, которую качает на волнах...

— А я сказала Марку, что мне хочется побыть одной, ты же знаешь, я совершенно не переношу, когда я одна, но Марк привык уважать мою тягу к тому, чтобы побыть с самой собой с глазу на глаз; я думала, мы с тобой поговорим.

— У него нож был все время в руке, когда он за мной шел. Может быть, он и не моется в душе, а что-нибудь другое там делает. Или моется, но зачем? Может быть, я ночью проснусь, а он лежит на боку, подперев голову рукой, и смотрит на меня, смотрит...

— Не бойся, он тебе ничего не сделает.

— Я — лодка, которую тошнит; я привязана к причалу, и причал меня поторапливает и в то же время не отпускает, и я бьюсь об него головой, и, знаешь, умудряюсь занозить своими щепами причальные бревна.

— Марк тоже на меня смотрит.

— Не говори про Марка.

— Про Марка?

— Не говори!

— Ты его хорошо знаешь?

— Его слишком хорошо знает одна моя знакомая.

— Я думала, ты сама.

— Если тебе так легче, то я сама. Но на самом деле, одна моя знакомая.

— Значит, он не к тебе ездит?

— Ко мне. Я им даю ключи от своей квартиры.

— Ты же мне сестра.

— Я очень жалею, если бы ты только знала, как я жалею! Я даже иногда думаю попросить кого-нибудь, чтобы пришел сюда и позвонил бы тебе и сказал бы, что я заперлась в ванной с бритвой и собираюсь вскрыть себе вены, если ты меня не простишь. Он, этот звонящий тебе, стучит мне в дверь ванной, а я отвечаю: только если она меня простит! Но кто, кто встанет под дверью ванной? Вот был бы у меня сын лет пятнадцати, не как-нибудь, а инвалид, он бы мог позвонить и прокричать тебе: не оставляй меня сиротой, мало тебе, что я болен, мало тебе, что у меня нет отца?!

— Господи, а почему нет отца, что случилось?

— Ну, я бы так родила.

— Разве можно?! Ты красивая, славная, ты бы вышла замуж.

— Я думала, ты все знаешь.

— Я знала, но я была уверена, что это ты, родной мне человек. А кто же моется в душе?

— Я его совсем не знаю. Он шел за мной с ножом и вошел в квартиру, а потом заперся в ванной.

— Может быть, тебе показалось и там никого нет? Ты можешь говорить со мной, сколько захочешь.

— О, мне только того и надо! Я давно хотела тебе сказать: знаешь, змеиный

язычок света втискивается в темноту; колеблясь — будто от застенчивости! — пробирается по ее складкам и вылизывает провалы; он вылизывает по ночам темень, словно мать вылизывает темя новорожденного со слипшимися черными волосиками; она сглатывает запах рыбы, оставшийся от странностей зародыша и скусывает ему жабры; никто, даже белый бультерьер с заплаканными глазами не решается к ней подходить, свою сонную морду убийцы — эскимо, с которого стаял и съеден шоколад,— он кладет на подоконник и долго смотрит на отраженный в окне раздвоенный, раздвигающий черные плоскости язычок света. И знаешь еще что? Одутловатый, приземистый город, наш город — с куполами, похожими на крышечки пудрениц, стоявших когда-то на трюмо красавиц, достает декабрьские пуховки, и пудра сыплется на черную грудь земли, выгибающуюся, словно она пробует застегнуть на спине белый мадаполамовый бюстгальтер, — такие уже никто не носит, кроме нее, никто.

Соня-Сонечка, маленький малыш

— Соня-Сонечка, маленький малыш, что же нам с тобой делать? — Она берет лицо в ладошки и наклоняет его то в одну, то в другую сторону, убаюкивает, раскачивает сильнее и сильнее, ей кажется, еще чуть-чуть и она оторвет лицо от шеи, — шея потихоньку вытягивается, вытягивается, станет тоненькой-тоненькой и оборвется.

Она ложится в постель. Дверь открывается, и Соня-Сонечка застенчиво подходит к изножью кровати.

Она встает и крадучись пробирается в комнату к родителям. Ложится между ними. Соня-Сонечка подходит со стороны мамы и не может достать, подходит со стороны папы и недотягивается. Рот Сони-Сонечки — будто кто-то собрался нарезать хлеб, — полоснул себя по руке, рана открылась и стала хлюпать, — так младенец причмокивает, все еще причмокивает, не понимая, что у него уже отняли соску, как раньше отняли грудь, потому что мама курит и не хочет дымом отравлять молоко.

Мама просыпается, поворачивается на бок и закуривает. Ее груди на краю кровати, обращенные к окну, словно протянутые к свету руки, словно балерина просит о помощи, вытянув вперед руки и вставши на носочки, а говорить не может. А руками мама курит, стряхивает пепел. Папа садится в постели и расчесывает кудри...

— Иди, иди к себе, — говорит папа, — а Соня-Сонечка наклоняется к нему и просыпает на него споры и шорохи, будто уже весна наступила, а никто и не заметил, никто.

А ведь это праздник, радость. Она бежит к окну; внизу, под окнами, стоит Арнольд и ждет с ней встречи. Она кидается к нему по лестнице. Останавливается на секунду, и тут Соня-Сонечка, маленький малыш, изворачивается и надевает ей на голову обруч и начинает сжимать, сжимать; так пяльцы сжимают обрывок холста, когда бабушка учит ее вышивать болгарским крестом подушечку маме на день рождения; Соня-Сонечка колет иголкой насквозь, протягивает нитки-мулине и снова прокалывает голову.

Арнольд уже в гостевой комнате за стенкой и зовет ее. Но между ее комнатой и комнатой Арнольда лежит на матрасе папа. Он говорит:

— В моем доме этого не будет!

Арнольд выбегает в коридор и беззвучно кричит что-то маме, простирающей к нему в мольбе груди и курящей одну сигарету за другой.

Она бежит к окну, чтобы увидеть, как уходит Арнольд. Праздник, поют птицы. Птицы ходят по земле и кричат друг другу в оглохшие от капели уши.

— Соня-Сонечка, маленький малыш! — Арнольд не спал всю ночь, он валится с ног, и папа освобождает матрас, на котором стерег и посмеивался.

Арнольд ложится, и Соня-Сонечка легко добирается до него с той стороны, где стенка.

— Не надо, — кричит она в последнюю секунду и берет лицо в ладошки, и тянет, тянет вверх, и лицо поддается, шея вытягивается, становится все тоньше, надрывается, и дерево за окном вздрагивает всей кроной и тотчас начинает дышать свободно и легко.

Сонник

Тогда я вышибаю ногой двери операционной, чего совершенно не следует делать, поскольку двери свободны: придерживаясь скобами одной половинки за стену, второй они танцуют, они приплясывают даже, шлепая хорошеньких медсестер по ванильным попкам, готовым растаять, как мороженое в тревожных руках; о, эти двери — как в ковбойских салунах старых американских фильмов, почти что смытых с пленок памяти, рассыпавшихся в прах школьными гербариями на заднем дворе, куда их несет мама, чтобы выбросить при переезде на новую квартиру, а ты бежишь следом и умоляешь не делать этого, а она все равно бросает в костер и отряхивает руки от спор растений, а к вечеру зола холодеет, и ты идешь к грузовику с откинутой крышкой; тогда я вышибаю двери операционной и вижу то, что и вчера, и позавчера, и всегда.

Кипит кастрюлька, поднимая ввысь мясной запах супа. Хирург достает кусочки и ест осторожно, нарезая мелко. Смотрит усталым взглядом перед собой.

На операционном столе лежит человек и плачет не от боли; боли он уже не чувствует, он уже настолько внутри этой самой боли, что привык к ней, как к разреженному воздуху, когда поднимаешься все выше и выше в гору, сам не понимая, для чего это делаешь, но рвешься вверх, будто выныриваешь из воды, разрывая легкие для вдоха, который не вытянешь потом из войлочного, ворсистого облака, там кислорода нет, одна влага. Он плачет, а не кричит, значит, не от боли; из его бедра вырезан большой кусок плоти и, надо думать, именно он кипит сейчас в кастрюльке.

— Как вам не стыдно?! — кричу я, выбив ногой двери и потрясая кулаками над бритой головой хирурга.

Хирург отвлекается от усталых своих мыслей, поднимает на меня свои глаза: они внимательны, как пчелы, севшие на цветок, втягивают будущую сладость хоботком зрачка. Он смотрит на меня, и вдруг я вижу — нет, я не могла ошибиться — я ясно вижу промельк сначала смущения, а потом и раскаяния в его карих глазах с мохнатыми лапками ресниц.

Он вскакивает, кивая, и, продолжая сжимать тарелку с мясом в руках, спешит к операционному столу, наклоняется к страдальцу и шепчет ему ласково, пересохшими от волнения губами:

— Поешь немножко. Попробуй. Хотя бы кусочек.

Машенька и мамочка

— Машенька, вставай, дорогая, последний кусок остался.

— Ешь, мамочка, мне не нужно.

— Тебе не нужно, Машенька, да мне-то нужно!

— Вот я и говорю: ты ешь, мамочка.

— Что мне есть, когда последний кусок остался. Ты не понимаешь? Я такой эгоистки вообще никогда не встречала на всем земном шаре. Что ты там лижешь? Крошки? Кто с пола разрешил брать?!

— Мамочка, не бей по ручкам. Ты меня не сможешь на органы продать!

— Хочешь, чтобы я тебя на органы продала сейчас?! Отвечай матери!

— Я не знаю, мамочка, я больше есть не стану никогда в жизни, правда, не стану.

— Что ты раскачиваешься из стороны в сторону? Что ты раскачиваешься, будто как маятник. Будто маятник мне по шее бьет и голову мою отсекает, как лишнюю. Ему

иначе время не проложить по всему земному шару, маятнику... Машенька, кровиночка моя, ты, правда, хочешь, чтобы я продала тебя и пожила немного как человек, я ведь устала, Машенька, так устала.

— Мамочка, ты забыла? Ты теперь сними с антресолей коричневый чемодан. Осторожно, тот большой, где железки на уголках, я туда заберусь, а ты закроешь. Потому что иначе меня из дома не вынести незаметно, соседи увидят и все узнают. Мама, не этот, я в этот не влезу, мне нужно будет ножки прямо к подбородку поджимать.

— Да какая разница?!

— Такая разница, мама, что я еще Катю должна взять с собой.

— Ах, Катю? Кате ты вчера голову оторвала. Забыла?

— Баба Нюся голову пришила, да! Катя со мной ляжет. Меня на органы продадут, а Катя будет жить и не умрет никогда на свете.

— Умрет. Я рожу новую девочку и подарю Катю ей.

— Не подаришь!

— Подарю!

— Не подаришь!

— Подарю!

— Не подаришь!

— Машенька, хватит, дорогая. Мне на работу пора. Вот вернусь вечером и опять поиграем. Только утро, хорошая моя, а я так устала, Машенька, так устала.

Канал

Он наклонился и быстро-быстро, почти лакая, стал слизывать черную рану канала. Рана дышала всем животом, как запыхавшаяся собака, и плыла вверх брюхом, запасая в складках непросохшие следы дождя. Загорелый лист бросился в воду с разбега, но не долетел, — он успел схватить его, растереть в ладонях и долго нюхал сухой запах охры.

Он разрезал беспокойный живот девочки, и живот сразу унялся, затих. Аккуратно разматывая, он вытащил то, что, свернувшись, лежало внутри живота. И развесил влажные, переливающиеся — в пузырях розовой крови гирлянды на ветках. Гирлянды светящихся лампочек. Чтобы просохли, чтобы было сухо и чисто, как в детстве, когда мама мыла коричневые половицы и нельзя было по ним ступать, пока не испарялись последние кружочки влаги, а лучи из окна пробирались к полу, огибая горшки с алоэ — их отростки с теплым зеленым внутри прикладывали к нарывам; он ловил лучи и умывался ими и смеялся, он помнил свой смех от солнечного умывания и помнил черного, блестящего на солнце жука: его панцирь был похож на черный брикет в печке, уже просверленный огнем; последний раз топили печку в марте, было уже тепло, брикет пробирало красной судорогой; жук катился навстречу, отвалившись куском угля, и кто-то, он так никогда и не узнал — кто, подсадил жука прямо к нему на рубашечку, и жук забежал вовнутрь, и он, наверное, трехлетний, бил и бил по своей рубашечке кулачками, пока жук там, внутри, на теле, не превратился в слякоть, в жижу.

Девочка была бледна. Он плеснул ей в лицо серой воды из канала. Серые пятна расплылись по бледному лицу. Тут ничего не поделаешь: смертный приговор претворен в жизнь. Больше ничего он для нее сделать не мог.

Он ушел. А девочка еще долго лежала в забытьи. Потом поднялась и стала снимать свое — в пузырях розовой крови — исподнее с веток. Будто она была прачкой, которая снимает еще влажное белье, не надеясь на то, что оно высохнет в этот длиннополый китайский ливень, бьющий в одну точку, о, поверьте, не для иглоукалывания, а для пытки — чтобы пробить ей голову, как цветок пробивает асфальт; эти цветы собирала она в нагретом черноземе гудрона, который тянулся тянучкой, ириской, однажды вырвавшей ей молочный зуб — совершенно безболезненно, так,

что она хотела и дальше есть ириску, но наткнулась на него другими зубами и только тогда нащупала в десне лунку в асфальте.

Черный канал отдышался. Его мутная вода стала ощупывать гранит и подтягиваться на мягких пальчиках, — они ломались, не причиняя воде вреда. Холодный лоб в испарине слизи. Рот, зацепившийся за крюк подъемного моста. Кишечное дно.

Канал встал на задние лапы и откусил девочку, украшавшую мост.

Черновики огня

Черновики огня — опавшие за лето листья — внимательно листала кошка, прихлебывая молоко.

В окне вздыхала занавеска.

Кошка легла, подложив под голову булыжник. Рот ее, размалеванный кровью, потерял очертания. Рот ее, размалеванный кровью, потерял сознание — он стал ртом раны — приоткрытым и узким.

Беременная девочка, из которой, из-под тоненького платья, выныривал поплавок пупка и подпрыгивал, протягивала кошке руки, и кошка сдирала с них кожу, как свежую штукатурку со стен, как обои облаков с заклеенного неба.

Осень плескалась в канале, и канал сжимал челюсти мостов.

— Я уже вызвала «скорую», — говорила девочка с прыгающим пупком, и прижала кошку к груди, и кошка обняла ее и стала грызть ключицу девочки, чтобы заглушить боль; у нее лопались легкие, у кошки, и девочка, готовясь стать матерью, принимала чужую боль, как свою.

«Скорая помощь» все не приезжала, сердобольные шины несли другие тела.

Девочка решила взобраться на дерево и посмотреть, скоро ли помощь.

Мимо пробежал голубь, похожий на закипающий чайник, клокоча и подпрыгивая. Гнилые зубы канала постукивали о гранитные края.

Девочка отняла от своей груди кошку, вскарабкалась по стволу к облетевшей кроне и успела увидеть: вздыхает по ней занавеска в окне, медленно стекает к ней молоко из кастрюльки, — и полетела вниз надкушенным яблоком, зачерпывая по дороге крик.

Бабье лето

Беременная певица пела на два голоса.

Руки ее удлинялись еще и еще, но не рвались, — они были обмазаны желтком и тянулись на липком противне; вытягивались вниз и придерживали упирающийся, скользкий, норовящий выпасть живот, он просился на землю, чтобы расколоться, распасться и осмотреть, наконец, мир спелыми черными глазами — совершенно сухими среди красных подмалевков арбузной геенны.

Корками хрустели свиньи, выскочившие из первых рядов и вскинувшие копыта на сцену; они давили растрескавшимися, разбитыми копытами на возвышение, пригибали сцену к земле, ставили ее на колени, перебивали ей хребет и бежали потом по ней, как по сладкой болотной слякоти, выложенной телами — сломленными ветками, когда они еще могут вскинуться в последний раз и разбрызгать росу.

Ветка вскидывалась в последний зеленый раз и видела дерево с надорванными корнями; их черные, отточенные грифели были похожи на ноги танцоров: раз взлетев, они успевали оставить в воздухе свой росчерк, свой автограф, свою памятку и только потом складывали карандаши с заостренными носками черных тапочек в пенал приземления, ввинчивались в землю, ломали грифели, сваливались на полную ступню, задыхались, задыхались уже всем телом дерева, хватались за сердце, бок рвался, раздирая дупло, в котором хранилась записка о том, что он будет ждать ее всегда-

всегда-всегда... И ворона, разгладив лапками записку, отнесла ее в клюве к свету и только там прочла, прихлебывая из лужи и скашивая пуговицу глаза на почерк с придыханием листвы.

Ворона ушла, переваливаясь, к кустам; она давно заметила, что ходит как утка, перенимает походку своего врага, как первобытный человек, раскрасивший себя для первой охоты, но там, в ее кустах, уже сидела женщина и протягивала мужчине котлету:

— Ешь котлету, ее можно есть, только чесноку нужно побольше класть.

— Но ведь это не собака? — спрашивал мужчина жалобно и ел котлету.

— Не собака, не собака, — отвечала женщина и протягивала ему еще одну котлету.

Он брал и говорил, утирая рукавом глаза:

— Скажи мне правду, это ведь не собака?

— Не собака, не собака, — баюкала женщина.

— Не собака?!

— Да какая же собака?! Щенок это, маленький щенок! Только что родился.

Пьеса
Вечерний спектакль для взрослых

— Почему ты все время сворачиваешь к кладбищу, куда бы мы ни пошли гулять?

— Там вместо подписей могильные кресты.

— Неграмотные всегда ставят крест вместо подписи. И сразу крик: следующий!

— Посмотри, как красиво вокруг. Облака на вате медные деньги считают, длиннополые дожди ступают по палой листве. И жизнь пишет нам, пишет крупно, а мы хоть и напрягаемся, смотрим, но ничего не можем понять. И тогда жизнь проходит, как головная боль.

— Снимает голову, как котелок, и вешает на гвоздик. Умпа-умпа.

— Это ремарка: «Снимает голову, как котелок, и вешает на гвоздик».

— То есть не читать?

— Не читать. И очень тебя прошу без «умпа-умпа».

— Александр Игоревич, ты отлично знаешь, что на «умпа-умпа» мой зритель дает восторг.

— Люся, я прошу тебя держаться текста. Начнем с того, что Вадим написал пьесу...

— Я ставлю точку в этой пьесе. Этот имбецил не пришел во вторник ночевать. Отправился к умирающему другу; вдова не спит ночами, надо сменить. Надо и надо, — сказала я, — мы пойдем вместе. Нет, вместе нельзя, это совершенно чужие тебе люди. Нельзя и нельзя, дай их номер телефона. Зачем? Выражу соболезнование. Он жив! — кричит гидроцефал. Отлично: пожелаю скорейшего выздоровления. Он: звони на мой мобильник, я все передам. Я поставила точку и почувствовала огромное облегчение. Давно нужно было это сделать!

— А где он? Вчера не пришел на репетицию. Найти не могут.

— Я там была. Надела черное, непрозрачное, стояла под дверью, мне не открыли.

— У друга?

— Все ложь. И дама в вишневом шарфе, с которой он обнимался на моих глазах.

— Люся, давай репетировать, я не могу это слушать.

— Я сказала ему, что если мы разведемся, то ему рано будет торжествовать, ты его выгонишь из театра. Ты выгонишь его?! Ответь мне! Впрочем, мне совершенно все равно. Я поставила точку и чувствую только покой. Ты, Александр Игоревич, можешь поступать, как тебе заблагорассудится. Ты, напротив, лучше меня выгони из театра...

— Люся, какая дама в вишневом шарфе? Ягелева, ей восемьдесят семь лет; она сидела на лавочке перед театром, и Вадим помог ей встать на костыли.

— Тем страшнее! Тискать старуху, вожделеть к костям! Я чуть с ума не сошла, меня Максим вынужден был подхватить на руки и унести. Этот олигофрен буквально повис на ней, как плод.

— Люся! Вадим взял ее под мышки и поставил на костыли. Побежал за тобой и застал вас с Максимом в самый неподходящий момент...

— Александр Игоревич, для меня это не имеет ни малейшего значения!

— Люся, давай репетировать.

— Я готова. Почему ты все время сворачиваешь к кладбищу?

— Анна Степановна Ягелева была нашим с Вадимом мастером!

— Очень красиво!

— Люся! Все неграмотные вместо подписей ставят могильные кресты.

— Александр Игоревич, ты еще начни мне говорить, что и умирающего друга знаешь, и его вдову, куда он во вторник ушел ночевать и не вернулся. Голову снял, как ушанку, и оставил на вешалке, а сам прошел мимо... Умпа-умпа, прямо в спаленку на свадебку...

— Люся, тут святой не выдержит, пойдет искать веревку!

— Он, знаешь, что мне говорит: ты — мой смертный приговор, ты — мой крест, имей в виду, кричит, ты — вдова. Я поставила точку и потому отвечаю совершенно спокойно: не пора ли смертный приговор претворить в жизнь?!

— Люся! Посмотри, как красиво вокруг. Облака на вате медные деньги считают, длиннополые дожди ступают по палой листве.

— Этот имбецил отвечает: ты права. И повесился. И я ставлю много-много вопросительных знаков из-за чего. Все ложь. Дама в вишневом шарфе, опухоли мнимых друзей. Все создано мозжечком микроцефала. Он повесился, чтобы меня грызла совесть. За что?! А за то, что я слишком поздно поставила точку, надо было еще два года назад, когда он не пришел меня встречать в аэропорт, видите ли, сломав ногу, а мы-то с Максимом, щадя его, поехали по домам в разных такси! И некому теперь оценить, некому!

Колыбель

Прилетай, мой ангел. Оседлай небесную рыбу или земную птицу. Не завелись ли мошки в перьях — крохотные насекомые, вредящие пернатым веточкам? Когда обрубок дерева протягивает культю лесу, на ней, как на ладони Кинг-Конга начинают расти маленькие балерины в зеленых оборочках.

Прилетай, мой ангел, я вычешу тебе шерстку.

У рыбы брюхо с подпругой и на глазах шоры, а птица крыльями шоркает в твоем стеклянном аквариуме, и по воздуху идут трещины, и сквозь него проваливаются виноградные улиточки прямо в кипящую воду, и виноградные усики их провожают звуками, которые извлекаются трением листьев друг о друга во время дождя, только мы трением добываем огонь, другие — хотят договориться.

Утоли мои печали

Славинская уже дрова. Разрезали — зашили. И можно чисто по-человечески понять пятерых актрис. Они купили бутылку водки и бутылку вина; к вину печенье, к водке три котлеты из кулинарии. И вдруг ничтожная Венчик-Клитемнестрова, только что съевшая котлету, просит вина! То есть как?! Зачем же ты ела котлету? На троих куплена водка, на двоих куплено вино. Причем вино вышло дороже, пришлось докладывать из своих помимо складчины. Ахнуадзинова ничего, кроме вина, не пьет, Кора Мезальянец тоже, вино покупалось на двоих, и то сказать: бутылка! — а всего по бокалу Ахнуадзиновой и Коре Мезальянец. Вино бывает всегда на двоих, а водка на троих, обратного счета не существует, и вино к тому же вышло дороже.

— Дайте мне вина! Алчет дорогого вина мое ненасытное сердце, — поет ничтожная Венчик-Клитемнестрова и опрокидывает в себя буквально полбутылки.

— Таковы люди, — приходит к выводу Лидия Петровна Безбород. Ей легко говорить, теперь, когда Славинская — дрова, Лидия Петровна, без всякого сомнения, получит няню в «Сюрпризе с американцем».

— Дрянь, а не люди, — соглашается из своего опыта совершенно, конечно, счастливая Катя Ищина, она была на разовых, продавала клубнику весной на рынке, а теперь у нее будет три ввода, как минимум, и даже если из репертуара уберут «Проклятие императрицы», все равно останется еще уборщица в «Седьмом дне».

А ничтожной Венчик-Клитемнестровой не на что рассчитывать, ее вчера отправили на пенсию, она думает, что еще никто не знает.

Она вытаскивает из сумочки Коры Мезальянец телефон и звонит режиссеру Другого театра, который когда-то, двадцать лет назад, звал ее к себе на возрастные роли, а она у себя в театре еще играла молоденьких, и кричит в трубку:

— Это все из-за тебя, это ты раньше времени меня состарил! Сволочь ты! Знать тебя не желаю! — тут телефон отключается, она набирает снова:

— Ты что, бросил трубку?

— Нет, — отвечает он, — нас разъединили.

— А я уже подумала, что ты бросил трубку, бросил трубку мой единственный друг. Мой единственный друг — злодей, убийца, позвал меня, цветущую богиню, на возрастные роли! Двадцать лет страданий! Двадцать лет я проклинаю тебя!

Режиссер Другого театра отключает телефон.

Венчик-Клитемнестрова набирает его снова:

— Слава богу, я теперь знаю, что ты не бросаешь трубку, просто плохая связь. Так вот…

Кора Мезальянец видит: ничтожная Венчик-Клитемнестрова мало того что выпила вино, так звонит еще по ее телефону! Кора Мезальянец свой телефон вырывает у Венчик-Клитемнестровой, хватает ее за волосы и бьет лицом о косяк, поворачивает к себе, видит, что никакого особенного урона не нанесла, тащит к вешалке и насаживает буквально Венчик-Клитемнестрову глазом на гвоздь, тот самый, который Марик Селезнев, рабочий сцены, очень старательный (когда батюшка пришел освящать новую гримерку и потерялись ключи, Марик моментально и деликатно взломал дверь, никто и не заметил), специально набил, чтобы актрисам было удобно вешать сумки. И опять практически ничего.

Тогда вскакивают уже и остальные женщины. Да что же это?! И в слезах тащат Венчик-Клитемнестрову к колосникам, они как раз пьют на четвертом этаже, возле заграждения; они подволакивают, перекидывают ее, как тяжелый мокрый пододеяльник через перила и сбрасывают вниз, на сцену, на которой должна умереть настоящая актриса.

Начеку

— Если она вас не обманула, господин полицейский, то ее просто подменили в роддоме! — говорит оскорбленный муж, нашедший утром на столе записку, где жена уведомляла его о разводе и отъезде в другой город, далеко-далеко, а сама отправилась с жалобой в ближайший полицейский участок.

— Януарий, ты можешь меня оскорблять где угодно, но только не в полицейском участке! — отворачивается от него найденная заплаканная жена.

— Почему же в полицейском участке тебя нельзя оскорблять, ты что, какая-то особенная?

— Потому, Януарий, нельзя, что полицейский участок, и все!

— Нет, не все! — выходит из себя полицейский и топает на заплаканную жену Януария. — И Януарий ваш совершенно прав, госпожа такая-то, не желаю знать вашего имени. Говорю вам как полицейский. Напрасно вы написали заявление. Я не могу арестовать баклана, как вы того требуете. Действительно, на ночном дежурстве я видел, как баклан приподнял крышку бака в вашем дворе, вытащил оттуда мусор-

ный пакет, разорвал его, схватил дохлую кильку и полетел с ней на ваш подоконник. Но для меня это еще не повод.

— Что касается повода, то я убеждена, коллега, — включается в разговор женщина-полицейский, пахнущая огуречным лосьоном, яичным кремом и земляничным мылом, — я убеждена, коллега, что повод давала она ему сама. Давала! Посмотрите на нее. Почему она всегда сидит у окна и следит за бакланом? Ушла бы куда-нибудь погулять, он бы ее и забыл. Это я вам говорю как полицейская.

— Уйдите, госпожа такая-то и господин такой-то! — кричит полицейский. — К сожалению, я знаю ваше имя — Януарий; у нас закон один для всех, и мне нет нужды знать ваши имена, но одно имя я все-таки узнал...

— Меня зовут Олимпия, — улыбается ему сквозь слезы несчастная жена.

— Я ничего не слышал, прошу вас уйти. Или уйду я, — встает полицейский. — Мне уйти?!

— Нет! — рыдает беззащитная женщина. — Пойдем, Януарий! Но баклан подкарауливает меня во дворе и не дает прохода.

— Подумаешь, какие нежности! Меня тоже подкарауливает один ворон. Он так меня ревнует, что выклевал глаз моему котенку!

Хотя я сама полицейская и никого не боюсь по долгу службы, — женщина-полицейский распахивает перед ними дверь.

— Выклевал глаз котенку? Ты слышишь, Януарий?! — жена чувствует обнадеживающий запах огуречного лосьона, яичного крема, земляничного мыла.

— Да, пока только котенку, — кивает женщина-полицейский. Ее буквально прорвало, хотя она на службе, и она понимает, что это недопустимо. — Но это последнее предупреждение, потом этот сильный мужчина кинется на меня, несмотря на то, что я полицейская.

— Послушайте, коллега... — стучит по столу полицейский.

— У меня есть имя... — сознается женщина-полицейский, и ужас отражается на ее честном служивом лице.

— Нет! — кричит полицейский.

— Меня зовут Анна-Мария-Мишель! Я не какая-нибудь безымянная Олимпия! — женщина-полицейский распахивает окно и выдает свое имя кустам и заржавленным рельсам, по которым когда-то ходил трамвай.

— Я и не думал, что вы Олимпия, ворон ворону глаз не выклюет, — потерянно отзывается полицейский.

— Как знать! Вороны очень умные и страстные, — хихикает Януарий.

— Помолчите вы все! Я люблю голубей! — полицейский понимает, что проиграл, нарушил и потому торопится хоть что-то рассказать о себе.

— Я так и думала о вас. А вы, Олимпия, вы так думали о нем? — Женщина–полицейский внезапно обнимает жену Януария, которая больше не плачет.

— Я так и думала, а ты, Януарий? — жена обнимает своего мужа, женщина-полицейский обнимает жену, и теперь они стоят, обнявшись втроем.

— Я думал, — хихикает и хихикает Януарий, что даже странно для мужчины.

— Но почему? — спрашивает оскорбленный полицейский, он хочет избежать хотя бы последнего унижения.

— Потому, мой любезный коллега, что голубь способен только на непорочное зачатье! Поэтому вы любите голубей!

— Не кощунствуйте! — полицейский становится на колени, и каждый может его пнуть. Никто не отказывается.

— В вас говорит бессилие, — поднимает его с колен женщина-полицейский.

— Что?! Я старше вас по званию!

— Пока вас не оскорбишь, вы на меня и не посмотрите! Я знаю, вас зовут Эдит.

— Это фамилия, просто фамилия, а зовут меня Этиоклом.

— Не отвлекайтесь, коллега. Давайте лучше поговорим о том, зачем нас вызвали в участок, ведь наше дежурство только завтра, — женщина-полицейский смотрит на Этиокла Эдита холодно и расчетливо. Видно, что она оскорблена.

— Ожидались беспорядки. На Ближнем Востоке взрывоопасная обстановка, — рапортует тот, хотя женщина-полицейский ниже его по званию.

— Но мы же не на Ближнем Востоке, — прищуривается она.

— Мы — нет, но они очень остро на все реагируют.

— Кто?

— И те и другие.

— Что же делать?

— Делать ничего не нужно, просто надо быть начеку.

— А если начнутся все-таки беспорядки?

— Если начнутся все-таки беспорядки, мы все равно ничего не сможем сделать.

— Зачем же мы пришли?

— Чтобы потом не говорили, что беспорядки нас застали врасплох. А вы, — вспоминает полицейский о посетителях, — идите домой.

— Но баклан меня преследует! — стонет Олимпия: у нее нет больше слез, и она даже не пытается заплакать.

— Значит, вы кому-то нужны на этой земле! — простирает к небу земляничные руки женщина-полицейский.

— А тебе я разве не нужна, Януарий? — молит жена.

— Не нужна! Идем домой, мы здесь всем надоели!

И они уходят. Полицейские смотрят в окно на заржавленные рельсы, ждут. Но пара так и не выходит из дверей участка, наверное, затаилась где-то в здании, спряталась и ждет неизвестно чего.

— Ушли. Мы совсем одни в этом мире, — говорит женщина-полицейский. — Я вам сознаюсь, коллега Этиокл Эдит, мне иногда кажется, что мой ворон вовсе не сильный мужчина, а просто святой. Как голубь. Он ведь живет над церковью. Прямо на кресте. А ко мне только прилетает. Ходит, заложив руки за спину по двору. Рукава обтрепаны до самых перьев.

— Не плачьте. А котенок? Он же выклевал ему глаз?

— Как я могла забыть! Конечно, выклевал. Как я могла усомниться в его любви! Какая глупость!!

— Пойдемте, посмотрим, не начались ли беспорядки. А то дежурство скоро закончится.

— Пойдемте, а то мне нужно к котенку, он ведь болеет. Но в нашей ветеринарной клинике обещали ему сделать такой искусственный глаз — сова позавидует!

На плаву

— Лучше бы мы остались дома. У нас дома всегда есть хорошая еда. У нас в холодильнике есть свиная нарезка, сосиски, копченая колбаса, — говорит жена мужу, который идет за ней из комнаты в комнату чужой квартиры; все комнаты пусты; входная дверь была распахнута, вот они и зашли, и кто их осудит за это?

— Зачем же мы пришли, я не хотел идти, зачем это вообще ходить в гости? — бормочет муж, подхватывая жену, когда она цепляется каблуком за коврик в ванной.

— Это не считая полноценного обеда, — оборачивается она к нему.— У нас есть овощной суп, отбивные и цветная капуста в сухарях.

— Я вообще считаю, что ходить в гости к любовникам, когда они женатые к тому же люди, и сами мы тоже женаты, — просто неприлично, — сообщает муж.

— А сыр? Всегда у нас есть просто обезжиренный сыр, потом рокфор в двух всегда вариантах — зеленый и синий, а кроме того, есть еще жареный сулугуни, — продолжает жена.

— Их нигде нет. Они, может быть, просто посмеяться над нами хотели...

На лице жены отражается удивление, моментально переходящее в согласие:

— И самая обычная селедка у нас тоже есть с вареной картошкой.

Муж подходит к платяному шкафу и распахивает дверцы, ловко ковырнув ногтем лунку для маленького ключа, который все равно потерян.

— Я так и знал! Вот в чем дело: у них тут маленький ребенок, совсем крохотный.

— Перестань, — вздыхает, очнувшись, жена, — это — истерическое.

— Неужели?

— Бывает истерическая беременность. Женщина не может забеременеть, а муж иначе ее бросит, и у нее начинается истерическая беременность.

— А ребенок?

— А ребенка нет.

— Я тебе говорю, в шкафу у них ребенок! — Он вынимает из шкафа плачущий сверток и протягивает ей.

— Тебе кажется. — Она мягко забирает у него ребенка и кладет на место.

— Если бы так, я бы обратился к психиатру.

— А ты не обратился?

— Нет!

— Никогда не лги мне! — Жена подходит и дает ему пощечину. — Я — психиатр, и ты ко мне обратился.

Она ничего не может с собой поделать и, раз начав, продолжает его бить.

— Тогда давай хотя бы поедем на дачу, — молит муж.

— Ах, на дачу?!

— Я хочу вырастить собственную кинзу!

— Ты невыносим,— бьет его жена, страдая куда больше, чем он, и плачет навзрыд.

И он говорит ей, не уклоняясь от ударов:

— Укроп хочу вырастить, петрушечку, сельдерюшечку.

— Ты даже в гости не можешь нормально сходить!

— И салатик, и зеленый лук...

— Счастье еще, что я не родила тебе ребенка.

Муж хватает ее, наконец, за руки:

— Психиатр называется! Именно что родила.

— Да?

— Конечно!

— Мальчика или девочку?

— Это ведь наше дитя, и мы его обязаны любить, будь оно хоть мальчиком, хоть девочкой.

— Как ты прав, как ты прав! Это все баклан. Баклан. Мой поклонник. Он похож на карлика. Он меня ко всем ревнует. Даже к тебе. Хватает тебя за рукав и не дает пройти. Однажды потянул тебя за рукав так сильно, что ты наклонился, и он ударил тебя по голове клювом. Мне было страшно думать, что я рожаю от него, так страшно, что я вытеснила этот факт в подсознание.

— Господи, — теперь плачет и муж, — зачем мы отказались от нашего ребеночка! Мы оба думали, что он от баклана, от карлика, а все зависит от воспитания!

И они долго рыдают, обнявшись, в чужой квартире, в чужом городе, в чужом мире.

Алексей Ивантер

На окрайне Ильинского сада

* * *

На окрайне Ильинского сада на излете холодной весны я родился под эхо парада у Великой Кремлевской стены. Крепкий запах солянских солений настигал и в Ильинском саду! Я застрял между двух поколений где-то в тридцать девятом году. Я потомок пастушьего рода, сердцем знающий коз и овец. Я из тридцать девятого года пулеметного взвода боец. Трижды веком меня обернули, запихнули мне в глотку слова, но гулят мне московские гули, подмосковная кычет сова.
Опусти же железное веко, все равно не берет укорот, если горло заткнуть человеку, речь из кожи проступит, как пот. Опусти же железное веко, тяжела мне твоя булава! Если в землю зарыть человека, из земли вырастают слова.

* * *

За ткацким бараком Свердлова, где нет голубятни давно, мне это привидится снова: из сладкого детства кино — петух на заржавленном шпиле, из желтой тележки квасок... Почтовые голуби плыли за Зюзинский влажный лесок...
Когда у махины Урала ворочалась Арская степь, звенели булгары в орала, и силилось горло запеть. Но что до небесного дара, ответь-ка, давай, дурачок, замерзшим в снегах Павлодара за свой комсомольский значок? В пшеничной степи и овечьей, где ночью наречья мертвы, я голос узнал человечий в напеве уйгурской травы. Так выпей сегодня со мною, харамного пойла со мной, луна над ночной Астаною, трава за ночной Астаной, за всех, кто на шатком помосте двадцатого века отжег, кто плечи, ладони и кости подставил под наш сапожок, за всех, кто явился и сгинул, за тех, кто о правде радел, кто гнул подцензурную спину, нам слово оставил в надел, и вышел, присев на дорожку, слезу не отерши со щек, на звезды, мороз и морошку... Куда и тебе, дурачок.

* * *

Но пахнет кирзой и махоркой, как в семьдесят первом году, где берегом грязной Пехорки я в галстуке красном иду. Но пахнет гнилою ботвою, помойкой за нашим двором, попуткой в Ручьях бортовою, спешащей на ранний паром, но пахнет грунтовкой разбитой, ухтомским бараком худым, могилой солдатской забытой, и папой — еще молодым, и воздухом звонким и ковким над шелестом синих осин, над старым прудом в Салтыковке за лавкой, где был керосин. Над чудом родных демократий, скудеющих день ото дня, со старых глядят фотографий родные мои на меня, там пахнет хамсой и теплушкой, ночным казахстанским ледком, побитою молью мерлушкой, крутым фронтовым кипятком...

Ивантер Алексей Ильич — поэт. Родился в 1961 г. в Москве. Учился в МГПИ им. В.И.Ленина. Работал в геологических экспедициях, в разное время руководил разными коммерческими и государственными структурами. Автор 5 книг стихов, в т.ч. «Держава жаворонков» (М., 2003), «Дальнобойная флейта» (М., 2006), «Каменная правда» (М., 2011). Живет в Москве.

* * *

«Впереди идет повозка, на повозке красный крест», кровью вымочены доски, авизентовый лонгшез. В кулаке — сырые спички, чад житомирской махры, милосердные сестрички, инженерные костры. Мировая-моровая на украинских полях, и кровит передовая в полевых госпиталях, то лежит дорога прямо, то запляшет гопака, мать сыра родная яма дожидается сынка. Обождется, не дождется, кукиш масляный поест, для того ж оно поется: «на-по-воз-ке-крас-ный-крест!» А потом сырая Луга, на петлицах кубари, госпитальная подруга (обожди, перекури) в сорок за сорок рожает: худобою худоба в предвоенный год, чужая, вся понятная судьба.

* * *

Что-то мама захворала, навалилось через край,
Мама, нас осталось мало, обожди, не умирай!
Помнишь снег под Павлодаром, голод, бабушку в тифу,
Запах кож и скипидара, ссылку, пятую графу?
Помнишь, бабушка в апреле ни к чему произнесла:
«Мы евреи, мы евреи, бухенвальдская зола…»
И легла уже не встала, как ушла из-за стола,
Догорела вполнакала, незаметно умерла.
И под русскою ветлою разместилась декабрем
Бухенвальдскою золою за Донским монастырем…
Не ее ль ладошкой узкой с медицинскою иглой
Я подмешан к песне русской бухенвальдскою золой?
Полистай мои страницы: ссылки, войны, холода,
Леденящие больницы, немудрящая беда,
То с обрезом под полою, то с колымскою пилой,
С бухенвальдскою золою, с бухенвальдскою золой…

* * *

Я тебя жалею с опозданьем,
Мне немного выпало успеть —
Целовать последним целованьем
И последней жалостью жалеть.

Юрий Воротнин

В землю возвращается земное, долго не останется в долгу. И гудит пространство волостное, от колодца хвоя на снегу. Скорбное сготовив столованье, зябнущие в холод и жару, белый лоб последним целованьем три старухи тронут поутру. Молча рядом встанут три старухи, по обряду вымоют порог, три старухи сядут, сложат руки, а четвертой — утром вышел срок. Вышел срок не первый, а повторный, первый срок-то кончился давно, там, где катер лагерный моторный лег весной на илистое дно, там, где сталь зубчатая звучала, вековые рушились стволы… Он не мог создать ее сначала без кайла и лагерной пилы! В день восьмой забытого Творенья у горнила стынущей Земли на пилу горячую от тренья тени не наставшего легли, и по зимней улице бетонной в сотворенном Господом году покатился «пазик» похоронный, оставляя сбоку Слободу.

* * *

Двери хлопают в той коммуналке,
От которой давно только память.
И три бабки мои — коммунарки
Хором всплескивают руками.

Ленинград допотопного года,
Пять Углов за окном и «Победы»,
Бесконечно — сырая погода,
Бесконечные сборы к обеду.

Двери хлопают в той коммуналке,
Где на кухне — сплошная морока,
И та бабка, которая Амма
Ту ругает, которая Роха,

И, конечно, сгорает пирог мой —
Именинная сладкая хала…
Вместе бабки — и Амма, и Роха
Ту ругают, которая Хана.

А звонок коммунальный — трезвонит,
А на кухне — воруют обмылки,
И гвоздит оттрубившая в зоне
За нее отбывавшую в ссылке!

Двери хлопают в той коммуналке,
Из которой сундук и стаканы,
В коммунальном раю — коммунарки,
Нету места в нем только для Ханы.

Будет место. И хлеб поминальный —
Он и смолот уже и замешан.
…и шумит Ленинград коммунальный
Из пяти коммунальных скворешен,

Снег летит над Невою и тает,
До утра не хватает заварки,
Три сестры надо мной пролетают —
Коммунарки летят, коммунарки.

* * *

Судьбы русские как на ладони, хочешь плачь, хочешь песню запой, на стене в необструганном доме мать, отец и хозяин слепой. Потолка небеленая копоть, за окном неказистый лесок, и от «холодно-сыро в окопах» граммофонной пластинки кусок. Песни-песни, не все вы допеты! Поспешаем, пока не спеша скорой помощи едет карета и поет, отлетая, душа. У реки за Инкоу горящим, в синем отблеске стали ночной утоленье земное обрящет разговорчивый этот больной.

* * *

Нам отольются полной мерой и бормотня и пачкотня, и этот мальчик — Туроверов, с кормы стреляющий в коня, и хлеб степной на полустанках, и одинокий вдовий век, из «Правды» желтые кубанки, и песни поездных калек.
Когда из мерзлой электрички выходишь пьяный в Снегирях, в снегу не сыщешь рукавички, стоишь в распахнутых дверях, а ветер снег прицельный мечет и дерева морозны гнет — вся жизнь твоя тебе навстречу вдруг перебежками рванет. Что было в ней? …какого ляда меня на сопли развезло? В ней было то, что было надо, и быть иначе не могло!
Но снится мне судьба иная, на риге запаленный хлеб, и я, по совести, не знаю, какая

вправду из судеб. Не та ль, где сталь в крови дымилась в бою за Северским Донцом и гнил Сиваш? Скажи на милость, не явь ли этот липкий сон?
...ахалтекинец рыжий впрожелть бежит по выбитой траве, и пуля, пущенная в лошадь, в моей застряла голове.

* * *

Раз каждому по вере и по силе, я пожелаю, голову склоня: как из огня безногих выносили, пускай она и вынесет меня — лежащая в подгнившей парусине, но шепчущая Радостную Весть — из строк моих глядящая Россия, какая есть.

* * *

Светло, прокошено и чисто в убитом засухой саду. И ты — как жизнь киноартиста — вся на виду, вся на виду. В плену рассеянного света мой «Рейнметалл» и венский стул из тех времен, которых нету — железный лязг, далекий гул, от дачи ключ не подошедший, окно на первом этаже, ушедший брат, отец ушедший, не вспоминаемый уже... Оно вернется-обернется, ударит в колокол ночной, оно на лестнице споткнется и чертыхнется за стеной: кирза гармошкой, руки в брюки, и покати в дому шаром, и к ляду точные науки, когда на пристани паром, когда в бинокль довоенный из-за соснового ствола увидишь, как в иной Вселенной ты мимо пристани прошла! О, пароходик отошедший! О, дым над пристанью пустой! Есть в нашей юности ушедшей настой хмелящий и густой. Дана нам в зрелости свобода от животворных этих чар. Тихи медлительные воды, над Плесом сумерки и пар, найдешь подсоленное слово, перекатаешь по губе... но нет свободы от былого, оно во мне, оно в тебе, о нем и скажешь и напишешь, и от бессилия соврешь; мотив полуночный услышишь и что-то давнее поймешь.

Рада Полищук

Лапсердак из лоскутов

Два фрагмента новой книги

Лоскут из черного крепа,

не потерявшего с годами своего благородного блеска,
с матовым отливом и едва заметным мраморным рисунком,
напоминающим водяные знаки на бумажных купюрах,
только видно их не на просвет, а под определенным углом освещения,
опытный глаз ценителя поймает этот ракурс без труда,
даже если пиджачок надет на бомжа, бородатого, нечесаного,
но следы былой красоты и породы, в смысле благородного происхождения,
проступают на лице, одутловатом и бледном от перепоя;
лежит бомжик на лавке под крышей остановки общественного транспорта
и преспокойно спит, ни люди, ни машины, ни жара — ничто не мешает,
и ничто его не тревожит, даже взгляд в упор с расстояния вытянутой руки,
картинка и впрямь живописная — пиджачок из черного крепа,
белый шелковый шарф с изысканным черным вензелем на краю
завязан голландским узлом на голой шее,
из чего можно сделать вывод, что и пиджак надет на голое тело,
а дальше — линялые голубые джинсы с дырками для проветривания
и резиновые пляжные тапки разного цвета и фасона, надетые на босу ногу,
пятки черные, а лицо — спокойное, лоб высокий, красивый,
и тонкие пальцы правой руки прижаты к переносице,
рука аристократическая, залюбуешься;
«не отнимайте ладони со лба», невольно само собой
срывается с губ пронзительное окуджавское,
никакого, казалось бы, не имеющее отношения к спящему бомжу,
вот уж кто не маэстро — это факт, нагляднее быть не может;
впрочем, как знать, отчего бомжует —
от полной никчемности, неудачливости, непротивления судьбе, от внезапной беды
или от полноты свободы — мой адрес не дом и не улица,
«без определенного места жительства» — не прозвище,
не принадлежность к социальной группе,
а воплощенное в реальность бытия осознанное миропонимание,
чему, если не кривить душой, можно остро позавидовать
с высоты любого благополучия и благоустроенности...

Рада Полищук — прозаик, издатель и главный редактор российско-израильского русскоязычного альманаха еврейской культуры «Диалог». Постоянный автор «ДН». Последняя публикация — № 3, 2010.

Продолжение. Начало см. «ДН» № 3, 2010.

— По паспорту я — Элия Брумель. Можно Эль Брумель, или Эль-Ель, напоминает колокольный перезвон, не правда ли? А Эль, чтоб вы знали, — имя Бога, значит, Бог во мне и со мной всегда.

Так многословно и витиевато он представлялся, кто бы ни стоял перед ним — хоть самый отпетый подзаборный пьяница-забулдыга, хоть представитель власти любой страны земного шара в полицейской форме, хоть, к примеру, королева английская или звезда мирового кинематографа Шварценеггер, или даже президент Соединенных Штатов Америки сам Барак Обама. Таких высоких встреч у него, правда, пока еще не случалось, но Брумель был готов, представиться мог с легкостью на четырех языках — русском, английском, идише и испанском, а точнее каталонском.

Пленительная улыбка, томный взгляд коричневых с золотой поволокой глаз, изящный наклон головы и весь корпус в легком поклоне удерживает в любой стадии опьянения. Элегантен, как принц чистых кровей. Не опускайте глаза, чтобы не видеть грязные ноги в разноперых тапках! А если уже опустили, остается одно из двух: первое — сделайте вид, что не обратили внимания, вообще на весь этот костюмированный бал не обратили внимания, и второе: как раз обратили и за театр-маскарад, а не за что иное приняли, а в театре-маскараде все допустимо. Такие правила существуют.

— Ну, хватит спать, что разлегся как король на именинах. Дай женщине присесть! Слышишь? Эй!

Женщина бесцеремонно ткнула его в бок маленьким пухлым кулаком правой руки, в левой она держала небольшой, но заметно увесистый рюкзачок, розовый с аппликациями котенка, собачки, крысенка, аксессуар был явно не по возрасту ей. Впрочем, и бриджи и майка пестрили такими же картинками, и два детских хвостика прикрывали маленькие ушки, в которых болтались простые пластмассовые сережки — ярко-розовые с зелеными прожилками. Можно было подумать, что она из того же театра, что и спящий.

То ли отозвавшись на ее тычок, то ли для собственного удобства, он подтянул колени к груди и сладко, протяжно зевнул. Она присела на освободившийся край скамьи, смахнула пот со лба и, прищурившись, стала смотреть вдаль, под железнодорожный мост, откуда должен был появиться автобус. Солнце било прямо в глаза, она отвернулась, и взгляд ее, не задерживаясь, скользнул по лицу мужчины. Она передернула плечами то ли от отвращения, то ли оттого, что капельки пота щекотно сбегали по ложбинке между лопатками.

Взгляд ее бессмысленно блуждал по лицам и спинам столпившихся на остановке, изнывающих от жары людей, они буквально таяли на глазах, оплывали, теряя контуры, краски блекли, все сливалось в бесформенную шевелящуюся массу. Непреодолимая полудрема овладела ею, то ли сон мелькал, то ли галлюцинации — мякишем указательного пальца она слегка надавливала на кончик носа спящего мужчины, он смешно морщился, мотал головой, но никак не мог проснуться.

— Элель, — звала она, — колокольчик мой, просыпайся! Элель! Элель! Элель! — будто капли росы звенели на лугу в предутреннем свете.

Мужчина вдруг резко поднялся со скамьи, какое-то время озирался по сторонам, дергая головой туда-сюда, потом наклонился к ней и тихо спросил:

— Это вы меня разбудили, мадам?

— С чего бы это? Я жду автобус, оставьте меня в покое. — Она все еще плыла в полудреме между сном и реальностью.

— Но вы звали меня по имени, я отчетливо слышал: Элель, Элель.

Она уставилась на него немигающими глазами, оторопь застыла в них.

— Боже! Это ты?! Быть не может! — одну руку прижала к груди, другую ко лбу. — Бейсболку на даче забыла, и вот нате вам — тепловой удар, так и знала, что этим все кончится... — она закатила глаза и замахала на него руками, будто нечистую силу отгоняла.

Последние ее слова прозвучали двусмысленно — то ли жару имела она в виду, то ли какие-то другие обстоятельства не сегодняшнего дня.

— Леля! Леля! Не волнуйся, с тобой все в порядке... Это на самом деле я. — Он упал перед ней на колени и стал целовать руки.

Такую мелодраму наблюдали люди, ожидающие автобус в этот знойный московский день 2010 года. Потом все поглотила яркая вспышка света, которая есть окоем тьмы.

Она проснулась раньше, чем он, долго смотрела на него спящего, не могла оторваться. Все в нем нравилось ей, она откинула простыню и стала бесстыдно и подробно разглядывать его обнаженное беззащитное тело. Прикусив губу, чтобы не рассмеяться и не разбудить его, она трогала его кончиками пальцев, едва прикасаясь, едва, но позволила себе все, чего не могла сделать, когда он не спал. Он был слишком застенчив и целомудрен, мальчик из хорошей семьи, с правильным воспитанием и изысканными манерами.

Мать, бабушка и старшая сестра Эсфирь — все причастны к этому творению, все приложили руку, без устали подправляя, совершенствуя плод своего вдохновения. Каждая на свой вкус. Каждая любила в нем себя, прежде всего себя, им попирая несовершенство мира, укоряя за все свое несбывшееся, сводя счеты с близкими, что напрямую сделать не позволяло воспитание.

— Элель, — позвала она, — колокольчик мой, просыпайся! Элель! Элель! Элель! — будто капли росы звенели на лугу в предутреннем свете.

Мякишем указательного пальца она слегка надавливала на кончик его носа, он смешно морщился, мотал головой, но никак не мог проснуться. Тогда она поцеловала его в губы, раздвинув их языком, долго, неутолимо.

— Вставай скорее, маленький лентяй, пора домой. Бабушка будет ругать. И мама. — Она состроила страшную рожицу и добавила угрожающе: — И Эсфирь.

— Не хочу домой, — канючил он, не хочу. — Я останусь у тебя навсегда, Леля, Лелечка, росинка моя.

— Нельзя, Элель, нельзя, мой маленький, быстро одевайся и уходи. А то они ворвутся сюда и растерзают нас на кусочки — бабушка, мама и Эсфирь. Нет уж, нетушки.

Она была старше его всего на два года, но часто ей казалось, что он ее ребенок. Она отчетливо помнила ту благодатную пору, когда он жил внутри нее, принадлежал только ей, и они безраздельно любили друг друга. Когда он исчез из ее жизни, внезапно, будто порывом ветра в окно выдуло, и только форточка вдогонку всполошенно хлопала, она сидела, оцепенелая, вжавшись в темноте в угол старого потертого дивана с гуляющими, поющими пружинами, осторожно прикасаясь, обеими руками гладила свой живот, силясь вернуть то счастливое, ничем и никем не омраченное время их любви, полное слияние, будто проросли друг в друга плотью и стали неотделимы.

Ан, оказалось — иллюзия. Химера!

Бабушка, мама, Эсфирь — женский триумвират.

Единственным мужчиной в семье, не считая маленького Элеля, был дедушка Израиль Ефимович, преждевременно скончавшийся на даче от внезапного сердечного приступа.

Острая коронарная недостаточность — по-научному, по-медицински, говорила после бабушка-врач и трясла головой из стороны в сторону, не в силах смириться с потерей и с тем, что сразу не распознала угрозу и «скорую» не позволяла вызвать — а как же: врач в доме, профессор, сама все сделает. Тем более она знала — у Изи не сердце, у него невроз, он просто очень мнительный. И положила горчичники на грудь и на икры ног, нитроглицерин под язык, напоила крепким чаем с добавлением пятидесяти граммов коньяка высокого качества, и несколько раз измерила давление и пульс. И только когда поняла, что приступ никак не купируется, испугалась не на шутку, позвонила в свою клинику, чтобы срочно прислали реанимационную кардиологическую бригаду, и сама начала делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Да поздно было, он уже не дышал.

И осталось в памяти: Изя лежит с горчичниками и тихонько постанывает, глаза полуприкрыты, а она рядом в кресле ест свою ежедневную овсяную кашу и просматривает свежие газеты.

— Что ты делаешь, Эммочка? — спросил он слабым голосом.

Она в ответ бодро:

— Ем кашу и читаю газеты.

В его взгляде мелькнуло недоумение, она никогда не забудет этот беспомощный, укоряющий взгляд: что, мол, ты, профессор, сидишь, ничего не делаешь, ешь, как ни в чем не бывало, свою кашу, газетки почитываешь, а я умираю...

Может быть, ей показалось, даже скорее всего. Он бы не позволил упрек в ее адрес никогда — любил, уважал, ценил ее профессиональные качества. Но господи, господи! — Изя умер в расцвете сил, а она не сумела спасти его. Грош ей цена, грош — в базарный день.

Это событие выбило Эмму Борисовну из ровной колеи, по которой тихо-мирно, без тряски, крутых виражей и сильных толчков катилась ее жизнь с заданной скоростью в заданном направлении, выбило на долгие годы. И до самого конца она так и не сумела понять, что больше потрясло ее — смерть мужа или ее собственная роковая оплошность.

Так или иначе — сразу после его смерти она уволилась из клиники, оставила преподавательскую работу, вообще ушла из профессии и всецело посвятила себя внуку, сладкому мальчику, чей благотворный нектар должен был нейтрализовать горечь ее страдания. Это было последнее медицинское предписание, которое она себе позволила, даже не представляя, какие тяжелые побочные действия оно вызовет. Лучше бы продолжала свою врачебную практику.

Раньше внук был для нее любимой игрушкой выходного дня. Затисканный, выгулянный, закормленный, получивший за одно воскресенье все, чего пожелать мог, и больше того, он обычно засыпал от усталости и переизбытка впечатлений на полуслове, на полушаге, падал замертво. По понедельникам у него часто поднималась температура, случалась рвота, всю неделю он куксился, был сам не свой, но к воскресенью оживал. И они продолжали «распутство», Эмма Борисовна сама не без удовольствия так определила свой формат общения с внуком, в шутку, разумеется, в шутку, которая забавляла и немного возбуждала ее именно в силу неукоснительно строгих моральных устоев, внедренных в ее гены не одним поколением предков.

После смерти Изи она забрала мальчика к себе.

Во-первых, чтобы заглушить свое полное одиночество, глухое, беспросветное, без всякой надежды на какие-нибудь перемены, поскольку собственную смерть нельзя отнести к этой категории. Она — ничто.

Во-вторых, и это почти совпадало с первым, — она не желала делить любовь мальчика ни с кем — ни с его матерью, ни с сестрой. Семья теперь делилась без остатка поровну — на две пары: она, Эмма Борисовна, и внук Элель, дочь Эстер и ее дочка Эсфирь. Такая странная арифметика получилась — четыре Э, деленные на два. Две самостоятельные ячейки на букву Э (оборотное).

В-третьих, и это несколько противоречило первым двум, — ей не очень хотелось сдавать главенствующие позиции в семье. Как-то все сразу получилось — не завотделением, не завкафедрой и не глава семьи. А она любила и привыкла властвовать, царить. Изя с первых дней их совместной жизни отдал ей бразды правления добровольно и навсегда и никогда не перечил, не спорил, не стоял на своем, чего нельзя сказать про Эстер и Эсфирь, напротив даже, с их стороны — один неустанный протест, по любому поводу и без.

Эмма Борисовна не сразу избавилась от привычки расписывать все по пунктам, как курс лечения для своих больных, чтобы не было никаких разночтений. Вполне рациональная схема мышления, в рамках которой все выстраивалось должным образом, а если нет, то также по пунктам (первое, второе, третье) можно было подкорректировать, раз и еще раз.

Однако после ухода Изи Эмме Борисовне никак не удавалось наладить все по своему обыкновению — третий пункт никак не встраивался в задуманную схему.

Она снова и снова возвращалась к началу, ища выход из сложившихся обстоятельств.

Итак, первое — ребенка ей отдали без боя, хотя условий и претензий выставили несметное количество: кого куда прописать, какие-то формальные перестановки совершить в этой сфере, о праве собственности на Изины коллекции и прочее, и прочее. Она ничего во всем этом не смыслила, отложила все на потом, благо и они не форсировали события — никто не бедствовал, у каждой была своя жилплощадь и каждая была полностью поглощена собой.

Главное — она и Элель теперь вместе, души не чают друг в друге, он сразу согласился называть ее Эммочка, хотя прежде называл по наущению матери, но вопреки ее желанию, как все дети, — бабушка, хорошо еще — не баба, этого бы она стерпеть не смогла.

Эммочка — называл ее Изя. Это было ее имя, она не хотела потерять его, чтобы не потерять себя. Элель растет, ему уже двенадцать, скоро станет взрослым мужчиной, а она останется Эммочкой. Сущностно важный момент для тех, кто чувствует такие тонкие материи, разумеется, для всех прочих — глупость, старческая блажь.

Не обращать внимания! Она так хочет и так будет — вот что важно.

Отныне и навеки она — Эммочка.

Далее — второе. Разделились на две ячейки: Э + Э и Э + Э. Вопреки ожиданиям операция оказалась почти безболезненной, никто не рыдал, не рвал на себе волосы, Элеля не терзали на части, не тянули за руки в разные стороны, на разрыв. Легко обнялись, легко поцеловались, едва касаясь губами, чтобы помадные пятна не расцветили щеки мальчика и чтобы он не помял блузку и, боже сохрани, не попортил прическу. Присели по непременному обычаю на дорожку, быстро встали, и четыре руки, холодные, холеные, с безукоризненно обработанными полированными ногтями, две — телесного цвета, две — ярко-красного, подтолкнули ребенка в спину.

— Иди, Эль, иди, мальчик мой, веди себя хорошо, помни правила хорошего тона, не огорчай бабушку.

— Эммочку, — тихо поправил мальчик.

— Давай вперед, Элияша, посмотрим еще, кому повезло. Дорога уходит вдаль, — Эсфирь многозначительно улыбалась, неестественно растягивая губы, будто мимическую зарядку делала в неурочный момент.

Она любила напустить тумана, все, что ни говорила, нуждалось в расшифровке — такой особый склад ума имела.

Теперь они обе как по команде помахали в воздухе — одна кистью правой, другая левой руки.

— До свидания, Эль!

— Бай, бай, Элияша.

— Элель, — насупив брови, поправил он и отвернулся от них.

Эммочка в очередной раз порадовалась их сродству — у мальчика тоже есть свое имя, он сам себе его придумал в раннем детстве, это было первое осмысленное слово, которое он произнес, показывая пальчиком на себя.

Его имя Элель, и он не намерен его менять. Имя — это судьба.

За вторым неизбежно следует третье.

Но тут по-прежнему концы с концами не сходятся. Надо отложить на время и подумать. Все обязательно будет так, как она хочет. Самовнушение и внутренний настрой — великая сила, не следует об этом забывать. И спокойствие, и терпение. И Изино умение всех вокруг себя собрать, чтобы, взявшись за руки, водили общий хоровод — по кругу вправо, по кругу влево, все вместе — вперед, теперь все вместе — назад. И снова, и снова. Никаких усилий это ему не стоило, само собой получалось. И все были довольны.

Невольно закралась мысль — может, Изя был главой семьи, а не она, Эмма Борисовна, Эммочка? Ее главенство — всего лишь фикция, профанация, видимость?

Давайте все вместе, «ломир алэ энейнем». Изя хорошо пел мягким баритоном, глубоким, раздольным, его пение никого не оставляло равнодушным. Правда, нечас-

то пел, Эмма Борисовна не разрешала, тем более еврейские песни — с какой стати при посторонних на идише, не к чему выставлять напоказ свое еврейство, она считала это дурным тоном. Он пробовал возражать, но она была непреклонна:

— Не спорь со мной, Изюня, это абсолютно не уместно, только в узком семейном кругу.

Но круг был слишком узок.

Давайте все вместе — «ломир алэ энейнем».

Эммочка так не умеет. Не петь, она как раз подпевала Изе и часто с удовольствием, прикрыв глаза и четко, без запинки артикулируя на идише каждое слово. В эти минуты она отрывалась от земли, летела по небу, с тоской и мучительной любовью выискивая маленький еврейский городок на берегу большого озера. В пятом от начала улицы доме в окнах горел теплый мерцающий свет, языки его вырывались во двор, подсвечивая небо, она зависала над этим домом, пытаясь заглянуть в окно, они все должны быть там, вокруг стола, — бабушка Хана, дедушка Мотл, прабабушка Мириам, прадедушка Яаков, мальчик Номик, ее папа и семь его братьев и сестер. Она рвалась туда, к ним, в этот теплый родной дом, где всегда чисто, вкусно, где в душе у каждого царили мир и любовь.

Огонь. Всегда мешал огонь, огромные, сжирающие все языки пламени. Крики, стоны, плач, разноголосье молитвы, грязная брань, звон битого стекла, треск рушащихся домов, автоматные очереди, ржание коней — все сливалось в яростную какофонию погромов, войн, жестокой бойни. Потом воцарялась оглушительная тишина, и все исчезало в яростной вспышке света, которая есть окоем тьмы.

Так случалось, что безобидные домашние песнопения обычно заканчивались длительным приступом мигрени, Эмма Борисовна долго бывала не в духе, ни с кем не разговаривала, где-то в глубине ее тела, там, где нет никакого описанного анатомическим атласом органа, болело и ныло обожженное воспоминание.

Ни избыть его, ни успокоиться с годами она не смогла, это существовало внутри ее и вне одновременно. Может быть, больше всего именно поэтому она не любила, когда Изя пел еврейские песни. Даже в узком кругу.

Теперь круг еще сузился, и еврейские песни вообще ушли, навсегда. Одна, без Изи, Эмма Борисовна не умела петь, только вторя ему и держа его за руку — иначе боялась, что улетит *туда*, за ними, и не вернется назад.

Хороводы водить она тоже не умела: все вместе — влево, все вместе — вправо...

Ну, хорошо, петь и водить хороводы она не умела, но и просто сказать — давайте все вместе, дорогие мои, — не получалось! Она, если честно, и не знала, как это — все вместе. Энейнем, энейнем.

Кто-то ведь должен быть главным. Так само собой складывалось — что не она. Значит — не завотделением, не завкафедрой, не жена и не глава семьи.

Таким образом, третий пункт был исключен из схемы, без какой бы то ни было корректировки, окончательно.

В итоге получилось то, что получилось. Две автономные ячейки: Э + Э и Э + Э. Строго говоря, ячейка получилась одна, потому что Эстер и Эсфирь к этому времени уже не жили вместе, каждая в кругу своих интересов, но нежно любили друг друга, даже если встречались и общались редко-изредка. Так было всегда. На вопрос: кого ты больше любишь? — Эсфирь, не дослушивая до конца, с раннего детства кричала: маму! А Эстер неизменно отвечала: дочку. С годами ничего не изменилось.

Итак, первая реально существующая ячейка — Эммочка и Элель.

Время шло. Она состарилась. Он повзрослел, рано начал лысеть. Его лысина напоминала ей белую праздничную Изину кипу, шелковую, с золотой вязью древнееврейских слов. Изя почти никогда не надевал ее, только доставал по праздникам, гладил пальцами, повторяя слева направо написанные слова, и губы беззвучно шептали что-то, и лицо делалось торжественным и вдохновенным.

А она ругала его.

— Убери, — говорила, — кипу, Изюня. Не зли Эстер, ты ведь знаешь — она это не любит. Ну зачем тебе, зачем все это нужно?

Ах, как он смотрел на нее — с тоской загнанного в капкан зверя. Ах, как она

казнит себя теперь. Может, у него и сердце из-за этого сдало — из-за необъяснимой тоски, тоненьким плачем долетающей из такой дальней дали, где не живут даже воспоминания, из-за неистребимого страха перед завтрашним днем, не за себя, конечно, а за детей, внуков, правнуков, за их детей, внуков и правнуков, за будущую жизнь. Может, как раз в эти минуты произошли те три инфаркта, которые обнаружили при вскрытии. А она считала, что он куксится от обиды и жалуется на сердце, чтобы полежать в своей комнате в одиночестве, чтобы не ссориться, не выяснять с ней отношения.

Ах, как она его понимает теперь! Впрочем, она и тогда понимала, но считала, что жить надо сегодняшним днем. И пребывала в заблуждении, что ей это удавалось.

Вот только эти полеты в начало прошлого века, к освещенному окну дома на берегу озера, название которого никогда не знала, где все еще живы… Она держала Изюню за руку, крепко держала, чтобы не улететь навсегда, вернуться. Но никогда, никогда не рассказала ему о своих полетах.

После смерти Изюни она нашла в его прикроватной тумбе старую, в потрепанном переплете Тору, с множеством аккуратных закладок из цветных бумажек, Изюня всегда так делал — в любимых настольных книгах. Она знала, что у него есть старая Тора деда, но что он читает ее тайком по ночам, от нее тайком — потрясло ее. Она ведь думала, что знает о нем все, даже больше, чем о себе.

Непоправимое заблуждение. Они могли бы летать вместе, как шагаловские пары, свободные, вольные, счастливые. Боже, какое это было бы счастье.

Непоправимо. Ничего нельзя вернуть назад и переиграть ничего нельзя.

После похорон Эмма Борисовна отдала кипу и Тору Элелю и рассказала ему о своих полетах. У них не должно быть тайн друг от друга.

Жили вдвоем. Она до самой смерти не чувствовала себя одинокой, и никто, кроме него, сладкого мальчика, не был ей нужен. Он был центром ее вселенной, хотя вселенная, если не исключать материальную составляющую, изменилась почти до неузнаваемости.

Это сводило ее с ума, она вообще терпеть не могла переезды, чемоданы, ремонты, перестановки. Не только глобальные, когда все картины переехали в другую комнату и мебель передвинута с места на место и не дай бог, по нынешней моде, стены, но и пустяковые — когда вазы и статуэтки прыгали с места на место, стулья и кресла, менялись люстры, гардины, даже унитаз. Она таки однажды села мимо, не заметив кардинальных перемен в уборной.

У нее голова шла кругом от такой катавасии, поташнивало, и она боялась признаться себе, что теряет необходимую ей внутреннюю уверенность, себя теряет, иногда до такой степени, что не может понять, ее ли это дом, ее ли зубная щетка и тапочки, в чьем кресле сидит и чью книгу читает.

Через три года после смерти Изюни большая четырехкомнатная профессорская квартира на Новослободской улице была обставлена причудливо стильно, в духе испанского модерна начала прошлого века, — дух Гауди витал под четырехметровыми потолками и в кухне, и в комнате, и в холле, даже в уборной, где треугольные зеркала с отколотыми уголками на стенах и потолке, отражаясь друг в друге и множась, создавали нескончаемый ряд неожиданных ракурсов и искаженных повторов — абсолютно неуместное убранство для помещения весьма прозаического назначения.

Ко всему этому приложила руку Эсфирь, кто же еще? Даром что ли в Барселону ездила учиться архитектуре и дизайну.

Эмма Борисовна была сломлена этими преобразованиями окончательно. Ни духа, ни воли не хватало спросить: по какому такому праву Эсфирь эту квартиру выбрала площадкой для воплощения своего первого сумасбродного дизайн-проекта. У нее есть своя жилплощадь, не бездомная, чай.

— Здесь большой объем, воздуха много, стены, потолки, окна — все, что надо, — восторженно вскрикивала Эсфирь, кружась по квартире в каком-то причудливом танце.

Начались преобразования с того, что она вывезла куда-то, никого не спросив,

все дедовы вещи, даже книги, фотоальбомы, которые он собирал всю жизнь, кляссеры с марками, огромную коллекцию морских раковин, обитателей разных морей, о старой мебели уж говорить не стоит — все вынесли ее помощники, а что в дверь не проходило, разобрали на части и свалили в холле, аккуратной поленницей, как дрова для камина.

Только свой бывший кабинет отстояла Эмма Борисовна, буквально отстояла, раскинув руки на пороге комнаты, ноги подкашивались от усталости, но она держалась за филенки двери из последних сил:

— Не пущу, — говорила. — Не дам ничего трогать, это *мой* кабинет.

Эсфирь снисходительно улыбалась:

— Ну зачем тебе кабинет, баба? Ты теперь никто, ты просто Эммочка своего Элеля. Вам и квартира такая большая не нужна. Что вам здесь делать вдвоем? Переезжайте в однушку моего Марика. А я здесь все сделаю по-своему, типа галереи дизайнерских проектов. И буду водить клиентов. А когда разбогатею, баба, куплю тебе домик на Лазурном Берегу или на Канарах. Тебе где больше нравится? — Она расхохоталась до слез, как в детстве, когда первый раз в жизни клоуна в цирке увидела и полезла на арену его целовать.

— Мне нравится в моем доме, — глухо ответила Эмма Борисовна, пересиливая удушье, и почувствовала, что слезы текут по лицу, этого только недоставало.

— Ну что ты плачешь, как маленькая, — зло проговорила Эсфирь, тут же убрала с лица неприятное выражение и пропела: — Бабушка плачет, шарик уле… — Оборвала песню на полуслове, посмотрела на Эмму Борисовну с какой-то испепеляющей жалостью: — Да погоди ты плакать, баба, не время еще.

Ах, паршивка. Эмма Борисовна схватилась обеими руками за грудь, там быстрой морзянкой застучало сердце — точка, тире, точка, тире, удар, провал, удар, провал. Побежали экстрасистолы, сбой ритма, так и до мерцательной аритмии недолго.

— Да ладно, баба, ты что, помирать собралась? Совсем некстати, не до тебя сейчас. Иди в свой кабинет и успокойся. Успокойся, я пока здесь все подготовлю, на это много времени уйдет. А там, глядишь… ничто не вечно под луной.

Ах, паршивка! Не обошлась без своего иносказания. На что намекает? На ее скорую смерть? И бабой называет, знает же, как она это не любит, и что она — никто, не преминула напомнить, и из собственной квартиры предлагает выметаться. Марик! Жених! Да еще неизвестно, кто он и откуда. Да и не жених, а бойфренд, а что это такое — кто знает? Случайный попутчик, скорее всего, да так оно и будет потом много-много раз — и в России, и в Испании, и в Канаде. А Эммочка так разнервничалась, что едва на ногах стоит и дышит с трудом, пересиливая ломоту за грудиной.

— Ну, ладно, парни, берите коробки, понесли весь этот реквизит на свалку истории. Быстренько, быстренько. Ло мир алэ энейнем, энейнем, — пропела Эсфирь вдруг чистейшим голосом, повторяя точь-в-точь Изюнины интонации. — Я правильно пою, Эммочка? — оглянулась и ласково, нежно посмотрела на нее, как когда-то в детстве, совсем еще недавно. Подскочила, чмокнула в обе щеки, подмигнула, смешно моргнув двумя глазами, эту премудрость так и не освоила, и заговорщически шепнула на ухо Эмме Борисовне: — Спокуха, ба, не парься, поздняк метаться. Поздняк!

На каком это языке? Эммочка натерла виски пчелиным бальзамом, брызнула под язык изокет, легла на старый кожаный диван в своем кабинете и попыталась привести в порядок мысли. Получалось плохо, в голове все перемешалось, ее укачало и клонило в сон.

Лучше усну, подумала, вернется Элель, все ему расскажу… Что-то он сегодня задерживается, вдруг обеспокоилась, обычно всегда предупреждает заранее. Странно…

Утром позвонила Эстер из Германии, голос взволнованный:

— Мамуся, ты почему трубку не снимаешь со вчерашнего вечера? Я уже не знала, что подумать.

Как будто она звонит каждый день. Что так приспичило именно вчера, интересно знать?

— Я очень крепко спала, дочь, никак не могла проснуться.

— А Эль где?

В самом деле, где он?

— Сейчас вечер или утро?

— Утро, мамочка, утро, девять часов утра.

— У вас или у нас?

— Да какая разница — и там, и здесь утро. Где Эль?

— На работе. Наверное... — В ее голосе послышалось сомнение.

— Ты как себя чувствуешь?

— Хорошо. Вчера, правда, Эсфирь приходила с дружками, вывезла все папины вещи. И не только папины... После этого я долго не могла уснуть, а потом с трудом проснулась, впрочем, и теперь кажется еще не совсем...

Ее, в самом деле, словно по волнам мотало — вверх, вниз, вверх, вниз. А где это происходит — не вполне ясно.

— Не волнуйся, Эсфирь ничего не выбросила, она не дура, цену вещам знает и что почем и где почем. Не волнуйся. А вот ты мне сегодня не очень нравишься, ма.

— Мать не должна нравиться своим детям, они ее или любят, или не любят. Наипростейшая форма любви из всех возможных.

— Ой, ладно, давай без философии, умоляю. И не обращай внимания на Эсфирь, ты знаешь, она — взбалмошная девчонка, издержки раннего полового созревания. У меня тоже так было, ты просто не заметила, это не попадало в круг твоих интересов. Папуля все знает. Знал.

— Ты хочешь сказать, что в детстве и отрочестве я не уделяла тебе должного внимания, да? — Она ужаснулась жесткой, леденящей официальности своего тона.

— Ну-ну, проехали. — Эстер великодушно сделала вид, что ничего не заметила, только щелкнула зажигалкой и глубоко затянулась.

Зависла долгая пауза.

— Не парься, ма, как говорит Эсфирь. А что вы, в самом деле, собираетесь делать с квартирой?

— С какой квартирой, дочь?

— С нашей.

— Теперь это квартира Элеля. У тебя ведь, кажется, свой дом в Ганновере, разве нет? Мы же все уже решили, дочь, все вместе, не так ли?

— Ой, ладно, ладно, давай не будем размусоливать. И оставь ты это свое еврейское — все вместе...

— Почему еврейское?

Снова пауза, еще одна затяжка. Как много она курит, с ее обструктивным бронхитом это очень опасно, но она и слушать не хочет, отмахивается: никому не позволю посягнуть на главные радости моей жизни — кофе и сигареты. Без комментариев: не позволю!

— Так что вы будете делать с квартирой? — Выдох тяжелый, с всхлипом.

— Ничего не будем делать, дочь. А что?

— А зря.

На этом разговор оборвался. И не возобновлялся месяц-два-три. Как обычно. Они практически не общались, а если и общались, то в такой вот завуалированно извращенной форме. Так определила эти контакты Эмма Борисовна.

Так все и шло — на полунамеках и полувопросах. Через государственные границы европейских стран, потому что и Эсфирь снова уехала в Барселону, то ли замуж вышла, то ли какой-то дизайн-проект прокатывала, как сама говорила. Даже Элеля взяла с собой, ей в помощники нужен был не просто хороший дизайнер — гений.

— Ты, Элияша, не просто гений, — мурлыкала Эсфирь, как котенок, ластясь к нему и одновременно царапая коготками. — Ты — гений-молодец (такая была у них детская прибаутка). Но если я не открою тебя миру, ты так Элелем пролежишь на своем диване, пока пролежни не съедят твое бренное тело, и тогда в закрытом гробу отвезут твои останки в Малаховку, в братскую, то бишь семейную, могилу Брумелей. И за то благодарен будешь судьбе — бабушкины-то все по ярам и оврагам зарыты,

безымянные, или пеплом по миру развеяны. Ну, повторяй за мной три раза: я — гений-молодец. И поплюй, поплюй через левое плечо, а то — мало ли...

Она как всегда остановилась почти на полуслове — все сказала, что хотела. «Чего болтушку болтать в ступе», — сказала, как обычно в таких случаях, и выбросила вверх указательный и средний палец правой руки, изображая латинскую букву V, нисколь не сомневаясь в своей очередной виктории.

Ну кто бы устоял перед таким натиском, скажите на милость? Вот и Элель, еще полчаса назад не собирался ни в какую Барселону, Эммочка голову могла дать на отсечение, а напрасно, потому что, смущенно улыбаясь, будто внезапно свалился в детство, прямо с дивана, на котором привычно справлял свой долгий послеобеденный отдых, он повторил-таки за Эсфирью три раза: я — гений-молодец и, оглянувшись за левое плечо — не стоит ли кто? — осторожно поплевал.

— Мы едем, едем, едем в далекие края... — Эсфирь от радости хлопала в ладоши и скакала на одной ножке, как маленькая девочка. — Ура, Элияша, мы едем!

— Элель, — тихо поправил он.

Эсфирь не обратила на это внимания. Напрасно, ухо надо держать востро.

Что там у них случилось в Барселоне, какой разлад, Эммочка так никогда и не узнала. Но через полгода Элель неожиданно вернулся домой, загорелый, возмужавший, с прекрасным испанским, точнее — каталонским языком. Но потухший, без огонька в глазах.

— Не буду я так жить, Эммочка, это не по мне.

Как — *так*, объяснять не стал, добавил только:

— Хочу жить, как я хочу. И только дома. Хотя дом — это пока ты здесь. А так — мой адрес не дом и не улица...

Он широко развел руки в стороны вверх, привстал на цыпочки, и Эммочка испугалась, что он сейчас взлетит.

Ах, эта наша летучесть, сокрушенно покачала головой, видно в генах заложена. И все норовила ухватить Элеля за рукав рубашки, за брючный пояс или за конец белого шелкового шарфа с непонятным черным вензелем на краю, который теперь постоянно носил на голой шее, что бы ни надевал на себя — дедов парадный пиджак из черного крепа высшего качества или потертую, с заплатами на локтях джинсовую куртку.

Эммочка суетилась, лишь бы удержать его на земле — во что бы то ни стало. А почему, собственно? Зачем?

Элель — вольная птица, стремящаяся в небо. А вот что делать на земле, вступив в третий десяток, еще не решил. Точно знает только, чего *не* хочет. Этого недостаточно, дорогой мой мальчик, думала Эммочка, недостаточно.

Мучительно думала и искала выход, она хотела помочь ему обрести себя. Пора, мой мальчик, пора, ночами напролет мысленно подталкивала она его на путь истинный. На этой почве заработала крутую бессонницу, и вообще в мозгах стали случаться какие-то сбои: путала утро и вечер — то ли легла спать, то ли уже вставать пора; то забывала что-то нужное, сиюминутное, то вспоминала давнишнее, что уже при царе Горохе не имело никакого значения, но бередило душу, порождало тревогу, которая усиливалась от неясности переживания; в лицо узнавала всех, а вспоминая, путала, кто жив, кто умер, и передавала привет тому, кто уже отошел в мир иной.

На нее стали смотреть с состраданием и опаской. Но никто не отваживался поговорить с Элелем.

А он меж тем жил в свое удовольствие. Легко и быстро черкал карандашом или тушью на ватмане, а затем на экране компьютера свои дизайнерские проекты. В Барселоне хорошую школу прошел, клиентов было много, фирма очень дорожила им. Работу и зарплату привозили на дом с курьером, а позже стали присылать помощников по оформлению технической документации, сметы и других сопутствующих материалов. Это было ему скучно.

Все шло хорошо. Эммочка горделиво рассказывала об успехах Элеля всем знакомым, родственникам и в первую конечно же очередь Эстер и Эсфири, которые

благосклонно выслушивали ее, не углубляясь в детали, не задавая ни одного вопроса, но, как только она замолкала, принимались пылко обсуждать кого-нибудь из общих знакомых, мелко, ничтожно, с каким-то нездоровым интересом. Все что угодно занимало их, возбуждало, выводило из себя, все, что угодно, кроме обстоятельств жизни собственного сына и брата.

Эммочке было обидно за Элеля до такой степени, что она пристрастилась к настойке пиона, пила ее три раза в день вместо чая плюс немецкие гомеопатические таблетки, которые посоветовал ей молодой районный психоневролог Григорий Борисович, очень милый и достойный молодой человек, немногим старше Элеля, кстати. Лекарства, правда, на нее не действовали, а тревога за Элеля нарастала.

Эммочка чувствовала, что это его увлечение дизайном временное, у Эсфири заразился, как всегда в детстве, подхватывал за ней все инфекционные заболевания, только она болела легко, без осложнений и рецидивов, а он — в самой тяжелой форме, мучительно, несколько раз на грани жизни и смерти. Она чувствовала, что он на пороге каких-то радикальных перемен. Как оградить его, не знала, посоветоваться было не с кем, а ее отношения с дочерью и внучкой вяло текуще продолжались в той же завуалированно извращенной форме, что и прежде, не выходя за рамки.

Так было, пока не появилась Леля, это исчадие ада, эта распущенная девчонка с сигаретой, как с соской, которую не вынимала изо рта, с челкой, закрывающей глаза, будто отгородить хотела — мир от себя? или себя от мира? В вечных маечках, джинсиках и свитерочках с зверушечьими мордами. С заливчатым смехом, на который невозможно было не отозваться, даже при самом глубочайшем неприятии — мышцы лица невольно расслаблялись и непроизвольно складывались не в гримасу отвращения или озлобления, а в улыбку, достаточно бессмысленную, чтобы быть совершенно естественной.

Эммочка все чаще ловила себя на том, что, внутренне кипя раздражением, она все время улыбается как идиотка, когда Леля рядом.

Леля — а строго по документам Элина Марковна Брументаль — новый помощник Элеля от фирмы. Документы Эмма Борисовна проверила сама, когда их обоих не было дома. И не видит в этом ничего предосудительного — пожилых людей повсеместно призывают к бдительности. Но лучше бы она этого не делала. Элина Марковна Брументаль — кошмар! нарочно не придумаешь! Как в дурном водевиле. Во-первых, еще одна на букву Э (оборотное) — явный перебор, хоть и не член их семьи. По отчеству — тезка Элеля. А фамилия, фамилия! Будто ее с каким-то тайным умыслом намеренно подбирали к его имени и отчеству.

А зачем, спрашивается? В чем умысел? И кто затейник?

Эти никому не адресованные вопросы лишь усилили смятение и тревогу, поселившиеся в Эммочкиной голове в последнее время. Только добавили сумятицы, справиться с которой она не умела.

Правда, представилась Элина Лелей и почти сразу стала называть Эмму Борисовну Эммочкой. Казалось бы — хорошо, Эммочка — ее настоящее имя и другого она не хочет. Но при чем тут чужая девчонка Леля?

Хотя если приглядеться повнимательнее к Элелю, то уже и не чужая. Да и приглядываться особо не нужно. Невооруженный и не очень наблюдательный глаз сразу уловил бы все перемены.

Элель был счастлив, это сквозило во всем — в улыбке, в походке, во взгляде, в перемене, казалось бы, закоренелых привычек. Он больше не лежал целыми днями на диване, тоскливо глядя в небо за окном, помогал Леле мыть посуду, полы, вместе они ходили в магазин за продуктами, вместе выгуливали щенка, которого подарила ему Леля, вместе ездили на дачу к ее троюродной тетке по матери, у которой занимала она семиметровую комнатушку-кладовку с одним оконцем на чердаке, именуемом по нынешней моде мансардой, привозили то яблоки нового урожая, то прошлогодние банки с компотами и вареньями. Иногда там ночевали, несколько раз Леля переночевала на Новослободской.

Эмме Борисовне не понравилось ни то, ни другое. Одной без Элеля ей было

страшно в большой и теперь уже чужой квартире, особенно по ночам, но Лелино ночное присутствие она воспринимала как трижды прямое покушение:

— на их двойственный союз Э + Э, на их слиянность, неотделимость друг от друга,

— на Элеля, которого Эммочка, боже упаси, не считала своей собственностью, боже упаси, но не готова была делить ни с кем,

— на жилплощадь, само собой, только это ее волновало меньше всего.

Разумеется, она все рассказала Эстер и Эсфири, не рассчитывая на сколь-нибудь внятную реакцию. Но, боже, как они взбеленились! Обе, с разных концов света, одна другой не уступая в темпераменте. Сверкали молнии, гремели громы! От Лели мокрого места не оставили. Эммочке даже на какой-то миг стало жалко ее. Но лишь на миг.

Так они заключили тройственный союз: три Э против Лели (ее Э изначально не брали в расчет), и так увлеклись, что об Элеле забыли, вроде он тут ни при чем.

Леля сплотила их против себя.

Ничего хорошего не получилось. Да и не могло получиться. Кто как не Эммочка должен был это знать.

Они прилетели почти одновременно, у обеих появилось свободное время и никаких неотложных дел. Леля оказалась важнее всего.

Ворвались в квартиру как фурии и прямо с порога, одна другую перебивая и отталкивая, так что невозможно было разобрать ни слова, кроме — подожди! подожди!

— Подожди! Замолчи, наконец! Дай мне сказать!

— Почему тебе?

— Я мать.

— Это вовсе не повод.

— Успокойтесь, девочки, сядьте, выпейте чаю с дороги. Успокойтесь!

— Успокойтесь! Чаю! — Ее слова лишь подстегнули их. — Ты совсем не в себе, мать, не зря, видно, все говорят, что умом тронулась. А если она уже зарегистрировалась на нашей жилплощади?!

— А если они уже расписались?! Ей что, жить негде?

Элель прикрывал собой Лелю, она наблюдала за происходящим, почти не дыша. Ужас, ужас, ужас — слышал он у себя за спиной.

— Все разом угомонились, все! На моей жилплощади! — насколько смог, громко и членораздельно произнес он. — На моей!

— Нет, мой дорогой мальчик, на моей, — вставила Эммочка. — Ей что, в самом деле негде жить?

— Да при чем здесь это? Даже если бы у нее был коттедж на Рублевке, она бы жила здесь, со мной, в моем доме.

— В нашем, мой мальчик.

— Ты сказала — в моем.

— Но я еще жива, и постояльцы мне ни к чему.

— Значит, я должен ждать твоей смерти? Выходит так? Все вы одним миром мазаны. Откуда они вообще здесь взялись, с неба упали, в гости примчались не на Новый год, не на день рождения? Это ты им про Лелю наушничаешь, больше некому. Ну, скажи, бабушка, ты?

— Эммочка, — жалобно попросила она.

— Ну уж нет — бабушка, даже баба или баба-яга. Моя Эммочка совсем другая.

— Я, я, я твоя Эммо...

Она побледнела, будто из нее вытекла вся кровь, и, медленно оседая, опустилась на пол, судорожно глотая ртом воздух. Элель бросился к ней, мать курила сигарету за сигаретой и как бы была не здесь, Эсфирь кричала что-то в трубку по-испански.

— Лелик, скорее вызывай «скорую»...

Он оглянулся, ее нигде не было. У него потемнело в глазах от непоправимости случившегося, потом все поглотила яркая вспышка света, которая есть окоем тьмы.

— Леля! Лелечка! Лелик! Не волнуйся, с тобой все в порядке... Это я, Элель, — стоя перед ней на коленях, он целовал ей руки. — Я все-таки счастливый человек, и Господь милостив ко мне, не знаю за что, — бормотал он сквозь слезы... В такой день встретить тебя, Лелик...

— Перестань слюнявить мне руки! В какой такой день ты меня встретил, что за праздник? — Она отодвинулась от него и чуть не упала со скамейки.

— Не праздник, Лелик, никакой не праздник, совсем наоборот... Умерла Эммочка, моя дорогая Эммочка. Без нее мне страшно идти домой, а они из-за этого вулкана три дня прилететь не могли... вот я и бомжую в ожидании... какие-то ребята пили со мной, Эммочку поминали, хорошие ребята, душевные, а потом все куда-то пропали... и мобильник, и кроссовки, и, главное, деньги, а мне завтра надо в клинику ехать к профессору, в морге расплатиться и на кладбище... и что-то еще надо, не помню. Лелик, какое счастье, что я тебя нашел, ты ведь пойдешь со мной, Лелик? Ты не бросишь меня, как тогда, не бросишь?

У нее затрепетали ресницы, губы дрогнули, пытаясь сложиться в улыбку, она коснулась кончиком пальца его носа. Элель! Элель! — будто капли росы звенели на лугу в предутреннем свете. Они крепко обнялись и надолго застыли в такой неловкой позе, как неподвижные живые фигуры в Барселоне, на бульваре Рамбла.

— Пойдем на Новослободскую? Может, они уже прилетели?

— Нет уж, лучше ко мне на чердак в Опалиху.

— Он еще цел? А я дачу в Быкове продал, сначала, чтобы лечить Эммочку, а потом, чтобы положить ее в самую лучшую клинику. Эстер и Эсфирь звали к себе, одна — в Германию, другая — в Канаду, но Эммочка хотела, чтобы тело ее опустили рядом с папой на Малаховском кладбище, а душа ее давно нашла свою дорогу, я рассказывал тебе про дом у озера.

— Я все помню, колокольчик мой, спи.

Утром Элель проснулся раньше Лели, умылся, побрился, надел черный креповый пиджак деда и свои старые джинсы, завалявшиеся в Лелином шкафу. На ней была длинная черная юбка, черный блузон, на голове белый шарф, в руках футляр от скрипки, а лицо — скорбное, заплаканное. Родное. Обнялись и пошли, взявшись за руки.

— Я их боюсь, — шепнула Леля. — Я все же боюсь их.

— Теперь они совсем другие, вот увидишь, я это чувствую. От них тоже ушла Эммочка.

* * *

Эмма Борисовна Брумель сидит на скамейке в парке подмосковной частной клиники для пожилых людей, бывший врач, бывший профессор, бывший дважды зав и единожды глава семьи. Господи, когда это было — утекло, все утекло... Говорят — не бывает бывших врачей и бывших профессоров, только после смерти, но Эммочка ухитрилась разбить этот стереотип.

И пошла еще дальше: на старости лет она уже и не вдова, и не бабушка. Она — Эммочка.

Лицо просветленное, морщин почти нет, спину держит ровно, посадка головы горделивая, руку для поцелуя протягивает легко, привычно, хоть коллеге-профессору, главврачу клиники, где она временно проживает, точно не помнит, как давно, но точно знает, что временно, хоть дежурному санитару, хоть мужу своему Изюне, который каждый день навещает ее.

Он бережно берет ее руку, подносит к губам и нежно целует.

— Я рад видеть тебя, Эммочка, родная, ты такая красавица. И врач говорит, что все идет хорошо, скоро мы поедем домой.

Эммочка улыбается и молчит. Улыбается радостно, светло и тянет его за руку, куда-то увести хочет.

Элель оглядывается на врача и спрашивает озабоченно:

— Она меня понимает, профессор?

— Боюсь, что нет, Элия Маркович.

— Что же делать?

— Ждать естественного исхода. И поддерживать такую комфортную для ее существования форму, как сейчас. Остальное — не в наших силах. И не в ваших, Элия Маркович. Не беспокойтесь, ей сейчас хорошо, ее ничто не тревожит, она в полном ладу с собой и с миром.

Словно в подтверждение этих слов Эммочка привела его в небольшой скверик за больничным моргом к старой заброшенной могиле, заросшей золотыми шарами, георгинами, как палисадник на их даче в Быкове. На покосившемся массивном каменном кресте плохо просматривалась выбитая старым шрифтом надпись. Эммочка, продолжая улыбаться, подвела его поближе и, играя как ребенок, закрыла ладошкой какое-то слово, потом другое и посмотрела на него, будто спрашивая, понял ли он? Он покивал, как мог, убедительно, прощаясь, поцеловал ей руку, она коснулась губами его ранней лысины, нежно и осторожно, как когда-то давно его мягкого темечка. И ушла, неся на губах радужную улыбку — признак полного просветления.

Элель тяжело сглотнул ком, разбухший в горле, и, не понимая, для чего это делает, вернулся к кресту в глубине больничного двора, с трудом прочитал два слова, которые она прикрыла ладошками: «врачъ», «профессоръ». Он догадался — эти слова не надо писать на ее памятнике. Что ж, конечно, он все сделает, как она хочет.

Бедная Эммочка!

Это вторая просьба. Как-то давно, когда ничто не предвещало беду, она вдруг сказала:

— Знаешь, о чем я мечтаю, мой мальчик? Чтобы над моим гробом играла скрипка, и пели песни на идише, можно веселые. Даже хорошо, если веселые. Тогда я обязательно попаду в дом над озером, там за большим столом есть место для меня, рядом с Номиком, так звали в детстве моего папу. А дедушка Мотл и прадедушка Яаков будут читать кадиш и шиву[1] отсидят, а бабушка Хана и прабабушка Мириам разрежут платья и будут плакать по мне. А потом мы устроим большой праздник. И ты к нам придешь, мой мальчик. Если захочешь, с Лелей. Если она захочет, если сумеет простить меня. И мы все будем вместе, энейнем. Энейнем.

Бедная Эммочка! Если бы она видела, как все будет на самом деле. Если бы видела...

Ей понравилось бы, ей-богу. Тепло, солнечно, жужжит мошкара, отчаянно трещат кузнечики, птицы, перебивая друг друга, поют, щебечут каждая о своем. Все живет, ждет близкой осени, грядущих перемен, не конца, а продолжения.

И Эммочка лежит спокойная, кажется, просто прикрыла глаза от солнца, слегка прищурилась, потому что морщин на лице нет, лицо гладкое, помолодевшее, и щеки слегка розовеют, как обычно, когда волнуется.

Малаховское кладбище чистое, уютное, если так можно сказать о кладбище, с широкими дачными просеками, старыми деревьями, с густой травой и яркими цветами вдоль забора, где поле еще живет своей жизнью, немного в стороне от могил с шестиконечными звездами и еврейскими буквами на памятниках — застывшими в камне словами любви и прощания.

Леля, выбрав неприметное место за молоденьким кленом, откуда ее никто не видит, достает скрипку из футляра и тихонько начинает перебирать струны, едва касаясь их смычком. Скрипка стонет, всхлипывает, плачет горестно, протяжно, просветленно, устремляясь ввысь, еще светлее, еще выше, и вот уже сквозь слезы пробивается смех, и пронзительный высокий женский голос поет о чем-то на идише, то плача, то смеясь, одно от другого трудноотличимо, более низкий красивый голос подхватывает слова и мелодию, два голоса поют на одном дыхании. Оборвали песню и, не сговариваясь, запели снова: «Ло мир алэ энейнем, энейнем...» Шепоток пробежал: застольную? над гробом? А они подошли к Эммочке, чтобы ей лучше слышно было, чтобы могла разглядеть их лица — Леля (Элина), Эстер, Эсфирь и Элель, и

[1] Семидневный траур, следующий за похоронами близкого родственника (*иврит*).

допели до конца, не пропустив ни слова: «Давайте все вместе... Ло мир алэ энейнем...»

Энейнем.

Гроб опустили в яму, засыпали сухой землей, напоминавшей песок пустыни, но Эммочка уже была не здесь, она летела по небу. Оглянулась в последний раз, чтобы попрощаться со всеми. Они стояли, обнявшись по двое: снова четыре Э (оборотное).

Одно Э ушло, одно пришло. В узком кругу снова четыре Э.

И все вместе. Энейнем.

Сверху все хорошо видно: на розовой гранитной плите выбито одно слово — ЭММОЧКЕ. У Элеля на голове белая дедова кипа с золотой вязью текста. Леля пытается положить на могильный холм большой букет полевых цветов. Нельзя... нельзя... — зашикали со всех сторон. Шипение неприятно полоснуло слух.

— Все можно, если от сердца, — подумала Эммочка, и, словно услышав ее, Леля бросила букет на могилу, он разлетелся яркими брызгами, напоминая праздничный салют.

Бросив последний взгляд назад, Эммочка удовлетворенно кивнула. У нее все получилось, больше ей бояться нечего.

Отпустила ее земля, и она всех отпустила.

Лоскут из лапсердака,

некогда бывшего гордостью деда Зейлика,
имевшего рослую фигуру, статную выправку,
красиво посаженную крупную голову с крутым лбом
и огромной шапкой густых, мелко вьющихся черных волос,
никакая шляпа не могла скрыть это буйство,
спереди — борода, как жабо на безукоризненно белой рубахе,
сзади — волосы, как воротник добротного пальто,
какового у него сроду не было;
но вид завсегда имел справный,
и ежели тыкали в него пальцем, то лишь с оттенком одобрения,
не без зависти, само собой, так уж водится повсеместно,
ни от нации, ни от вероисповедания, ни от места поселения не зависит —
вон как глядится всегда, в пример поставить не стыдно,
да и приобщиться через него к красоте, благородству
и поклонению законам Божественного правосудия,
уверовать в то, что все они — истинны, справедливы,
а для уверовавшего — желаннее золота и слаще меда,
и соблюдение их — высшая награда;
и пускай сейчас не лапсердак,
а кургузый засаленный кафтан кривобоко сидит
на дальнем отпрыске того Зейлика,
отпрыске, никакими примечательными достоинствами не отмеченном,
звезд с неба не хватающем,
да что там — звезд, заурядным умишком наделенный,
пускай — сейчас ничем не приметный кафтан,
но все же в прошлом — заслуженный лапсердак,
хоть помнили это теперь лишь нити добротного когда-то,
мягкого тонкого черного сукна,
тесно переплетенные друг с другом продольные и поперечные нити,
какими-то неисповедимыми путями связанные с непрочными нитями памяти,
узелками, стянутыми в голове дальнего отпрыска;
стало быть, он что-то помнил...

Востряковское еврейское кладбище. Мойша Фельдман провел здесь всю свою жизнь. Да, да, именно так, тут нет никакой оговорки — жизнь провел на кладбище. А что было до этого — помнит сумеречно, память уже не держит давние подробности, сыплются как зерна из решета, а подставлять жменю, ловить незнамо что, не желает. Паче чаяния гадость какая поймается, на кой ляд она ему.

У него и здесь, на кладбище, не все сладко и гладко было, да и сейчас, на исходе его дней, тоже не шибко весело, в переносном, конечно, смысле, — о веселье на кладбище кто бы стал всерьез разглагольствовать. Да только от этого куда деться — работа есть работа. Принимай все как есть, приноравливайся или беги очертя голову, не оглядывайся, чтоб пятки сверкали и в ушах завывало до самых барабанных перепонок, как плач по покойнику, когда скулы сводит и рот сам собой кривится в скорбной гримасе.

Раньше он и по ночам этот плач слышал, просыпался в испарине, иногда даже переодевал кальсоны, намокшие от страха. И уснуть уж до самого утра не мог. Боялся глаза закрыть, чтобы покойника в гробу не увидеть.

Гробы вообще шли перед ним вереницей, как на конвейере, один за другим, то все розовые, то красные, то черные, то из простых досок, чуть промазанных морилкой или олифой. Кто в гробах лежал, Мойша в прищуре не видел, а гробы — как наяву, даже дефекты ткани не первой обивки, потеки от стирки на скорую руку, следы от гвоздей, выдернутых клещами, и ощерившиеся во след нитки или дерево, жучками траченное, все в мелкую дырочку, как на посылках дальнего следования, чтобы фрукты не портились.

У него тогда глаз острый был — что издали, что вблизи все подробно видел, а для чего ему это, понятия не имел. Да и не любил он думать ни о чем, пусть все катится, как есть, помимо его воли и желания, вокруг столько активистов, рвущихся в бой с кулаками и разинутой пастью, даже на кладбище.

Да, и на кладбище тоже, как ни смешно может показаться. Над раскрытой могилой иногда такой тарарам учиняли, сраму не оберешься. Евреи, да, и евреи тоже. Гроб тянули каждый в свою сторону, рискуя покойника вывалить, по одному флангу — одна мишпуха, по другому — другая. Такое выкаблучивали, точно места более подходящего нет, чем склизкий глинистый край могилы, то есть уже самый последний рубеж.

Чаще, конечно, вели себя пристойно, в горестный час Господь просветлял ум и душу, и скорбели, и морок накатывал не наигранный, всерьез, откачивать приходилось, иногда без помощи медицины не обходилось.

Помнит, как-то случай был — девочка мать хоронила, человек пять взрослых в прощальной свите, а она одна, ну, видно, что совсем одинешенька, мать, уже в забитом гробу, вот-вот в землю ляжет, а у нее на этой земле никогошеньки. Вытянулась, как струночка, дрожит вся, глаза сухие, губы синие, покусанные, почти парит над могилой.

Ребята канаты подсунули, приподняли гроб и в яму почти отвесно грохнули, перебрали с утра, плохо координировались. Уже комковатую глину на крышку побросали все, кто рядом был, уже лопатами замахали, быстро-быстро, чтобы получить магарыч и продолжить свой праздник. Вдруг: Ах! — со всех сторон — Ах! А девчушка уже в могиле лежит, и земля сверху падает, засыпают, спешат. А она — ни звука. А наверху только — Ах! Ах! — кудахчут. И как в столбняке все.

Тут уж Мойша не выдержал, прервал молитву на еврейском языке и на чистом русском кричит махалам:

— Мать вашу! И так... И так... и так!!! Живую девочку закапали, питухи, е...

Отрезвели враз, от него таких слов на чистейшем русском не слыхивали, все передразнивали — картавость, акцент, словечки неправильные, жидовские. И все выспрашивали: «Мойша, Мойша, а как по-вашему, по-жидовскому, будет сказать?..» — и какое ни то свое любимое заковыристое, ядренистое забабахивали. Он с достоинством отвечал всегда одно и то же:

— В нашем языке таких некультурных слов тысячи лет не было и никогда не будет.

Они гоготали как гуси, но во взглядах сквозило любопытство с оттенком недоверия и какого-то невнятного, неосознанного уважения. В такие мгновения Мойшу переполняла гордость за евреев, всех скопом, без различия индивидуальностей.

А тут такой шквал выдал — и все как по писаному. Отрезвели и, как до сознания дошло, со страху в могилу попрыгали, руками девчушку откопали, почти бездыханную, и передавали наверх с предельной осторожностью, будто не только ее жизнь, но и жизнь всех на волоске висела, будто поднимали из ямы на-гора мину, которая в любой момент могла взорваться и уничтожить все вдребезги. Бригадир сам врача вызвал, голос трезвый, как никогда.

Некоторое время после этого чрезвычайного случая Мойша наблюдал, как они маялись тверезые, аж жалость пронимала — глаза безумные туда-сюда шныряют, рожи белые, губы пересохшие, в кровь потрескавшиеся. Но главное — работать не могут. Когда по норме выпившие, они все тик-в-тик делают — и яму тик-в-тик копают, и гроб опускают мягко, как на перину пуховую, и могильный холм, как клумбу в ботаническом саду украшают, залюбуешься. И памятники ухитряются доставить до места без изъяна и членовредительства, хоть в дождь проливной, хоть в жару тропическую, хоть по осеннему первому заморозку с гладкой ледяной коркой наста на кривых и узких кладбищенских дорожках. Падают, поднимаются и снова вперед, к месту назначения, да еще время от времени бутылку по кругу пускают, по глоточку, для освежения сил.

В этом деле, конечно, без несчастных случаев не обходится. Все от бригадира зависит, если он слабину допустил или лишнюю дозу сам принял — быть беде. Мастерство мастерством, а соблюсти, как говорится, плепорцию между косоглазием и трезвостью ума и мышц тела — первостепенная задача. Иначе — каюк.

Уж это Мойша хорошо знает. Видел не раз, не два.

А один случай всю жизнь ему перевернул.

Только все по порядку надо. С начала начал.

На Востряковское кладбище он попал по случаю. Счастливому, нет ли — теперь рассуждать попусту. Все уже прошло, совсем немного осталось, как-нибудь доскрипит до конца дороги, до последнего шлагбаума его телега, все четыре колеса. А что такое счастье-несчастье, мазл[1] -размазл, он по скудости ума своего так и не разобрался.

Смерть, кладбище, похороны, гроб, сырая земля (на Востряковском кладбище всегда сырая) — это он из своих умопостроений сразу же исключил. Смерть — не счастье, не несчастье, она неизбежность, с одной стороны, а с другой, если попроще, — благодатная составная часть жизни, даром что ль вокруг нее столько народу кормится. Взять в расчет только морги, кладбища и крематории — ой-ой-ой, мама дорогая! Извините за бестактность: чтоб вы так жили, как говорят в благословенном городе Одесса, откуда, кстати, родом и его незабвенный дед Зейлик, кантор, цадик[2], красавец, мудрец. Все это в одном лице? — может спросить особо недоверчивый, изъязвленный скепсисом до самой печенки некто. Да, в одном, но только не все, еще много-много всяких добродетелей и достоинств нес в себе знаменитый дедушка Зейлик, нес один за всех.

Чего не скажешь про трех его сыновей — папашу Рафаэля, дядюшек Мануэля и Исраэля. Имена — да, красивые, дед постарался, можно сказать, божественные имена сыновьям дал. И покровительство Божественное сопутствовало им. Петляли они по смертельным дорогам ужасного века, который, слава Всевышнему, закончился, как и положено, в срок, потому что временем еще пока никто не научился управлять, даже за очень большие бабки, даже «зеленые», как говорят по-современному. Закончился век, унеся в смерть миллионы людей, рожденных для жизни, некоторых даже еще не вылупившихся на свет, прости, Господи, на все Твоя воля.

Все три сына Зейлика, израненные, искореженные душой и телом, дожили до старости и умерли в своих постелях каждый от своего недуга. Но гордиться ими

[1] Счастье (*идиш*).

[2] Святой (*идиш*).

дедушка Зейлик не мог, несмотря на все их героические поступки на войне с фашистами и в мирной жизни, что иногда похлеще закручивала узлы и петли, несмотря на неуклонное противостояние злу любыми доступными средствами и отменную жизнестойкость.

Не мог гордиться Зейлик своими сыновьями, и душа обливалась кровью. Не мог по одной только причине, которая была для него важнее самого важного — от веры праотцев отреклись все трое. Не публично, нет, без деклараций, демонстраций и флагов, без объявления своего волеизъявления — такие тоже были, и немало, Бог им судья. Ничего подобного, Боже упаси, сыновья его себе не позволили, все свершилось буднично, без затей — просто перестали быть евреями. Субботу и праздники не соблюдали, в синагогу не ходили, сыновей не обрезали, женились на гойках, Тору не читали еще при жизни дедушки Зейлика, что, скорее всего, и укоротило его земной путь. На себя взял вину за них перед Всевышним и ушел от стыда подальше.

А незадолго до смерти сказал Мойше:

— Уезжай из Одессы, внук, в Москву отправляйся к племяннику моему Йосе Фельдману, он на еврейском кладбище молитвы читает по усопшим. Святой человек, сиротам помогает и дает им еврейское воспитание по силам своим. Он и тебе поможет. Как там что сложится, Бог ведает, но жить будешь среди евреев. Сделай, как я сказал, Мойшеле, и помянешь меня в молитвах своих.

Мойша покривил бы душой, сказав, что благословлял деда в молитвах всю жизнь.

Во-первых, он не молился, как положено еврею, каждый день, изо дня в день. Только на кладбище, по долгу службы, и здесь не ходил в отличниках. А так, сам с собою он деда почти не поминал — не хвалил, не хулил, в той другой, далекой жизни оставил, вместе с другими живыми и мертвыми, не взял с собой — не было места для деда Зейлика рядом с ним. Во-вторых, если от души, — особо не за что было Мойше благословлять деда Зейлика. Не мечтал он провести все дни свои на кладбище, не покойником, правда, но в такой непосредственной близости, что иногда и сам отличить не мог — уже помер или еще жив. Дед подтолкнул его, тоже, может, не ведая, чем обернется последний его завет.

Так ли, иначе ли, по обыкновению своему ни о чем не думая, Мойша с легкостью выполнил дедов наказ — покинул отчий дом, Одессу, никто его не удерживал, только мать причитала, как будто он помер в расцвете молодых сил, — на кого ты меня покидаешь, сынок, Мойшеле, утешение мое, счастье мое.

Опять этот мазл-размазл.

Какое счастье матери от него — одни хлопоты и осложнения: нельзя сказать, что он не хотел учиться, нет, нельзя. Но как-то все не складывалось — в одной школе его учитель невзлюбил, как-то люто, без послаблений, вцепился, как рак клешнями, и не выпускал. Мойша даже заболел на нервной почве какой-то лихорадкой. Перевели в другую школу, а там ребятня против него ополчилась — он тюфяк тюфяком, беззлобный, безобидный, а ко двору опять не пришелся.

Отец утешал:

— Да не дрейфь, сынок, и у меня так было, все рассосалось, ни на кого обиды не держу. Меня взашей гнали и из еврейской школы, и из русской: отец Василий Кокошин, учитель закона Божьего, за непослушание, дурной голос и отсутствие слуха, еврейский учитель — меламед Исроель Бен-Лейб, к которому водил меня дед Зейлик, — за неусидчивость, шкодливость и неспособность выучить хоть одну молитву, хоть Изкор, хоть Кадиш. А я и старался даже, чтобы отец похвалил хоть перед смертью, чтобы Кадиш самому спеть над его гробом. Ну, никак не получалось, хоть бы я лопнул от надрыва, не получалось и все тут — причудливые еврейские буквы, справа налево сползающие со страницы, никак не шли на ум, разрази меня гром, ну не шли. А как спеть молитву, коли ни одной буквы не знаешь, — вытьем и слезами? Каким фалалеем такое исполнение востребовано будет? Поди, сыщи такого.

Позже отец никогда не вспоминал эти еврейские штучки — ни меламеда, ни молитвы, которые мечтал выучить и спеть над гробом отца своего, ни затейливые буквы, ползущие справа налево. Однажды Мойша напомнил, хотел сказать, что по-

старается за него, за отца своего, и будет у них в доме после деда Зейлика один мужчина, который все еврейские премудрости усвоит.

Никогда так не злился на него отец, чуть не выпорол кожаным с большой тяжелой бляхой ремнем, мать спасла.

— Что за фантазерство? — кричал в ярости. — Кто тебя науськивает на эти глупости, если дед, отрекусь! Или тебя отлучу от дома. Пошел вон, чтоб я тебя не видел!

— Ну что, что ты такое говоришь, папуся?! — переходя от увещевания к истерике, повторяла мать.

И было как всегда — ее истерика привела отца в чувство, он обнимал, целовал ее, гладил по голове, расплетал и заплетал ее длинные черные косы, оба постепенно успокаивались, и в доме водворялся мир. Так заканчивались все ссоры. Он был сторонним наблюдателем, о нем не вспоминали, не искали его, не беспокоились.

— Уезжай из Одессы, внук, — последний наказ деда.

— Пошел вон! — последняя ссора с отцом.

Больше они не виделись.

Оба наказа Мойша исполнил.

Он ушел из дома сразу после войны, когда все, кому суждено было, назад вернулись. Ушел, не дождавшись смерти деда Зейлика. И пели ему Кадиш или не пели, до сих пор не знает.

Потому и не любит Мойша ворошить прошлое — кто старое помянет, тому известно, что будет. А у них на кладбище среди «певчих» один одноглазый с черной кривой повязкой наперекосяк — через лоб и глаз за ухо — давным-давно объявился и застрял надолго, больше не требовалось. Мойши в те времена и на дальних подступах не было, он тогда о Москве одно только знал, из всенародно любимой песни — «дорогая моя столица, золотая моя Москва...».

Словом, выполнил Мойша дедов наказ — приехал в Москву к святому человеку двоюродному дяде Йосе Фельдману. Погрешит против истины, если скажет, что родственник очень ему обрадовался, нисколько даже, скорей — совсем наоборот.

— Свалился на мою больную голову, — вскрикнул он, три раза обойдя вокруг Мойши, будто убедиться хотел, что тот и в самом деле явился, как говорится, не запылился. Удостоверившись, произнес странным тоном, глядя в дальний угол комнаты, завешенный кружевами паутины: — Зай гезунд[1] досточтимому цадику Зейлику из Бердичева, — и, обернувшись к Мойше, переминающемуся с ноги на ногу на пороге, вопросил: — Во здравии ли он?

— Из Одессы, — прежде чем ответить на вопрос, уточнил Мойша и, как мог скорбно, сказал: — Должно, помер уже и пребывает в раю, под сенью крыл Божиих.

Йося тоже горестно склонил голову, неслышно побормотал что-то губами, потом вслух:

— Да упокоится его душа с миром до пришествия Мессии, амен. — И без всякого перехода: — Это помер он в Одессе, а миру сему явился в Бердичеве. — И снова без перехода: — Война треклятая, благодаря Всевышнему и Генералиссимусу нашему товарищу Сталину закончилась. — Взглянул в окно, а там: кресты, кресты, деревянные, каменные, и могильные плиты с шестиконечными звездами, прямые, как солдаты в парадном строю, и кривые, покосившиеся, до земли склоненные, будто с трудом удерживают непосильную ношу. — Мы Москву не сдали, и Берлин пал к нашим ногам. Великая победа. А мы тут за всех, кто воевал, ковал победу на фронтах и в тылу нашей родины, молились и днем, и ночью, и отдельно — за евреев, сородственников наших, чтобы спастись им от беспощадного пламени гидры фашизма. Не помогла молитва, ох! не помогла. Миллионы погибли. Миллионы! Плохо молились, выходит?

Он посмотрел на Мойшу глазами, полными слез, и отвернулся.

— Входи в дом, коль приехал, в ногах нет правды. А где она есть? — спросил

---

[1] Пожелание здоровья (*идиш*).

строго и, не дожидаясь ответа, ушел за фанерную перегородку, делившую комнату на два узких пенала.

Мойша остался один в нежилом, как показалось, помещении, всей обстановки — два стула, матрас на деревянных ножках, покрытый иссиня-белым покрывалом, да пустая этажерка с кружевными салфетками на полках, одна только верхняя полка не была ничем накрыта, на ней лежала большая толстая книга в черном переплете. Мойша ее сразу узнал — у деда Зейлика была точно такая Тора, только со множеством закладок.

Так началась его московская жизнь, сначала нелегальная, под крылом у Йоси, потом уж самостоятельная, с пропиской, крохотной комнатенкой в деревянном бараке с бездетной женой Анютой, здесь же, на кладбище, справляющей работу свою по уборке могил по просьбе родственников усопших. В брак Мойша вступил с благословения Йоси. После долгого размышления, углубленного чтения молитв и почти недельного поста молчания Йося сказал:

— Женись, Мойша, на Анюте. Симпатия меж вами есть, вижу. Она женщина справная, видная, старше тебя, да и то во благо тебе, как мать станет лелеять тебя, а что детей не будет у вас, тоже Господь ниспослал — еврейских детей еврейская мать родить должна. А так все хорошо у вас сладится, и в жировку тебя впишут, что немаловажно, — станешь жить как заправский москвич. Короче не скажешь — мазл тов, хоть свадьбу настоящую играть не будем. Да и не время сейчас — всенародное горе еще не утихло, и в каждом отдельном сердце его позывные звучат. Мазл тов[1], мазл тов, мазл тов — как три раза через плечо плюнул, чтоб не сглазить.

И снова — мазл-размазл.

И женился Мойша на Анюте, в загсе расписались в присутствии двух почти случайных свидетелей — одноглазого «певчего» и ее товарки по уборке могил, оба в этот день выходные были. Женились, и все у них по-людски было, ладно да складно. Дома, в комнатенке барачной, только ели и спали на одном жестком кривоногом топчане — особо не разгуляешься, да видно и страсти такой, от которой знобит-лихорадит до обморока, про меж них не было. Спали в обнимку, Анюта его сзади руками и ногами обхватит — ему тепло, уютно, покойно, вроде и просыпаться ни к чему.

А приходилось все же.

Днем тоже рядышком время коротали в ожидании приработка, друг против дружки. Она с товарками по одну сторону аллеи на табуретках сидела, все с метлами, ведрами, тряпками. Летом маялись на жаре, сальные, томные, потом обмывались — жарища такая, ох, невмоготу! Юбки задерут повыше, и бесстыжие толстые колени видны у всех как на подбор — толстые, будто их по этому признаку на работу нанимают, прости Господи.

Мойша с «певчими» размещался как раз напротив, по другую сторону, поближе к входу. Иерархия все же — в начале молитва Божия, потом уж — тряпки и метлы в ход. «Певчие» старались перехватить клиентов. Обычно стояли, чтобы приметнее быть. Все как один в шляпах, даже когда бабы от жары парятся, многие в белых, не первой белизны шарфах. Единой формы одежды, конечно, не было. Одевались по сезону — кто в пальто, кто в плаще, кто в старом макинтоше, и шляпа — у кого соломенная, у кого парусиновая, больше похожая на панаму, у кого вельветовая, только у Йоси — черная велюровая, добротная, поля красиво отогнуты, форму изящно держит, да у Мойши такая же, правда, сразу видно — старая, ношеная, Йося подарил от щедрот.

В общем — все вразнобой. Да ведь и не бригада, не артель, индивидуальные предприниматели, как сейчас сказали бы. Конечно, договоренности какие-то про меж ними существовали, и конкуренция была налицо — а как же. В любом деле так: один одно лучше умеет, другой в другом преуспевает. Мастер и подмастерье, специалист наивысшего разряда и подручный, солист и хорист.

Не одно и то же, конечно. Но и в их деле много разных тонкостей есть, не стоит вдаваться в подробности. Только факт остается фактом, причем неоспоримым, —

[1] Пожелание счастья (*идиш*).

первым по всеобщему признанию был Йося. И свои за бригадира считали, и клиенты все хотели его. Ничего не скажешь наперекор — молитвы Йося пел как Бог. И ростом был выше всех, и лицо красивое, белое, без бороды, нежное и гладкое, как у юноши, волосы локонами струились по плечам, осанка гордая, и взгляд блуждал поверх голов, не смотрел заискивающе, как бы умоляя — возьми меня!

Он знал, что возьмут его, и позволял себе выбирать. Иногда головой покачает — нет, мол, нет — и подзовет пальцем кого-то из «певчих». Бесполезно выяснять, почему «нет» и почему того, а не другого взамен себя послал — тоже бесполезно. Разумеется, Йося зарабатывал больше всех и ни с кем никогда не делился. Это не входило в распорядок их отношений. Да и с какой бы стати.

А вот нищим подавал. Их в те времена от железнодорожной станции Вострякова до кладбищенских ворот стояло несметное количество — старых, больных, молодых, калек, юродивых, малых. Вот этим больше всего и подавал. И кормил, и азбуке учил, и еврейской, и русской, и еврейские молитвы петь. А они за ним хвостом ходили, в рот заглядывали, кто шляпу нес, когда жара донимала Йосю, кто посох с острым металлическим наконечником, о который он опирался, когда стоял на скользком краю могилы, кто Йосин сидур[1] — это уж наивысшее счастье, мазл.

Мазл-размазл.

Все проходит, завершая свой круг на этой земле.

Пришел и Йосин час сойти в могилу, преждевременно, глупо и грубо, — кто-то ударил бутылкой по голове. Он как раз без шляпы шел, в хорошем расположении духа — три церемонии подряд провел по самому высокому разряду, и деньги хорошие заработал, и наивысшей точки слияния с Божественной силой достиг, когда голос, повинуясь ему, взлетает в непостижимую высь, и душа устремляется следом, и он стоит на земле, маленький, безголосый, опустошенный, на краю раскрытой могилы, готовый лечь на дно и умереть от счастья.

А умер от чужой злодейской руки и, что самое обидное, — без всякого смысла, потому что даже деньги из кармана не вытащили. Просто раззудилась чья-то пьяная рука и попала Йосе в голову. Чужак, видно, свой бы на Йосю не замахнулся — окрест кладбища его все знали.

Да что толку рассуждать — вот он лежит в гробу, и все «певчие» хором провожают его в последний путь, и орава приблудных мальчишек подпевает им не в лад незрелыми своими голосами, и все кладбищенские здесь, и не евреи тоже, бабы крестятся, плачут и осеняют покойника, мужики не крестятся, а как вести себя не знают, потому тупо смотрят себе под ноги, мнутся, ожидая конца без особого вдохновения, знают — поминок не будет. У евреев это не принято.

Все же в этот раз нарушили порядок — в складчину. Ни жены, ни детей, ни родственников у Йоси не было, бабы в конторе столы накрыли с водкой и закуской, честь по чести проводили великого «певчего» еврейского кладбища. Пусть земля ему будет пухом — пожелали православные. Да упокоится его душа с миром до пришествия Мессии — напутствовали евреи.

Ушел навсегда первый, и все пошло наперекосяк, никакой слаженности, никакой очередности, не стояли теперь, а сидели на табуретах, как бабы с тряпками и ведрами, только что в шляпах и по-прежнему ближе к входу. На каждого посетителя налетали стайкой: «Молитва нужна?» — выкрикивали на разные голоса, кто настырно, кто заискивающе, кто вяло, будто не по своей воле. Один за рукав дергал, другой за локоток тянул — в противоположные стороны, третий безучастно стоял сбоку припека — авось обломится. Все реже и реже соглашались клиенты, долго еще озирались, спрашивали — где Йося? Понятно, не все сразу о его смерти узнали, все же происшествие было местного масштаба.

«Певчие» разбредались по кладбищу. Кто так и уходил ни с чем, а кое-кто брал клиентов измором: постоит, постоит поодаль, а потом тихо подкрадется поближе и, не спрашивая согласия родных, заведет поминальную молитву, имена усопших с

[1] Молитвенник (*идиш*).

могильного камня считывает. Закончив, также поодаль стоит в нужном месте, пока кто-нибудь из родственников, наткнувшись на него, не сунет «певчему» деньги в руку или в карман как подаяние, от неловкости глядя в сторону.

Нет, не так благодарят за молитву, не так, это не милостыня, не подачка, чтоб отвязаться поскорее, а добровольное пожертвование — цдака.

Мойша переживал смерть Йоси. Все же он был единственным кровным родственником в огромной чужой Москве, все же Йося принял его и на путь истинный наставил. Но — Господь всемогущ, ему виднее, где и кому в данный момент надлежит быть. Он как командир, который разводит солдат по постам и выбирает, кого куда определить, — этот самый смелый, этот самый гордый, слабее этого не сыскать, ничтожен, мелок и убог, а этот все подвиги совершил, мастерство и силу свои миру явил, награды все получил — кроме смерти, что можно к этому добавить?

Может, Он *так* рассуждает.

Этого, конечно, Мойша не знал и никогда не узнает. Да и не нужно ему это знание. И если быть до конца честным, не ожидал он никаких перемен в своей жизни, как-то связанных с уходом Йоси. Среди «певчих» он всегда был последним после последнего. Это было его постоянное место.

Если бы у них было штатное расписание, его должность так бы и называлась — певчий, последний после последнего. И он с этим смирился, и Анюта тоже, она все же его любила за что-то, может, просто за то, что он был у нее, что ночью могла поджать его под себя, как дитя, согреть дыханием и согреться теплом живого тела. Среди покойников на этом чертовом кладбище — не так уж мало, а? А еще — не пил, не бил, не заглядывал под юбки чужим бабам, даже если юбки задраны выше некуда.

— Хороший мужик Моймойша, несмотря что еврей, — раздумчиво говорила она бабам, любила похвастаться своим Моймойшей, следом за ней его все так звать стали — Моймойша.

Добавить ей, правда, было нечего — просто «хороший мужик» Моймойша, некрасноречива была Анюта, только улыбалась так загадочно светло, что бабы изводились разгадкой — что в Моймойше такого особенного. Молитвы поет хуже всех, последний после последнего, причем последний меняется, а Моймойша всегда на своем месте остается. Кафтанчик кургузый носит, каких ни у кого нет, Анюта его латает, штопает, перешивает, перелицовывает туда-сюда-обратно. Только этот кафтанчик Моймойша и надевает в любое время года и в праздничные дни тоже, с гордостью сообщая — дед Зейлик подарил, кантор, цадик, красавец и мудрец из Одессы.

Так гордился, как будто дед Зейлик был король великого королевства, а он наследный принц. Всех смешила эта история как хороший анекдот, но все же к кафтану Моймойшиному, который он называл «лапсердак», испытывали некоторое безотчетное уважение, как может быть еще к Йосиной трости, которая, кстати, тоже по наследству Моймойше досталась, других родственников у Йоси, как известно, не было.

Таким везунчиком оказался Моймойша: через дедов лапсердак и в особенности через Йосину трость ему удалось приблизиться к первому из первых — к Йосе.

Тем более — отряд «певчих» стал таять прямо на глазах: умирали один за другим, будто по ошибке не в ту очередь встали, а отойти уже нельзя — задние поджимают. Кое-кто, правда, другим путем ушел — по старости и нездоровью на государственное пенсионное обеспечение, что не сулило ничего хорошего в будущем, да и в настоящем тоже.

«Лучше сразу в гроб!» — еще не оторвавшись от привычной терминологии, грозили кому-то там, наверху, но выше местного кладбищенского начальства и невнятно обозначенных правительственных сфер угроза не поднималась. Нет! Даже в самом воспаленном мозгу. И к непосредственному ее исполнению никто оказался не готов. Лучше сразу в гроб — так, для красного словца, понятное дело, да здесь, на кладбище, — что еще могло взбрести в голову.

Итак, отряд растаял в тумане прошлого, маячили еще кое-где по кладбищу

одиночные шляпы и белые шарфы, стояли в ряд допотопные, с облупившейся краской табуреты, на которых чаще всего никто не сидел. Только Моймойша.

Так день за днем сочилась жизнь, истекая секундами, как каплями слез. И ничто не предвещало кардинальных перемен, да и откуда им взяться на кладбище.

И все же смерть Йоси изменила на долгие годы устоявшийся порядок вещей и некоторым образом подкорректировала Моймойшин статус, если уместно так выразиться в этой ситуации. То есть получилось так, что из последнего после последнего он сделался последним «певчим» Востряковского кладбища. Но заметьте немаловажное обстоятельство — никогда, ни единого раза, ни при людях, ни наедине с Анютой, ни сам себе, даже мысленно, не сказал Моймойша: я теперь — первый.

Не Божьего гнева боялся, не насмешек со стороны, просто знал свое место. И не чувствовал себя униженным, он свое дело любил, а что Господь талантом не наградил, так, наверное, не заслужил награду, хоть очень старался. Видит Бог, подумал про себя Моймойша в подтверждение своих раздумий, но тут же усомнился — чем он, вообще говоря, заслужил такое особое внимание Всевышнего, Тот его, скорее, вовсе не заметил: в кургузом лапсердаке и черной шляпе на старом табурете — не велика персона.

А все же именно здесь, на кладбище, случай перевернул его жизнь, когда уже самый отчаянный оптимист не ждал бы перемен.

Если б можно было до этого случая взвесить составляющие его жизни на весах, чаши качались бы вровень, одна против другой — ни хорошо, ни плохо. И то ладно, бывает — хуже некуда, не приведи Господь, насмотрелся.

Случай перевернул его жизнь. Только одной Йосиной смерти оказалось мало. Еще другая добавилась, через годы от первой, как гирька, что перетянула чашу «хорошо». Не было в том его соучастия, за него распорядилась судьба, без предварительных замыслов и подготовительных процедур. Ну что тут рассусоливать — сам по себе Моймойша никаких решений не принимал.

Вот как все было.

Он по обыкновению сидел на своем табурете, когда до него донеслась трагическая весть с сорок третьего участка у самого забора, возле кольцевой дороги, где раньше был вход на кладбище. При переноске тяжелой гранитной глыбы, красиво оформленной в виде шестиконечной звезды, снизу с подбоем серебристой «шубы» из необработанного гранита, придавило насмерть нового бригадира Алексея Боженко, молодого мужчину, крупного, рыжеволосого, белозубого и, что примечательно, — не пьющего, во всяком случае, по здешним меркам.

Зато бригада была отчаянная, самая забулдыжная и бузотерная — так решил смотритель, чтобы проверить, таких ли уж крепких силенок, как выставляется, новый бригадир, свояк его, муж сестры Наталки. Поперек горла у него стоит этот герой, бывший афганец, бывший командир БТР, бывший строитель — уж больно положительный, с какой стороны ни зайди.

Только слегка свихнутый башкой после Афгана — все про смерти да гробы цинковые по ночам кричит, Наталку беременную пугает и в мирной жизни места себе не находит, все здесь не так без гробов и покойников. Он и взял его на кладбище по Наталкиной просьбе, и парень сразу успокоился, как будто ни о чем другом никогда не мечтал. Трезвый, со всеми вежливый, на все руки мастер.

Ну прямо святой, хоть в оклад сразу обрамляй да в красный угол вешай. «Тьфу ты, пропасть какая-то, — сплюнул в сердцах смотритель, когда фотографию свояка в траурной рамке увидел. — И впрямь святой, ни дать ни взять. Черт меня дернул...» — недодумал крамольную мысль.

И без того тошно.

Сеструха Наталка, молодая вдова бригадира, — на сносях, уже даже день-другой перехаживает расчетный срок, едва стоит, ноги подкашиваются, все падает и падает, коленки глиной перемазала, как девчонка, живот руками поддерживает, а он такой огромный — необъятный. Слыхал как-то, бабы посмеивались: Наталка, гляди-ко, тройню родишь, не меньше. Теперь вся тройня осиротела, а рядом маленький херувим рыжеволосый таращит на него глазищи синие, точно спросить хочет:

— Ты зачем нашего папку убил?

Смотритель зашатался, едва не упал, перебрал перед захоронением для храбрости духа, как-то не по себе было. А тут еще последний «певчий» объявился в кургузом своем лапсердаке и черной шляпе. Этот-то при чем? Тут ихних кадишей не надо, тут поп все споет и скажет, что положено, он с ним сам договорился и свои деньги заплатил. Потом почти сразу одумался — с какого такого ляду, да уж проехали, двери закрываются.

Наталка снова упала и вроде отключилась, не причитает, не дергается, лежит ничком, а живот огромной глыбой сверху давит, как камень тот шестиконечный на спине у бригадира. «Будь ты неладна», — снова сплюнул смотритель и грязно выругался не пойми на кого.

Бабы засуетились над Наталкой, забегали, в нос флакон с нашатырем тычут, виски растирают, зачем-то живот поддерживают, будто и впрямь он ее раздавить может. Распричитались так, что перепуганные вороны с веток сорвались стаей и с диким криком прочь понеслись. И ветер следом листья понес, закружились в воздухе, облаком серым свернулись, шелестят — ш-ш-ш! ш-ш-ш!!! Будто успокоить хотят, только не слышно ничего, кроме этого монотонного «ш-ш-ш!»

Все, хватит, насмотрелся он этих спектаклей — и таких, и разэтаких. Смотритель круто развернулся, поскользнулся и упал лицом вниз, глаза, нос и рот залепило глиной, пока голову поднять сумел, чуть не задохнулся, и кольнуло, будто острый кинжал в затылок вонзили: а ему каково было? Ты ж сам сказал этим олухам — придавит в случае чего, сразу не вытаскивайте, повремените чуток, пусть обделается от страха. После посмеемся, выпьем за счастливое спасение, за взаимовыручку, так спесь с него и собьем.

Перестарались, козлы недоношенные, сбили спесь — навсегда. А может, никакой спеси не было, просто гордый мужик был и цену себе знал, а он ему люто завидовал, как только в родственниках объявился, потому что все ему в нос тыкали, в пример ставили, норовили попрекнуть и унизить — не тебе, мол, чета, настоящий мужчина.

Смотритель с трудом поднялся и такую боль в спине почувствовал, что застонал, стиснув зубы, будто это ему, а не бригадиру каменной глыбой хребет переломило. Так громко застонал, что на него оглядываться стали. Допил до дна водку, что прятал во внутреннем кармане пиджака, надетого по случаю церемонии захоронения, доплелся, не помнит как, до конторы и свалился в глубокий затяжной запой.

Вообще эта история долго еще аукалась по кладбищу — от памятника к памятнику, от березы к березе, от уха к уху.

Смотритель из запоя сразу в больницу угодил с инфарктом, а после — на пенсию по инвалидности, хоть и временную, но в его возрасте постыдную. В больнице как в бреду все твердил, что глина глаза, нос и рот забила, и задыхался нешуточно, по-настоящему, психиатра вызвали, чтобы прояснить картину. Психиатр брезгливо поморщился и, не глядя на больного, записал — делирий. Не случись инфаркт его бы так и так в больницу уложили, только другого профиля — для психических. Алкоголики живучи, однако, оклемался смотритель, в конце концов, и инвалидность с него сняли, но на кладбище не вернулся, хоть и тепленькое было местечко, по всем параметрам — тепленькое.

Может, совесть загрызла, а? Кто на этот вопрос ответит?

Так ли, нет ли — исчез старый смотритель, и вскорости о нем позабыли или сделали вид — все же воспоминание не из приятных.

Ну, свято место пусто не бывает. Явился новый смотритель, новые порядки завел, пить при исполнении служебных обязанностей категорически запрещал с далеко идущими выводами — как по административной линии, так и по материальному фактору. На выговоры, предупреждения и прочие санкции плевали, конечно, с высокой башни, а вот рубли терять охотников не находилось. Так и протрезвели понемногу, а кто уж совсем не справился с поставленной задачей, пенять мог только на самого себя, никакой круговой поруки — каждый спасался как мог, в одиночку. В одиночку оно и легче оказалось.

Так что по части пьянства атмосфера на кладбище изменилась в нужную сторону, хоть в это трудно поверить. Еще эстетики прибавилось — одели весь штатный обслуживающий персонал в униформу, так что их теперь издалека можно было узнать и по походке определить самочувствие, что имело немаловажное значение.

Вот какая картина складывается, если вкратце обрисовать общие перемены, не вдаваясь в ненужные подробности.

А так что — покойников надо было хоронить. Это отменить не мог никто.

У Моймойши между тем возникли свои новые обстоятельства. Даже больше, чем обстоятельства: у него объявился нежданный напарник — маленький рыжий херувим с синими глазами по имени Серафим, старший сын погибшего бригадира.

Сам себе старший, потому что младшие братья, все трое, уснули навечно в большом Наталкином животе, не пережили смерть отца, как и сама Наталка. Вроде бы живая, а вроде бы и нет ее, бродит по кладбищу, рвет дикие цветы, ничьи, все руки крапивой обожжены, но с чужих могил никогда не берет — ни-ни! Рвет и носит на могилу мужа. Стоит, обняв руками свой пустой живот, и что-то бормочет, по губам видно — шевелятся.

Серафим много раз подходил к ней, дергал сзади за платье, за руку брал — пойдем, мамочка, пойдем, просил. Она не сразу замечала его, а заметив, гнала — иди, мальчик, иди, не хорошо на чужое горе пялиться, мал еще, нечего по кладбищу гулять, иди себе, живи. Как бы и разумно, если не принимать во внимание, что родного сына называет мальчиком и иди, говорит, иди себе, живи. А где, с кем, как?

Серафим пришел к Моймойше. Сам его выбрал, Бог привел — знать не дано. Пришел. Притулился возле правой ноги, рыжую голову под мышку Моймойше просунул, смотрит в упор своими синими глазищами и молчит, подперев кулачком щеку. И Моймойша молчит, не понимает своей функции, а подсказку спросить не у кого. Йося бы помог, да где он теперь, в каких кущах кружит-блуждает, об этом и думать не стоит, голову себе надрывать.

Она и без того раскалывается буквально на кусочки под этим взглядом — наивным, вопрошающим, строгим.

Анюта подсобить Моймойше решила, подошла поближе, спросила:

— Кушать будете?

— Еврейское? — неожиданно спросил ребенок.

— Нет, — смешалась Анюта. — Картошка со шкварками.

— Шкварки — это еврейское.

— Не будешь, значит? — огорченно переспросила Анюта.

— Буду, буду, я их люблю.

Он впервые улыбнулся, широко, радостно, по-детски.

Ел с аппетитом, не жадно, как изголодавшийся бродяжка, а степенно, с удовольствием. Когда закончил, тарелка почти блестела, не спеша, облизал пальцы, ложку и снова улыбнулся.

— Вкусно! Во! — сжав кулачки, показал оба больших пальца.

Посмотрел сначала на Анюту, потом на Моймойшу, помолчал, будто прикидывал что-то в уме, и не попросил, а сказал убежденно:

— Ты, теть Анюта, будешь меня шкварками кормить, а ты, Моймойша, научишь еврейские песни петь.

— Молитвы, детка, — машинально поправил мальчика Моймойша, совершенно обескураженный внезапно возникшим положением.

— И шляпу черную хочу, как у тебя, и такой пиджак. — Он все теснее прижимался к Моймойше и в глаза глядел неотрывно.

— Зачем тебе это, детка?

— Когда ты умрешь, я буду евреям песни петь. Евреям без песни нельзя.

— Кто тебе сказал?

— Никто. Я сам чувствую. Вот здесь, — и поскреб пальчиками грудь.

Моймойша расплакался, не глядя, что люди кругом, что стыдно плакать на кладбище не над покойником, не над скоротечностью бытия земного и таинством

ухода, а над нежданной, непознанной радостью, от которой душа зашлась в предчувствии благодатного покоя. Не после жизни, а, может быть, прямо сейчас.

Случалось, сводило судорогой горло, и голос пропадал перед лицом чужого горя, и тяжелую вину свою на плечах едва удерживал, и голова клонилась к земле, и хотелось пасть на колени и попросить прощения просто за то, что жив. Случалось, да, и не раз. Все же смерть — непостижима и тем самым страшна и привлекательна одновременно. Все так.

Но сейчас он плакал слезами очищения, благодарности, просветления. В первый раз так плакал, и остановиться не мог, и не стыдился своих слез.

— Ангел мой светлый, благодарение Богу. За что? — только и мог вымолвить Моймойша, прижимая к себе рыжую голову мальчика все крепче и крепче.

— Не плачь, Моймойша, я научусь петь, как ты, буду очень стараться. Я толковый, вот увидишь, у меня получится.

— Я тоже старался, детка, разрази меня гром, очень старался, а вот видишь: всю жизнь — последний после последнего.

— Ты, Моймойша, поешь лучше всех!

— Кто тебе сказал, малыш?

— Я сам. Когда папку моего хоронили, ты тихо сбоку что-то пел, я слышал, и папкину душу увидел, в листья укутанную, и вороны над ней громко плакали, и тетки над мамкой орали, я чуть не оглох, а ты, Моймойша, пел так тихо, что я даже заснул и не видел, как его в землю положили. И проснулся на могиле вечером один. Было тихо, красиво и совсем не страшно. И я тихонько спел твою песню, хорошо получилось, слова только не запомнил, всего несколько.

У Моймойши судорожно дергался кадык, и слова в гортани слиплись в ком, перепутались, и пересохший язык мешал говорить.

— Молитвы, не песни...

— Ага, молитвы. А что это?

— Молитва — прошение, моление, благодарение за все милости Его. Плач и радость, обращенные к Богу.

— В песне тоже про это можно, — подумав недолго, уверенно сказал Серафим.

Моймойша не стал возражать.

Знакомство состоялось. Вступительная часть закончилась, день клонился к вечеру, сделалось прохладно, тьма спускалась с неба все ниже, ниже, укутывая кроны деревьев, могильные плиты, накрыла кривые дорожки, убрала весь свет. Только под фонарями на центральной аллее было светло и роились тучи мошкары. Надо было что-то делать, но сам по себе Моймойша никаких решений не принимал. Он с надеждой посмотрел на Анюту, женщины всегда мудрее.

Она кивнула едва приметно, взяла их обоих за руки:

— Ну, пошли домой, кладбище закрывается.

— Здесь дырок в заборе много, я проверял.

— Есть дырки, но мы пойдем через ворота.

Серафим спросил серьезно, по-взрослому:

— Я буду у вас жить всегда? Вы не передумаете?

Вместо ответа зашагали бодро в ногу, и Серафим все пытался подстроиться. «Левой, левой!» — командовал громко и сам все время путался и смеялся. Моймойша и Анюта тоже смеялись, будто жизнь с плеч скинули и им ни с того ни с сего сделалось весело, как только в детстве и бывает.

И в сказки верят только в детстве: кому судьба Снегурку послала, кому Буратино, кому Колобка, а Моймойше и Анюте на старости лет — мальчонку рыжего, херувима Серафима. Ни в сказке сказать, ни пером описать.

Стали они жить вместе и спать вместе в обнимку на жестком кривоногом топчане, оба обнимали Серафима, каждый со своей стороны, — и всем тепло, уютно, покойно, вроде и просыпаться не к чему. Вот что такое счастье.

Не мазл-размазл, а настоящее.

Оторопь вперемешку с ликованием, недоверие к случайному, сдобренное верой

в милость Всевышнего, которая вколачивалась в него Йосей с первой минуты их совместного пути.

— Через чужие могилы к своей, — полушутя-полувсерьез говорил Моймойша. — Вот и вся милость.

— Не смеешь так говорить перед лицом Его, — огорченно говорил Йося, отворачивался и быстрыми шагами шел прочь, бежал от этих слов.

Лишь однажды Моймойша догнал его и был потрясен, увидев слезы на белых гладких Йосиных щеках, крупные слезы, как у обиженного ребенка. Моймойше сделалось больно и стыдно именно оттого, что Йося не сердится, не надменно поучает, а плачет от огорчения. Больше он так не шутил.

А в свете нынешних событий — и вовсе.

День шел за днем, Моймойша и Анюта, шаг за шагом стряхивая с себя неверие и сомнение, вживались в счастье полноценной семьи, вдыхали его полной грудью, наверстывая потерянное время — всю свою одинокую бездетную жизнь. Два месяца было отпущено им, два долгих, долгих месяца, внутри которых дни, часы, минуты, мгновения звонко перекликались: Се-ра-фим-се-ра-фим! Се-ра-фи-моч-ка!

Фимочка! Такое панибратство он позволял только Анюте и целовал перед сном только ее, а Моймойшу всю ночь держал за руку — за себя боялся или за него? Или так они вместе Анюту охраняли?

Два месяца было отпущено им. Всего два месяца.

Последним августовским утром, когда за оконцем едва брезжил рассвет и они мирно спали, дверь чуть не разнесли в щепки ударами ног, кулаков и еще чего-то тяжелого. Позже выяснилось — лома.

Больше не выяснилось ничего. При таком шуме и треске выламываемой двери не нашлось ни одного свидетеля происшествия. Да никто их и не искал. Только Анюта и Моймойша долго, беспокойно метались по комнате, по длинному барачному коридору, по кладбищенским закоулкам, влезали и вылезали туда-сюда через дыры в заборе и смотрели друг на друга больными глазами. Но вслух не проговорились ни разу, вообще почти не разговаривали с того утра. Только с тоской и мольбой смотрели оба в одну сторону до рези в глазах, до темноты — ждали кого-то.

Время шло, наступила промозглая долгая осень, бесснежная морозная зима и дальше, дальше, дальше…

Моймойша хоть и продолжал сидеть на своем табурете, молитву никому не предлагал, а вид у него был такой жалкий, что и к нему не обращались. Так не стало на кладбище последнего «певчего», не умер, слава Богу, долго еще сидел в своем лапсердаке и шляпе на центральной аллее, ближе к входу, просто сидел, безучастный ко всему происходящему. Его и замечать перестали и, когда несколько дней на этом месте стоял пустой табурет, тоже не придали значения.

И похоронила его Анюта сама, с бригадой договорилась, за три бутылки водки по-свойски, по старой коллективной памяти все сделали хорошо, как надо. Она перекрестила могилу, хоть и на еврейском участке, оглянулась по сторонам, словно прощения попросила, тихо сказала в пустоту:

— Вы уж приглядите здесь за ним, не дайте в обиду. Все ж свои. Евреи. А я пойду отсюдова, куда глаза глядят. Нечего больше мне здесь делать без Моймойши, хороший был мужик, — последний раз похвасталась Анюта своим Моймойшей.

И ушла, не оглядываясь. С тех пор ее никто не видел.

Постепенно забыли Моймойшу, Анюту, всех «певчих», даже Йосю с его тростью, даже Моймойшин лапсердак, доставшийся ему по наследству от деда Зейлика.

А кому помнить-то? Все. Другие времена настали. Другие деньги считают, другие песни поют.

Хотя про песни — как сказать.

Два раза в году в определенные дни, в начале июля и в последний день августа, появляется на Востряковском кладбище молодой рыжеволосый мужчина в черном длинном сюртуке и черной шляпе. Идет по кладбищу уверенной походкой, ни к кому

не подходит, никого ни о чем не спрашивает, церковь не посещает, в еврейский молельный дом не заходит. Идет прямо к своим могилам, их три в разных концах кладбища, видно сразу — дорогу знает хорошо. Две могилы — на русской половине, одна — на еврейской. У каждой стоит подолгу, особенно — у еврейской.

Слухом полнится земля, на кладбище тоже повсюду есть уши, несмотря на то, что царство мертвых. И на чьи могилы ходит рыжий, знали, и, какие слова говорит, слышали. И передавали как любую молву, любое преданье из уста в уста, дополняя, привирая, приукрашивая.

На еврейской могиле издали видна надпись добротным шрифтом на черном строгом гранитном надгробии:

МОЙША РАФАИЛОВИЧ ФЕЛЬДМАН

А чуть ниже: *Моймойше — лучшему из лучших.*

Уходя, рыжеволосый всегда говорит одно и то же:

— Помнишь, Моймойша, я сказал, что не только в молитве, но и в песне про *это* можно. Я сам сочиняю эти песни. Для тебя, Моймойша, разрази меня гром — сам. Еврею нельзя без песни, ведь так?

А песни пел всегда по-еврейски. Это точно, слышали.

Бабка Настена, самая старая из всех уборщиц, сидит на табурете дольше века, смеются тетки-соседки, вдруг встрепенулась, услышав в очередной раз про рыжего пришельца, оживилась, беззубый свой рот разинула да как закричит:

— Серафим это! Серафим! Отца-мать потерял еще в детстве, Моймойша с Анютой его подобрали, а злые люди их чуть не убили за это, как Йосю еще раньше бутылкой по голове. А Серафим потом, сказывали, учиться пошел на попа, то ли нашего, то ли ихнего. А Моймойша и Анюта все глазоньки проглядели, ждали его, поджидали. Вот он и пришел. Серафим это! Херувим Серафим!

Никто уж на кладбище ничего не помнил про те времена, а бабку Настену давно считали безумной, по старости все на свете путала. И эту ее байку бредом сочли.

Ан вдруг все же не бред, сомнение закрадывается.

Может, так все и было. И рыжий пришелец, правда, — херувим Серафим. Многое видело на своем веку старое еврейское кладбище.

И это вполне могло быть.

Переделкино, 2010

Ната Сучкова

Благовест птичий

* * *

Городишко захолустный: винстон лайт да телик,
Убредешь к часовне разве, подгоняем ветром,
Подойдет к ограде робко, тихо спросит время —
Никогда здесь не бывало никого с мольбертом!
Широко расставив ноги, смотрит-ротозеет,
Имя спросишь — не ответит, кажется, с приветом,
В синих штопаных рейтузах, в кофте бумазейной,
С оглушительно шуршащим на ветру пакетом.
Городишко захолустный — росчерк карандашный,
Капнешь масло на подрамник и сугробы — тают.
Улыбнется, снова спросишь, тетка крикнет: «Машка!»
Городок провинциальный — все друг друга знают.
На пакете у Маруси золотое «Gussi»,
А в пакете банка с красным краснодарским чили,
Что она ни скажет дома — ни за что не пустят,
Есть ли кто еще в ответе, чтобы приручили?

* * *

Смотри, она по воздуху идет,
она идет, идет, а не летает,
он провисает под ее шагами,
он прогибается, он тоненько поет.
И песня из-под облака плывет,
и легкая собака подлетает,
и купидон замерзший замирает,
он вкладыши из жвачек вынимает,
он облака обклеивает низ,
вот только не дари ему «Love is...»,
он юмора, увы, не понимает.

Ну что ты смотришь — старый идиот?
У облака, как у мастифа, морда,
скажи ей: «Нынче чудная погода!»,
пока она по воздуху идет.
Пока она не снизошла с моста,
пока она не выбрала тропинку,
которую мастиф твой протоптал,
скажи ей: «Нынче, право, красота:
собака, дерево, фонарь, блондинка...»,
пока по воздуху скользят ее ботинки:
«Смотрите, это облако как дом!»
пока не отвернулся купидон,
чтобы наклеить глупые картинки.

Ната Сучкова (Сучкова Наталья Александровна) — поэт. Родилась в Вологде в 1976 г. В течение четырех лет издавала в Вологде литературный альманах «Стрекоза». Окончила Литинститут им. А.М.Горького в 2006 г. Автор книги стихов «Лирический герой» (М., 2010). Стипендиатка Русского ПЕН-центра и Фонда Альфреда Тепфера (Германия) 2000 г. Лауреат VIII Международного литературного Волошинского конкурса (2010 г.). В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Вологде.

* * *

Теплое облако синее
можно поймать за хвост,
даже не нужно усилия —
выпрямись лишь во весь рост.
Солнце блестит на радужке,
пар преломляет свет,
синее облако — бабушка,
белое облако — дед.
Ты все такая же вредина —
прыгни — раз, два — и повис,
вон, от ее передника
свесился краешек вниз.
— Бабушка, видишь, там радуга?
Как мне достать до тебя?
Только она, аккуратная,
фартук уже прибрала.
— Спи, мой хороший, полно-ка,
я ведь и так с тобой, —
и укрывает облаком
с вышивкой набивной.

* * *

Эта маленькая пекарня, этот тонкий дух дрожжевой,
я стою под ним — привыкаю, как под теплой водой дождевой,
как куличики выпекаю из речного песка на песке,
а вода в рукав затекает и становится хлебом в руке.
Эти удочки — бога ради! — эти скользкие камни на дне,
Александр Анатолич — блокадник, я гуляю с ним по воде.
Форму круглую доставая, белый мякиш смотря на просвет,
дома бабушка молодая нас давно уже ждет — обед.
Эта корка — спеклась и прогоркла, почему мне при нем — опять! —
почему мне так страшно неловко даже корочку пусть оставлять?
Невозможно и невыносимо то, что это увидит он —
почему мне дается насильно этот сладкий мучительный сон?
Этот берег — в ветвях заскорузлых, эти камни — на скользком дне,
Этот воздух — тяжелый и вкусный, точно хлеб на войне и не.

* * *

На этой земле есть его отпечаток —
есть то, что испорчено, сломано.
Ворона на ветке сидит, как перчатка —
Потерянная, огромная.
Он ходит с завязанными глазами,
по улицам и по аллеям,
как будто к дорогам его привязали,
как будто летать не умеет.
Как будто он то, что когда-то запомнил,
в себе в сотый раз повторяет,
а крик догоняет — картавый, вороний,
и в спину его ударяет.
Обветрены руки и ржаво-кирпичны —
Цветут, как по ситцу гвоздики,
и гаснет в нем крик, точно благовест птичий
во колоколе безъязыком.

* * *

Кабы ветер северный детку не продул,
Кабы дурь из девочки никуда не вышла,
Я ее отправлю в город Истамбул
С первым подвернувшимся воришкой.
Сядет моя девочка — ножки по-турецки,
Глянет — очи черные, брови как смола,
Ковырнет птифуру с греческой орешкой
Золоченой вилочкой, тонкой, что зурна.
Ой, блестит у деточки изумруд на ушке,
Ой, щекочет деточку южный ветерок,
Черной-черной полночью в номерочке душном
Поцелует девочку честный фраерок.
Что не спится фраеру, что неймется фраеру?
Что поможет дарлингу, что остудит кровь?
В кружевных подвязочках холодящий браунинг,
Безотказный браунинг, быстрый, как любовь.
В Царе-граде-городе да с моей подружкою,
Сладкой моей девочкой он идет на дело,
В первоклассном номере, как платок надушенном,
Косточки вишневые на манишке белой.

* * *

Коньками нацарапанный,
пробитый до воды,
как детские каракули,
висит над домом дым.
Несешься вверх, ужаленный,
зима поет во рту,
а дым — он отражается,
засахарен во льду.
Рисуют ноги кренделя,
и вертится земля,
с тоскою смотрят на тебя
твои учителя.
Блестят надменные очки,
и лепятся правее
твои — с натяжкой — троячк***и***
по чтению и пенью.
Но что они не говорят,
ты знаешь, будет твердой
по рисованию твоя
небесная четверка.

* * *

Вдруг в раю пошел снег. Невесомый, крахмальный,
Он мешается с бабочками, мотыльками,
Он идет, будто снег, он кружится, он липнет
На ресницы огромных дрожащих колибри,
И визжащие дети, распробовав — сладкий!
Ловят снег в кружевные сачки и панамки.

Добродушный медведь, вдоль прибоя пошлепав,
Собирает, ворча, их сандальки и шлепки,
Закрывает сундук, полный сахарной ваты,
На тележку относит, и сам виновато
В толкотне, беготне — снег идет настоящий! —
Наполняет им трубочку — сладким, хрустящим.

Спит под деревом волк, километры набегав,
И ему снится снег, много белого снега!
Обнимают за шею и треплют за холку,
Одного не хватает чудесному волку,
Спит под деревом волк — у него выходной,
Снег идет и идет — очевидный такой.

Григорий Аросев

Два рассказа

Нарочный

1.

Все началось с того, что я, собираясь в дорогу, забыл зубную пасту. Все взял, а вот пасту — нет. Наверное, вы представляете себе, что это за ощущение, когда забыл что-то мелкое и, в принципе, незначимое. Забудь я вообще весь багаж дома (ха-ха, так называемый багаж — я иногда по делам хожу, плотнее упакованный), то и не волновался бы вовсе. А отсутствие такой мелочи нервировало. Поэтому я решил зайти в какой-нибудь маленький магазинчик при вокзале (или в здании вокзала) и купить там пасту.

Да, возьми я ее из дома, ничего бы не произошло.

Я проинспектировал пару лавочек, а когда выходил на платформу, почти что сбил с ног девушку, спешащую с огромным чемоданом к тому же поезду, что и я. Девушка действительно торопилась, а чемодан без шуток был очень большим. Кабы не поиски зубной пасты, я бы уже сидел в своем вагоне. И мы бы не столкнулись. Но — не случилось. Или наоборот, случилось. Я предложил ей помощь, она немедленно согласилась. Мы выяснили, что едет она в соседнем со мной вагоне, после чего поступило приглашение зайти к ней в купе — на чай, «ну и поболтать».

Чтобы не вводить вас в заблуждение, сразу скажу, что «это» не случилось, да и не могло случиться. Точнее, я лениво подумывал о подобном развитии событий — поначалу, когда «собирался» (избавление от куртки, поспешное перепихивание телефона, паспорта и денег из портфеля в карманы), но минут через десять после того, как мы вновь встретились, я начисто забыл про все лишнее.

Ехал я... не важно куда. Из Москвы, но не в Санкт-Петербург. Почему-то в традиции русской литературы главный герой чаще всего уезжает из Москвы в Петербург или обратно. Так проще сочинять, что ли? Маршрут известен, ничего додумывать не надо... Я вот ни разу не уезжал в Петербург на поезде. Пару раз вылетал на самолете, но не более. Впрочем, это не очень важно. Предположим, в тот раз мой путь лежал до Кедрянки, небольшого городка, что в тринадцати часах езды от столицы строго на восток. Именно этот вопрос (куда я еду) она и задала первым. Даже не представилась сразу. Пришлось чуть позже спрашивать самому. Мы попросили у проводника два стакана чая и вышли в коридор, чтобы не мешать разговором ее соседям, которых я даже не разглядел.

— Куда вы едете?

— До Кедрянки.

— Ой, как хорошо.

Григорий Аросев род. в 1979 г. в Москве. Окончил театроведческий факультет ГИТИСа. Работает на телеканале «Культура» и в информагентстве ИТАР—ТАСС. Публикует стихи, прозу и критику в московских и региональных изданиях. Участник VIII и IX Форумов молодых писателей России. В «ДН» публикуется впервые.

— Почему?

— Не знаю. Просто я на предыдущей станции выхожу.

— В Белом Логе, что ли?

— Да.

— Километров двадцать до Кедрянки, — неизвестно для чего и для кого сообщил я.

— Наверное... А вы туда к родственникам едете?

— Вообще-то — нет, — неохотно ответил я. — У меня там частное дело.

— Девушка? — бестактно спросила она.

— Юноша, — я чуть разозлился. — Дела бывают и другие, никак не связанные с личной жизнью. Просто не хочу говорить.

— Простите, — сказала она, но, по интонации судя, не особо сожалея.

— А как вас зовут? — все-таки меня этот вопрос интересовал.

— Фаина. Можно — Фая. А вас?

Я назвался. Она как будто в забытьи повторила мое имя несколько раз, а потом прямо посмотрела мне в лицо:

— А вы знаете, я вот хочу рассказать, куда и зачем я еду. Вы выглядите... доверять вам можно. У вас вид такой... знаете...

Я знал. Ох уж этот мой вид — вечно у кого-то вызываю доверие, надоело уже. Сколько раз мне вот так «выплакивались» девушки разных возрастов... Не сказать, что я горел желанием выслушивать очередную историю любви очередной пустенькой замужней Фаечки («я такая, какая есть, а он меня хотел исправить... муж ведь не замечал во мне личности...»), но мне было просто скучно — ни газеты, ни книги с собой не было, а спать тоже не хотелось. Поэтому я, посмотрев в ее декольте и сильно оживившись от увиденного, согласился в очередной раз поработать жилеткой. Но как раз тот взгляд в приятную темноту межгрудной ложбинки и стал последним, которым я ее одарил, думая «не о том».

Она выглядела... Да никак она не выглядела. В иной ситуации я бы и внимания на нее не обратил. Крашеная блондинка — а брови густые и черные, полноватая, глаза серые, хотя по сути — бесцветные, характерный говор. Безликая и обычная.

— Вообще-то я еду на свадьбу своей двоюродной сестры. Ее Регионой звать. В Белом Логе свадьба будет, да. Муж мой поехать не сумел, он дежурит, поэтому еду одна. У нас там небольшая белологовская мафия, — улыбнулась она, в первый и последний раз за вечер. — И Регина должна была ехать со мной. Потому что она с нами живет. А жених ее сейчас там. Он был в Москве недавно, в гостях, но уехал дней пять назад. А Регина-то... — Фаина запнулась, — беременная. Сильно беременная. Неделе на тридцать шестой уже.

— Извините, это сколько? Я в неделях не очень понимаю, — прервал я ее.

— Восемь полных месяцев уже прошло вроде бы. Совсем точно я сама не знаю.

— И у них свадьба только сейчас?

— Да. Просто Рустам, жених-то, в Ванкоре работает, на севере. Так вначале он на вахте был, потом вертолет долго не прилетал, а потом сама Регинка уже не могла — ее работать заставляли, она же продавщицей работает, в табачном, и ей четыре выходных подряд никак не давали. Либо, говорят, увольняйся, либо работай как велено — а куда ж ей раньше времени увольняться-то в таком положении, — с паузами рассказывала Фаина.

Несмотря на отчаянную мизерность нюансов, я слушал ее, как приворожённый. Я уже чувствовал, что там случилось нечто необычное или даже страшное.

— И вот решили они жениться, уже точно решили. Рустам вернулся, все хорошо. В Логе кому надо сунули, чтобы им дату свадьбы назначили без Регинки. Рустам как раз ее паспорт привозил обратно, когда приезжал-то сейчас. Она с работой уладила. И вот завтра вечером, я точно не помню во сколько, все и будет. Только ничего не будет, — вдруг всхлипнула она.

Я не люблю, когда люди плачут. Тем более, когда начинают плакать вдруг. Без прелюдии, так сказать, начинают плакать. Когда я о таком читаю, то думаю, что это все притянуто — ну не может человек вдруг хвать — и зареветь. Но Фаина смогла, хотя изо всех сил старалась сдерживаться. Но одновременно сдерживаться и гово-

рить она не могла, поэтому вынужденно замолчала. Я, понимая, что высказываю неверную версию, все-таки спросил:

— Но она опоздала на поезд?

— Если бы, — Фаина чуть успокоилась. — Регинка в реанимацию попала три дня назад. Доработалась. Что-то там серьезное, я опять же не знаю точно. Резко заболело где-то сбоку в животе, чуть не упала от слабости. Ей «скорую» вызвали, врачи сказали, что там отслоилось что-то — я не поняла ничего. Еще они говорили про кровотечение внутри и что ребенка надо срочно вытаскивать. На носилках прямо увозили. Как, что получилось потом — я и не знаю. Оба они, говорят, могут и не выжить. Прямо какой-то... — и тут она добавила что-то не по-русски, но что именно, я совсем не понял. Вероятно, это было матом. — Вот и еду, не знаю, что им сказать. Рустам-то готовится, и мамки наши, сестры, весь Белый Лог на уши поставили. А я пока доеду, может, и кончится Регинка, — Фаина опять что-то сказала по-своему и заплакала.

Я, пока что держа оборону перед наступающими чувствами, все же уточнил:

— А почему вы сразу не рассказали, не позвонили?

Фаина вытерла тыльной стороной кулака слезы и махнула на меня рукой:

— Да не знаю я! Испугалась! Я даже сообщение с ее телефона отправила Рустаму, ну, в смысле, когда ее уже того, в больницу... Дескать, целую, жду, люблю. Дура я, дура, а что делать? Вот, сейчас каждые пять минут на свой телефон смотрю, вдруг кто что напишет про нее или звонок будет. А ведь завтра-то все, надо будет рассказывать...

Задуматься было над чем. Пару минут мы помолчали.

— Миленький, а вам в Кедрянку срочно надо?

Я машинально ответил:

— Ну, средне, а что?

— Миленький, дорогой, пойдите со мной, — зачастила Фаина. — Выйдите в Логе. Со мной. Вы же умный, вы же филолог (с чего она это взяла — не знаю, наверное, все мужчины в рубашках для нее были филологами). Пожалуйста. Прикинетесь врачом, что-нибудь скажете, только правдивое что-нибудь. Я утром позвоню туда, мне все доложат про Регинку. Пожалуйста, прошу вас. Вы женаты? (Я опять же на автомате покачал головой.) Если обойдется у нас, я к вам каждые выходные буду приезжать, убирать-стирать, ну и эт-самое, если надо... Полгода буду ездить, не меньше, только чтоб все обошлось, это ж я во всем виновата...

Я медлил, потому что размышлял о прихотливой воле того же самого Случая. Очевидно, это были несвоевременные мысли, но в тот момент меня одолевали именно они. Почему, думал я, никого иного, как меня, человека принципиально отличного от Фаины и ее «диаспоры», кто-то или что-то ввергает в самую бездну этой драмы? Есть ли в этом знамение, своеобразное пророчество, или налицо тупое совпадение обстоятельств, и если бы Фаине помог кто-нибудь другой, то вся тяжесть ситуации с неведомой Региной при смерти легла бы на плечи этого другого? Я, по своей традиции, кратко обратился к Абсолюту, чтобы получить ответ. Но его не было — ответа. Как, вероятно, и Абсолюта.

Отчаяние Фаины я хорошо понимал. Ее просьбу — тоже, это истеричное хватание за любую возможность, за пресловутую соломинку. Но какое решение должен принять сам я?..

Человек становится ответственным не по своей воле и не других людей ради. Так я полагаю. Ответственность разделяется или полностью берется на себя, если в этом есть некая выгода. Я, так получилось, мало за что отвечал в жизни — просто не мог, не умел — и всегда жалел об этом. Сам себе и друзьям говорил постоянно — вот, мол, если бы выпал случай, ух, как бы я развернулся. Вот он, пожалуйста, — случай. Пора разворачиваться. «А что я с этого буду иметь? Того тебе не понять» — вспомнились строчки из песни. Да уж, что я получу, не то, что *ты*, — не пойму и я сам. Не считать же за награду обещание несчастной Фаины приезжать убираться и «эт-самое».

«А может, — пискнуло подсознание, — просто так помочь, без выгоды?» Я сам себе усмехнулся иронически.

— Давайте так, — сказал, наконец, я. — Я пойду спать. А вы за полчаса до Белого Лога подойдите ко мне — пятое купе, место девятнадцатое, — и мы решим, что сделаем. Пока что ведь все равно едем. Только обязательно подойдите.

— Хорошо, — шмыгнула Фаина.

— Доброй ночи.

— Доброй ночи.

Я прошел к себе, лег на полку, предполагая все хорошо продумать, проанализировать доводы «за» и «против», а также подготовить возможную речь для родственников Фаины и Регины, если все-таки решусь на это мероприятие. Но... Я лег, а через секунду после этого меня уже трясла за плечо Фаина. Я уснул мгновенно и спал чрезвычайно крепко. Со мной такого не случалось вообще никогда, тем более — в дороге. Сон мой обычно тревожен и непрочен, как у алкоголика (я не пью, кстати). А тут получилось наоборот.

— Ну, что? — заглядывая мне в глаза, сказала Фаина. — Лог через двадцать пять минут.

Я потянулся, встал — ненавижу спать в штанах, даже в поезде! — и воззрился на Фаину. Она как будто похудела и постарела. Бедная, бедная Фаина. И Регина тоже бедная. А я тут такой довольный, еду себе в Кедрянку, чтобы получить там деньги за свои делишки с природными ресурсами.

— А такси у вас до Кедрянки можно будет взять? — вздохнув, спросил я.

— Конечно, — засуетилась Фаина. — Там, в случае чего, Дамирка, брат Рустама, подбросит, у него «Форд», хорошая машина. Недавно как раз мост новый открыли над речкой — теперь очень быстро можно доехать. Кстати, мне тут прислали сообщение, вот.

Она сунула мне под нос телефон. Я прочитал и не понял почти ничего — ясно было, что сама Регина, по крайней мере, пока жива. Про ребенка ничего не было сказано. Я кивнул, якобы все приняв к сведению, и наказал Фаине идти к себе в вагон — готовиться к выходу. Сам тоже быстро собрался. Скажу откровенно — решить-то я решил, но вот как нужно себя вести, я понятия не имел.

Поезд плавно затормозил, и я выскочил на платформу. Здравствуй, Белый Лог — место, куда я совершенно не собирался попадать, но куда попал.

2.

Нас (хотя — почему нас? Фаину!), против ожидания, у вагона никто не ждал.

— Я позвонила и сказала, чтоб не ехали, — пояснила Фаина.

— Умно, — заметил я.

Я в самом деле так считал. Отсутствие встречающих было очень кстати, так как я определился с главным — нужно было выбрать одного человека, чтобы с ним вести беседу. Только одного. Не хотелось являться гоголевским ревизором и всех пугать. А любой подобный отбор был возможен только при бесстрастном наблюдении за людьми в течение хотя бы недолгого времени. А можно было бы хоть что-то понять в толпе, хаотично вопрошающей о местонахождении невесты? Нет же.

Мы вышли из вокзала на улицу, и тут же мне пришла в голову следующая идея.

— Фаина, а расскажите мне о них.

— О ком?

— Ну, о тех, кто нас... вас там ждет. Я хочу прикинуть, с кем лучше будет общаться.

— Ой, — предсказуемо замялась Фая. — А что вам рассказать-то?

— Хотя бы сколько кому лет, кто чем занимается и наподобие.

Фаина честно попробовала выполнить мою просьбу, однако ее рассказ постоянно перемежался восклицаниями «я даже не знаю», «ой, забыла» и тому подобными. Единственное, что я однозначно понял, — жених, Рустам, из круга претендентов исключался. О нем Фая рассказала довольно внятно и цельно — образ получился непривлекательный. Глуповат, упрям, иногда жесток и вообще уже немолод. Фаина явно не симпатизировала ему — выдала себя, начав было сердитую фразу — «Поде-

лом ему...», но тут же осекшись, так как возмездие Рустаму пришло за счет ее, Фаины, сестры.

Предварительно я решил поговорить с Розой, теткой Регины, — то есть Фаининой матерью. По формальным признакам (возраст, опыт, некоторая родственная отдаленность от беременной страдалицы) и по рассказам именно она выходила тем, кто мне нужен. И хвала угодникам, что я решил вначале проверить свою версию.

Мы втроем — я, Фаина и ее чемодан — уныло дотащились до двухэтажного квартирного дома по Кооперативной улице. Увидев его, я сразу вспомнил названия двух пьес Бернарда Шоу — «Дом, где разбиваются сердца» и «Дом вдовца». Да, вот и мне выпала доля — неспешно, самодовольно, слегка спесиво подумалось мне, но какая именно доля мне выпала, я домыслить не успел, так как на втором этаже открылось окно, и неприятный женский голос закричал:

— Файка! Ты, что ль? А Регинка-то где?

— Сейчас, мам, — крикнула в ответ Фая, побледнев и жалобно глядя на меня.

В тот момент я усомнился в правильности своего первичного выбора — доверие к обладателю такого голоса не появилось. В общем, и на практике я оказался прав (а точнее, как раз не прав) — общаться с Розой Камильевной было совершенно невозможно. Светлана Камильевна ничем от своей сестры не отличалась. Разговор между ними и Фаиной велся примерно такой: «Как доехала-то, не замерзла?» — «Тепло было, мама!» (Или — «тетя».) — «А Регинка-то где?» — «Мама (тетя), я чуть позже расскажу. Подожди, пожалуйста» — «А, ну подождать-то можно. А что в вагоне-то, холодно, небось, было?»

И так до бесконечности.

Зато на меня все отреагировали на удивление безразлично — но Фаина меня представила своим и Регины знакомым, и мне никто никаких вопросов не задавал, даже предложили кофе (я отказался). Я слушал беседу женщин и мрачнел. Задача неимоверно усложнялась.

Я уже было совсем отчаялся, как вдруг в квартиру вошел Рустам. Я его тут же опознал, потому что Фаина упомянула приметный, глубокий горизонтальный шрам через весь лоб. Опознал — и в очередной раз поразился. Под шрамом были обычные густые брови и необычные глаза — темно-карие, злые и очень умные. Разница между ним и остальными была слишком очевидна, чтобы я колебался дальше.

— Вот, Рустам, это наш друг из Москвы, — Фаина представила меня жениху.

— Привет, — бросил он, плотно пожимая мне руку. — А где Регина?

— Рустам, э-э... Я бы хотел с вами поговорить.

Это была моя первая удочка — я выяснял, как он отреагирует на такую просьбу от незнакомого человека.

— Когда?

— По возможности, скорее, — я старался не встречаться глазами с Фаиной. Она явно удивилась, что я решил общаться с Рустамом.

— Раз надо — пойдем. Куда? — добавил он спокойно.

Его реакция меня слегка ободрила.

— А тут есть свободная комната?

— Тут — нет, но мы можем быстро дойти до меня, через два дома. Так а Регина-то где?

— Я вам расскажу, — ответил я и быстро вышел из квартиры, потому что за моей спиной уже раздались охи-ахи Розы и Светланы, ничего не понимавших, но интуитивно заподозривших недоброе. Я обернулся и на прощанье постарался сделать самую зверскую мину в адрес Фаины — молчи, дескать, скрывайся и таи.

Рустам вышел вслед за мной. По дороге мы ни о чем серьезном не говорили. Он спросил зажигалку, я ответил, что не курю, он чертыхнулся и попросил подождать — подбежал к стоящему у соседнего дома мужику и прикурил.

— Зажигалку случайно выронил утром в лужу, а новую купить не успел, — пояснил он. — Вот и думаю, хорошая ли это примета перед свадьбой — топить зажигалки.

Он улыбнулся, я тоже. Мы зашли в его квартиру, и он указал на кухню — там, дескать, и пообщаемся.

— А почему, — сказал он, едва мы сели — он на стул, я в старое кресло, — я тебя не видел в Москве ни разу?

Не скажу, что я ожидал этого вопроса. Но я ему обрадовался. И даже переход на «ты» с его стороны меня не взбесил, как обычно бывает.

— Я отвечу, но, если можно, скажите — почему вы не спросили меня об этом там, у Розы Камильевны?

Рустам хмыкнул.

— А хрен его знает. Я подумал — а вдруг видел тебя, да позабыл. Решил, что при этих дурах ничего выяснять не буду.

Лучшего ответа я и представить не мог.

— Вы правы. Дело в том, что я не знаю лично Регину, а Фаину знаю со вчерашнего вечера — мы с ней были соседями в поезде. Даже не соседями…

Я кратко поведал историю знакомства, после чего сделал маленькую паузу.

— Ну? — выразил Рустам свое отношение к услышанному.

— Рустам, вы вот сказали про них — «дуры». Вы кого имели в виду?

— Да всех. Что Розу, что Светку, что Файку.

— А Регина? — я не хотел спрашивать, но вырвалось само собой.

— Регинка тоже дура. Глупая дура. Но хорошая. А эти — у-у, не могу видеть уже.

— Вы понимаете, что Фаина может совершить ошибку?

— Да она вся — одна ошибка. В чем дело-то? Полчаса уже долдонишь тут, а я пока ничего не понимаю. Вопросы задаешь, говоришь что-то, мне не отвечаешь, — Рустам начал злиться.

— Не сердитесь. Сейчас все поймете. С Региной случилось несчастье.

Рустам не шелохнулся. Он ждал. И я ждал. Прошло секунд двадцать (страшно много в такой ситуации), и все же я продолжил.

— Она попала в реанимацию. Еще в понедельник. Потеряла на работе сознание, ее отвезли, а там началась какая-то… — я запнулся, не желая ругаться.

Он молчал.

— Очевидно, все случилось из-за переутомления. Она же много работала — вы знаете это лучше меня. А Фаина испугалась. Она, вы правильно заметили, дура. Она испугалась вам сообщать, потому что она как будто бы в таком случае стала виноватой. Вот и молчала, не звонила. И это она вам написала сообщение с телефона Регины — вы его получили, прочитали?

Рустам молчал, но я чувствовал, что он действительно получил и прочитал ту Фаинину фальшивку.

— Но Фаина терзалась от страха — и за сестру, и за себя. Поэтому она открыла все мне — я ей показался достойным доверия, — я сдавленно хихикнул, но мгновенно осекся. — И она попросила меня побыть посредником, что ли. Рассказать о случившемся кому-нибудь из вас и чтобы этот кто-нибудь рассказал всем остальным.

Я замолчал и решил уже точно ничего не говорить, пока Рустам не отреагирует — уже не важно было как. Прошла еще минута.

— Что с ней? — наконец спросил он.

— С Региной? Я не очень хорошо знаю. Я не спец. Но у Фаины есть телефон врача. Можно позвонить. Вам надо готовиться к самому плохому — ребенка, скорее всего, сохранить не удалось. И ее жизнь под угрозой.

Вы когда-нибудь сообщали подобное? Нет? Тогда не советую даже пытаться вообразить мои чувства. Если вы считаете, что мне было легко это говорить, так как я никого из них знать не знал, то вы ошибаетесь. Это был самый тяжелый момент в моей жизни. И в жизни Рустама — думал я в тот момент. Но и тут я ошибся.

Он вскочил, подошел к окну и стал громко ругаться. Слова были все знакомые, перемежаемые с выражениями «Да что ж это за…», «невозможно больше», «почему опять». Рустам явно что-то имел в виду, но что — я не мог уловить. А спрашивать было совсем некстати.

— Вы уж это… Фаину не ругайте, — понимая, что говорю не то, все же промямлил я.

— Да клал я на эту идиотку! — обернулся он ко мне и метнулся из кухни.

Вернулся, что-то держа в руке, и кинул это мне на колени. Фотография. — Пойми! Это уже второй раз! Второй! Понимаешь? Второ-о-ой, твою мать!

Я, не решаясь взять снимок в руки, посмотрел на него. Там была изображена женщина — обычная, с вышедшей из моды прической. Лет пятнадцать этой фотографии.

— Ты понял? В девяносто четвертом женился. Не здесь жил. Все уже почти было, ты понимаешь? — он задыхался, но рассказывал, почти плакал, но рассказывал. — Там месяца три оставалось. И тут, твою мать, под машину. Под долбаную «Волгу». И все, сразу! Оба! Понимаешь? Понимаешь?!

Я уже все понял и ужасался вместе с Рустамом.

— Регинка ведь дура. Ну ду-ура! Но, твою мать, с золотым сердцем. Понимаешь? Я ж ее с шестнадцати знал. Росла тут. Я на север уехал... Деньги... — его речь становилась бессвязной, рассказ превращался в набор слов.

Он сел на пол и бессильно оперся о батарею. Закрыл глаза.

— Может, еще обойдется. — Регина совсем не безнадежна, — сказал я.

Он махнул рукой. Потом встал и вытащил телефон.

— Файка? Дуй ко мне. Живо! — приказал он и отключился. Затем обратился ко мне. — В общем, так. Сейчас с тобой разберемся, и ты иди себе отсюда. А я уж буду дальше решать. Это ж надо по-любому в Москву ехать, а на чем? — спросил он уже не меня, а сам себя.

Я, откровенно говоря, немного струхнул. «С тобой разберемся» — звучало недружелюбно. Но обошлось. Через несколько минут вошла Фаина. Выражение ее глаз описывать не буду — можно легко догадаться.

— Значит, так. Что ты ему обещала за то, что он мне все расскажет?

— Рустамка, да ничего не обещала...

— Врешь, знаю я твою натуру сучью! Говори живо!

— Полгода убираться в доме обещала по выходным, — пролопотала она, явно стыдясь меня, себя и своих слов.

— Короче — чтоб не меньше года ездила к нему. И давала по первому указанию. Вот как скажет полслова — все, юбку вверх и на кровать. Ясно? Тебе ясно, сволочь?! — заорал он. Фаина испуганно кивала. — Ты взяла его телефон? Взяла???

Я встал и направился к двери. Рустам явно терял контроль над собой, и, честно скажу, я не хотел ни спасать Фаину, ни быть свидетелем его гнева. Но, к счастью, Рустам быстро успокоился, и я, обуваясь, услышал:

— Сейчас дашь мне номер врача. А потом зови Светку сюда. Я с ней поговорю. А Розке сама скажешь. Поняла? Сама! Дура.

Запахнув куртку, я крикнул из коридора: «Рустам, можно вас на секунду?» Он подошел:

— Что?

— Сил вам. И терпения. Помощь нужна?

— Ничего не нужно, — сказал Рустам с таким видом, что я предпочел наскоро пожать ему руку и выкатиться за дверь. В квартире тут же раздался страшный мат. Что-то упало. Фаина громко заплакала. «...И тогда воздаст каждому по делам его» — вспомнилось мне. Извини, Фая.

В кармане зажужжал телефон — пришло сообщение. Я постарался мгновенно переключиться на свои личные дела и выбежал из дома. Меня уже ждали в Кедрянке.

3.

Десять минут я говорил по телефону с компаньоном. Еще минут пятнадцать ушло на покупку и распитие стакана чая (кофе не было) с тошнотворно сладкой вафлей в забегаловке при местном универсаме (мне предложили пирожок с ливером, взглянув на который, я содрогнулся и вспомнил заголовок в московских газетах начала девяностых: «Крысы-мутанты в метро!»). Потом я писал несколько важных сообщений. И, наконец, решил немного погулять, чтобы окончательно успокоить нервы.

Я не задумывался, выполнил ли я свою миссию. Все произошло примерно так,

как любой здравомыслящий человек мог предположить. Что имела в виду Фаина, говоря «если обойдется»? Не могла же она предположить, что Рустам спокойно воспримет такую ужасную новость. Она-то хотела, чтобы я прикинулся врачом и взял всю вину на себя — только не на себя как такового, а на вымышленного себя. А я рассказал Рустаму все, как было. То есть фактически просьбу Фаины я не выполнил. Но Рустам — умный. Он бы мне не поверил, представься я доктором. Я бы тоже не поверил на его месте. С какого перепугу врач поедет из Москвы в Белый Лог, чтобы поговорить с родственниками своего пациента? Абсурд, безлепица.

Кто-то мне посигналил, я очнулся — оказалось, я стоял на светофоре, мне горел зеленый, но я слишком увлекся своими мыслями и просто стоял у края тротуара. Я пригляделся — сигналил мне молодой парень на «Жигулях». Такие редко отказываются от заработка. Я поднял руку, и парень подрулил ко мне.

— До Кедрянки прокатимся? — спросил я.

Тот подумал.

— Срочно надо?

— Долго ждать не могу.

— Я картошку из огорода везу домой, мать ждет. Заедешь со мной? Тут две минуты плюс выгружусь.

— Ладно.

Мы и правда потеряли от силы минут десять — парень, представившийся Мишей, быстро перетаскал пакеты в дом, но за это время даже успел узнать местные новости. Выруливая на шоссе (если его можно было так назвать), Миша осведомился:

— Ты местный сам?

— Нет. Случайно тут оказался.

— Понял. У нас тут такое сейчас случилось! Мать рассказала.

— Что? — хотя мне в ту же секунду стало очевидно, о чем он сейчас расскажет.

— Ну, свадьба должна была быть вечером. Ордынцева Регина и этот, как его... Абашев. Рустам. Но, говорят, в больницу она попала.

— А что с ней?

— Да кто же знает. Она с брюхом ходила. А работала где-то в Подмосковье, что ли. Говорят, перетрудилась.

— Так почему она работала, раз беременная?

Этот вопрос я задал совершенно интуитивно. Праздным этот вопрос был до крайности. Во-первых, я знал ответ. Во-вторых, я знал также, что мой водитель ответа не знает. Но все-таки это сорвалось у меня с языка — как вопрос Рустаму, считает ли он свою Регину дурой.

— Так ей же деваться было некуда.

Разговор пошел не по-написанному. Я насторожился.

— Как так?

— Да как-как... Сразу видно, что ты не отсюда. Мне моя мать сказала, что Светка, Регинки-то мать, просто не пускала ее домой с животом. Лишний рот, денег жаль... Сиди, дескать, в Москве своей. А Абашев на севере колымил. Он нормальный, но долго не приезжал. Вот и делать ей было нечего. Работала, иначе ж там такие цены, не продержишься...

Михаил еще долго продолжал рассуждать о злом нраве Светланы Камильевны, а я снова сидел, как прибитый. Я поверил словам своего водителя мгновенно и безоговорочно — вероятно, потому, что теперь картина «преступления» была полностью ясной. В самом деле, я ведь до того не задумывался, а зачем, собственно, Регине нужно было так надрываться в Москве, если она могла просто послать все куда подальше и уехать домой?

Мне было очень неуютно.

Мое окружение действительно разительно отличалось от белологовской шушеры. Я вырос в хорошей семье, в которой скандалов не было вовсе, а ссоры случались редко. И семьи друзей были примерно такими же. Мы все иногда ошибались — и родные, и знакомые, но всегда встречали понимание и поддержку в тяжелой ситуа-

ции. Как раз идеальные отношения в нашем «круге» и заставили меня наглухо скрывать от всех род моих занятий и некоторые детали личной жизни.

И я, под журчащую болтовню Михаила, занялся преполезнейшим делом — стал искать ответ на бессмысленный вопрос: почему *они* так поступают и что *они* чувствуют, когда *их* дела оборачиваются таким чудовищным образом.

Каждому по делам его.

Каждому по делам его...

Но получается, что и Регине досталось по делам ее? Где же тогда справедливость?

— Но ведь получается, что это ее мать впрямую виновата? — наконец сказал я.

— Ага, — охотно согласился Миша.

— А она это понимает?

— Откуда ж мне знать. Хотя вряд ли. Она ж думать не умеет. — Миша засмеялся.

— Почему?

— Да у нас никто не умеет. Особенно из старых.

— А ты?

— А я — умею, я ж не старый, — Миша опять улыбнулся.

— А Регина осознает, что потеряла ребенка по вине матери?

— Да кто ж ее знает, она ж в Москве давно. Хотя вряд ли она понимает. Она же дура втрое, чем мать. Зато она добрая очень. У нас самый умный — Абашев. Говорят, ему мэром предлагали стать. Он вроде даже соглашался, но он же нефтяник простой, куда ж ему против этих... А теперь я и не знаю вовсе, что будет, — вздохнул он.

— Несправедливо, — заметил я, и Миша явно не понял, что я имел в виду.

— Конечно. Выбирали б мы мэра (он сделал ударение на слове «мы»), давно бы Абашев рулил. А так... Все уже украдено до нас! — пошутил он стандартной фразочкой из кино.

— Слушай, ты вот их всех знаешь, — начал я.

— Ну, не всех, — тут же уточнил он.

— Почти всех. Как ты сам оцениваешь этот случай?

Миша призадумался.

— Да не знаю я. Но вообще я вот что скажу — раз так случилось, значит, так и надо!

— Фаталист...

— Что? — он удивился.

— Ничего...

Когда-то давно женщина, с которой у меня могло быть все, если бы она не была лучше меня раз в сто, сказала: «Не стоит путать Божий промысел с Божьим попустительством». Эту фразу я запомнил навек, и сейчас она оказалась очень кстати.

А еще я вспомнил себя образца вчерашнего дня и покачал головой в сердитом удивлении. Выгоду искал... Кроме испорченного настроения и тяжелейших мыслей я ничего не приобрел за истекшие несколько часов, которые, кстати, мог бы провести с большей пользой. «Еще на машину пришлось тратиться», — услужливо подсказало подленькое нутришко мое. И что, ради всего этого я и вышел станцией раньше? Водитель был прав — в Белом Логе я столкнулся с беспримерным *бездумьем* большинства действующих лиц. Они не мыслят, следовательно, они не существуют, что ли? Ага, как бы не так. Еще как существуют. Существуют, низвергая этим торжество разума, провозглашенное древними греками, или римлянами, как их? Не люблю античный период.

Вскоре мы проехали синюю табличку «Кедрянка». Я открыл портфель, чтобы достать из внутреннего кармана крупную купюру для водителя (в бумажнике не было вообще ничего), и в руки мне попался тюбик с зубной пастой. Нет, ну вы представляете — я им так и не воспользовался. Вечером ведь сразу заснул, а утром элементарно забыл почистить зубы. Знал бы, что так получится, не покупал бы пасту в Москве. Все наперекосяк.

Божье попустительство, говорите...

Чей?

Яблок в этом году — ни на безмене взвесить, ни на одной легковой машине увезти. Горы их. Горы. Везде. Мама все время подсовывает мне эти яблоки, мотивируя неизбывным: «Пропадут ведь!» Я ей — «Ты бы сама их ела!» — прекрасно зная, что она и сама ест — в сыром, так сказать, виде, и пироги печет, и компот варит, и, и, и… Я каждый раз соглашаюсь, беру приготовленное, и тут мама делает контрольный: «В конце концов, Валере полезно». Кто бы спорил. Полезно.

Валере сейчас вообще все натуральное полезно. Возраст такой у человека — маленький еще. Хотя, конечно, уже давно не «грудник». Но пищеварение, зубы, сами понимаете. Поэтому я, в принципе-то и не сопротивляясь нисколько, тащу очередные килограммы домой. Жена с ироничной улыбкой наблюдает, как я разгружаю пакет, но она усмехается не из-за того, что свекровь вновь прислала яблоки, а потому, что я уж больно потешно ворчу на них. «Ур-ра! Опять яблоки!» — восторгается Валера, если в тот момент оказывается на кухне.

Валера, на всякий случай, девочка. Валерия то есть. Лера. Моя мама просто тает от умиления, когда видит Леру. К счастью, до мерзкого сюсюканья доходит редко. Теща моя тоже от Леры без ума. Ну и сама жена, разумеется, очень сильно любит дочку. А я?..

Еду домой. От мамы, да. В тот раз тоже ехал от мамы. Естественно, без яблок. Я никуда не торопился, но и предполагать не мог, что самый обычный вечер может стать вечером самым необычным и в определенном смысле — фатальным.

Это было довольно давно. Тогда жизнь была значительно более планомерной — потому что не было сотовых телефонов. Сейчас, из-за неминуемой достижимости каждого отдельно взятого человека (и возмутительности факта, что у человека мобильник может быть отключенным — «Почему?! Я же звоню!»), планы могут меняться по три раза в час, а тогда любые события чаще всего происходили по предварительной договоренности. Исключения, конечно, бывали. Такое вот исключение меня и настигло в пустом троллейбусе, ехавшем по Стрельбищенскому переулку в сторону Шмитовского. Исключение зашло в средние двери рогатого, недовольно втянуло воздух (после уличного морозца запахевич в салоне, правда, был плохеньким) и тут же увидело меня. «Дядя Боря!» — возопило исключение так громко и внезапно, что водитель троллейбуса вздрогнул (я заметил) и посмотрел на нас в зеркало, но в этот момент повода для тревоги уже не было — я дружески обнимался с исключением, именуемым дядей Мишей. Дядя Миша, мой средней давности приятель, с которым мы нередко пили, ехал домой как раз пить — водку и стал зазывать меня с собой. Я не то чтобы не сильно хотел. Скорее, я даже обрадовался дядимишиному предложению. Но для приличия решил поотказываться вначале, чтобы сделать дяде Мише приятное, в итоге согласившись. И все произошло так, как я быстренько задумал — я несколько раз повторил: «Да домой мне надо… завтра на работу…» В итоге дядя Миша, в чьих глазах блеснуло отчаянье, неожиданно вспомнил: «Так ты ж не работаешь!» Я смешался (дядя Миша не ошибся), и тут он присовокупил: «Да и воскресенье завтра, что ты вообще!» Я, пропустив второй удар, сдался: «Хорошо! Едем!» Михаил расцвел: «Вот ведь молодец какой! Люблю таких молодцов. Я и сам молодец».

«А чего тебе хочется к водке?» — спросил он дома, глядя в холодильник и на глазах грустнея. «Полагаю, что у тебя ничего нет», — ответил я и увидел, что дядя Миша всерьез замялся — то есть я угадал. По первой мы выпили сразу, как вошли — и выпили безо всего, а потом Миша отправился к холодильнику. «Ну, тогда выпьем за отсутствие закуски», — сказал я, и мы это сделали. Налили еще. «Послушай, дядя Боря, но ведь мы так не продержимся долго. Надо звать на помощь». — «Надо бы. А кого?» — «Женьку щас позовем!» — Миша явно пришел в восторг от своей же идеи. «Женьку? Не знаю, кто это». — «Да, не знаешь, тут рядом живет, минут через десять будет», — бормотал он, набирая номер. «Женька! — радостно заорал дядя Миша через полминуты. — Что делаешь? Хочешь водки? Тут Борян зашел. Ну Борян, да. Помнишь, я рассказывал как-то! Он еще однажды в метро обгадил вагон! (Если бы я был трезвым, начистил бы Михе рыло за такие рассказы, пусть и правдивые.) Помнишь? Короче, принеси нам хоть какую-нибудь закуску и приходи! Любую, любую. Сойдет картошка, сойдет. Ждем! Счас придет», — доложил он, положив трубку.

Мы с ним успели выпить еще по одной. Хрюкнул звонок — пришел Женька. Миша попросил меня открыть, что я и сделал, хотя у меня взгляд уже фокусировался не очень хорошо и я лишь с третьей попытки повернул ключ. На пороге стояла... девушка, как мне показалось — совершенно обычной внешности, но все-таки девушка. «Привет, я — Женя», — представилась она. «Э-э, привет, Борис», — отрекомендовался я, забирая сумку, из которой восхитительно пахло горячей вареной картошкой. Может, запах мне нравился только лишь потому, что желание что-нибудь съесть было довольно сильным. В любом случае, целая кастрюля закуски, пусть и однообразной, была очень кстати.

Потом последовало еще несколько тостов, которых я не помню. Скорее всего, пили за профессиональные достижения — за мои чертежи, за дядимишины статейки и за что-то Жени. Может, ей самой тосты были и не нужны, но у нас с дядей Мишей успела выработаться привычка — пить осмысленно и вдумчиво, а не просто опрокидывать стакан за стаканом с глупой формулировкой «Ну, будем!». Некогда мы выпивали за Махатму Ганди, потому что в тот раз сидели в очередную годовщину его смерти, за «мимесис как таковой», за грядущую победу наших над ихними (кажется, речь шла о хоккее). В тот же раз водка «шла» очень легко, и нашей неожиданной подруге было весело, поэтому мы решили особо не усложнять процедуру и просто пили за наши немудреные умения и навыки.

Мы вовсю веселились, и чем больше времени проходило, тем жарче нам становилось. Я встал, пошел в комнату (мы сидели на кухне), открыл окно, подышал и понял, что если сейчас не лягу и не закрою глаза, то скончаюсь прямо тут, у окна, и тогда все равно лягу, а раз лечь придется в любом случае, так зачем же доводить до крайности, вот так, диван удобный, очень хорошо, штаны бы снять, конечно, но не страшно, так тоже прекрасно... Я заснул, и во сне происходили странные вещи — ко мне на кровать легли дядя Миша и Женя, они громко целовались, потом неуклюже разделись и приступили, а я то ли спал, то ли не спал, но почему-то смотрел на них, не отводя взгляда, а они это заметили и Женя сказала мне что-то типа «Давай!», ну, меня даже во сне не надо уговаривать, я тоже разделся до основания и присоединился, и все длилось довольно долго и успешно, и все получали удовольствие, представляете, какой интересный сон мне приснился?..

Утро. Я проснулся, натянул штаны и вышел, влекомый похмельной жаждой, на кухню. Там сидела совершенно незнакомая женщина. Точнее, это была вчерашняя Женя, спасительная вареная картошка, я это помнил краем сознания, но, впервые увидев ее трезвыми глазами, я тут же захотел начать все заново, забыть закуску, водку, идиотские тосты, а главное — свой сон, в котором, к сожалению, кроме моего и Евгении, было зафиксировано еще и дядимишино участие. Женя сидела за столом, на котором стояли бутылки, рюмки и прочее. Она сидела и казалась частью этого банального натюрморта — настолько недвижимой и сумрачной была ее внешность. Одновременно с этим я чувствовал, что мыслями она где-то совсем не здесь и не имеет к окружающему тягучему кошмару особого отношения.

Мы обменялись бессмысленными приветами и вопросами о самочувствии. Помолчали, потом я спросил: «Женя, а ты далеко живешь?» «Нет, минут десять ходьбы». «А, точно, Миша говорил. Ты одна живешь?» «Ага. А ты где?» «Я далеко, в Филях. Давай провожу тебя. Так хочется воздухом подышать». «Пойдем, я как раз собиралась». Она засунула в матерчатую сумку грязную кастрюлю, и мы вышли из квартиры, не нарушив немного надменный сон дяди Миши. На улице я взял ее за руку. Она посмотрела на меня одновременно с удивлением и некоторым (так мне показалось) отвращением. Нечеткое желание совсем нетелесного свойства лишь укреплялось во мне, поэтому я решил сразу же внести некоторую ясность, хотя голова еще работала плохо и получилось не совсем складно: «Слушай, ты не думай, я просто провожу, заходить ни к чему». Я это произнес, и у меня тут же возникли варианты ехидных женских фразочек, которые могли последовать в ответ (к примеру — «А что, тебя кто-то зовет?»; в этом случае я просто взбесился бы). Но Женя голосом не отреагировала, хотя она, безусловно, меня услышала и поняла. «Ты не замужем?» — спросил я. «Не-а». — «А чем занимаешься?» — «Да безработная я. Летом институт закончила, МАДИ, и с тех пор все никак». — «Слушай, как похоже, я точно так же!» — воскликнул я, и мы почему-то засмеялись. Дошли до ее дома. «Пока», — сказал я. Она махнула рукой, но ничего не сказала. И с места не двинулась. «А ты... вот так к Мишке часто заходишь?» — не стоит уточнять, как сильно этот вопрос меня мучил

последние полчаса. Она взглянула на меня, но уже без отвращения, как будто виновато. «Второй раз. Мы знакомы всего пару недель». Голова моя закружилась. «Но ведь это неправильно!» Она еще помолчала, а потом ее прорвало: «Что ты кричишь! Может, и неправильно, но кому я нужна-то? Да никому. А так хочется иногда создать иллюзию. Что нужна. Вот позвонил он вчера — закуски у вас нет. Все же понятно, какая закуска вам нужна! Но я уцепилась за это, мне так одиноко сейчас, дома никого, мама уехала, денег нет, жениха нет, ничего нет. Кошка — и та умерла в январе. Кому я нужна?» — повторила она. Я взял в руку комок снега и приложил ко лбу. Стало чуть легче. «Мне. Кажется, что мне». — «А если тебе, то…» Мы опять замолчали. «Ты не ходи к нему больше», — попросил я сипло. «А ты ко мне будешь ходить?» — «Буду». — «А ты сможешь? Зная, что это все было?» Я решил ответить честно: «Не знаю, сам думаю об этом. Но надо бы поработать над собой». — «Зайдешь сейчас?» Я испугался. «Лучше завтра, надо выспаться, да и денег у меня сейчас нет». — «А завтра что, будут?» Мы опять засмеялись. «Ты точно придешь?» — спросила Женя. «Обещаю. Завтра. К вечеру». — «Около шести?» — «Около шести». Мы поцеловали друг друга в щеки, и она зашла в дом. Я повернулся и направился к остановке. «Квартиру-то не спросил», — услышал я. Обернулся — Женя, смеясь и помахивая сумкой с кастрюлей, стояла у подъезда. «Забыл! Какой номер?» — «Двадцатый». — «Запомнил! У меня двадцать первый!»

Так получилось, что пункт «визит к Жене» тут же превратился одновременно в обязательный и фоновый. Я постоянно сознавал его, визита, приятную неизбежность, но почему-то времени обдумать ситуацию я себе не выделил. Пришел домой, помылся, лег спать, потом ко мне пришли друзья, мы еще выпили, а там и ночь настала, и я опять дрых, а затем утро, попытки приготовить обед, в общем, пока суд да дело, настал вечер и я понял, что вот сейчас надо выходить из дома и ехать в гости — к девушке, которая мне так понравилась, но которую я совершенно не знал, как воспринимать. Поэтому я, заходя в подъезд, спросил себя — а чего ты хочешь от Евгении? Если «одного», то это все может случиться уже минут через пятнадцать. Если не быстрее. А если чего-то еще, то надо себя сдерживать и вообще проявить уважение к своим принципам, которые я столь же охотно декларировал, сколь и нарушал при каждом удобном случае.

В итоге я перестарался. Мы с Женей просидели до трех утра, пили чай и кофе (спиртного не хотелось), разговаривали и болтали, она мне читала стихи (правда, я забыл, чьи), а когда мы легли спать, и я вознамерился «начать», вдруг сам уснул и очнулся около полудня. А делать «это» в светлое время… Постеснялся. Затем мы два дня не виделись, хотя звонили друг другу. Потом я сильно простудился и болел неделю, а она приходила за мной ухаживать, и нам было запредельно хорошо просто потому, что мы рядом. Не помню, когда именно, но в один из «больных» вечеров мы, наконец, заговорили об обстоятельствах нашего знакомства. Не знаю, закономерно ли это или противоестественно, но мы до той поры, дней десять, вечер первой встречи не обсуждали вообще.

«Тебе, конечно, значительно тяжелее, чем мне», — закрыв глаза на несколько секунд, сказала Женя. Я молча вскинул брови — она проговорила субъективную и самодостаточную, не требующую комментариев вещь. «Хотя, как сказать, — продолжила она. — Тебе нужно принять меня, а мне — себя, да еще и бороться с чувством сильной вины перед тобой». Я поморщился — Женя излагала не совсем верные, на мой взгляд, мысли. «Прошлое всегда давит, но оно всегда прошлое, — сказал я. — И в некий момент у двух людей возникает настоящее, совместное настоящее. И дальше уже все зависит от них самих. Если они умные, то они оставляют прошлое позади и не позволяют привидениям определять их дальнейшую жизнь. А у нас с тобой…» Женя смотрела на меня внимательно и невесело. «В миг, когда прошлое соединилось с настоящим, мы были рядом. Возмутительно близко. И ты виновата, и я. В равных долях. И ты, и я одинаково неприлично себя вели в тот вечер. Не стоило вместе идти по мостику между прошлым и настоящим. Но мы прошли — оба, одновременно. Поэтому не след говорить, что ты виновата передо мной, а я — нет. Неправда. А вот что дальше делать — понятия не имею», — заключил я. «Умный ты,— хмыкнула Женя. — Нарисовал мрачнейшую картину и свалил в кусты». (Вместо «свалил» Женя употребила другое слово.) Вскоре она ушла, в большой печали и недоумении.

И в тот же вечер, когда я остался один, меня сплющило от боязни остаться без нее, без Жени. В самом деле, велика ли беда — познакомиться таким древнегречес-

ким образом. Все-таки главное — что в грядущем. А там различимо все только хорошее, потому что мы с Женей одно, другое, третье и даже четвертое (тут вместо числительных следует вставить до предела наскучившие признаки радости от разноаспектного совместного пребывания женщины и мужчины).

Поэтому, когда она пришла ко мне на следующий день, я безо всяких ухищрений предложил более не находиться порознь. Женя встала, походила по комнате, потом села обратно ко мне на кровать и спросила: «Ты уверен, что наше желание жить вместе — не обман?» Я удивился: «О чем ты? Кто кого обманывает?» — «Ты — меня, ты — себя, я — тебя, я — себя, а еще мы — друг друга». Я честно подумал и ответил: «Полагаю, что это не обман, а все так и есть». «Верю. Я согласна», — немедля сказала Женя.

Сразу же все устроилось так, что мы с Женей стали жить на два дома — потому что следить за своими обиталищами нужно было регулярно, и нередко случалось так, что мы приезжали вечером в одну квартиру, чтобы полить цветы и проверить, как себя ведут одряхлевшие краны в ванной комнате, нам становилось лень уезжать, мы оставались ночевать, а наутро лень овладевала нами сильнее, и мы сдвигались с места, лишь когда необходимость побывать в другом доме просто-таки не давала спокойно спать.

Мы жили очень хорошо, мы мало друг от друга требовали, а отдавать старались все что можно. Как выяснилось на практике, эпизод с дядей Мишей никак не сказался на нашей любви. Правда, знакомством с самим Михаилом пришлось пожертвовать — в адрес Жени у меня не было ни единого упрека, а вот его видеть было не очень приятно — причем нам обоим. Но такое случается и при других обстоятельствах. Люди теряются, что уж.

Ни Женя, ни я так никуда работать и не устроились. Мы бездельничали так, как могут бездельничать только двадцатидвух-двадцатитрехлетние люди — весело и равнодушно, вообще не думая, что будет послезавтра, и уж тем более — через неделю. Мы ели редко, покупать новую одежду даже не думали, а на троллейбусах ездили без билета.

Мы были до неприличия счастливы. Женя даже вывела формулу нашего личного благополучия — «не планировать и не мечтать». Я был с ними — с Женей и формулой — полностью согласен. При этом в наших отношениях, разумеется, не было никакого намека на «свободную любовь». Нам уже хватило. Мы были подчеркнуто верными друг другу, потому что это нам было крайне необходимо.

Прошло полтора месяца.

Однажды днем Женя вдруг встала и начала одеваться. «Куда собираешься?» — спросил я. «Мне надо к врачу. Я записана». «К какому?» «Борян, подожди пару часов, я приду и все расскажу. Ладно?» Я занервничал. «Ладно-то ладно, но мне это не нравится». Женя виновато улыбнулась и, ни слова не говоря, вышла. Я поплелся к окну и через стекло тупо смотрел на Женю — необернувшуюся. Потом лег на кровать и лежал без движения час, два, год. Наверное, задремал. Дверь открылась, Женя затопала ногами, сбивая с обуви снег. Я встал и пошел в коридор.

Есть такое выражение — «лица нет». На Жене, в Жене не было ничего. Ни глаз, ни лица, ни души, ни сердца. Все исчезло. Женя стояла и топала. Топала долго, истерично. Архетипично Женя топала. Потом потеряла равновесие и чуть не упала. Я поддержал ее за руку, помог разуться и снять пальто. Проводил в кухню. Женя села и закурила. Докурила одну и тут же зажгла вторую.

«Не знаю, что теперь делать», — минут через пять сказала она. И снова онемела надолго. Я ждал. «Боря, случилось ужасное». — «Ты смертельно больна?» — «Нет, я здорова». — «Тогда...» — мурлыкнул я, приглашая Женю продолжить. Она с отчаянием в глазах посмотрела на меня: «Я жду ребенка». Я изумился и воскликнул: «Прекрасно! Ты боишься, что у нас денег не хватит?»

«Восемь недель», — сказала Женя. «И что?» — спросил я. «Восемь недель, Боря, восемь», — повторила она.

Мы посмотрели друг на друга и одновременно в уме произвели подсчеты, я — впервые, Женя — не впервые. В моих глазах, судя по всему, полыхнул ужас, и она это подметила.

«Чей?» — вопрошал мой взгляд. «Чей???» — орал я безмолвно. «Чей, чей, чей?!» — в одну секунду вся моя жизнь сконцентрировалась в этом вопросе.

«Не знаю», — ответили мне пальцы Жени, судорожно вытаскивающие третью

подряд сигарету. «Не знаю», — сама ситуация иного ответа не предполагала. «Не знаю», — сказала, наконец, Женя вслух.

В супружеской жизни (и плевать, что мы официально не были женаты) одна из самых сложных вещей — преодолеть барьер молчания в ситуациях, когда обеим сторонам все ясно, но выскабливать из себя слова «на тему» сложно до безумия.

«Прости», — вполголоса сказала в ту же ночь Женя. Я не ожидал, что мы заговорим о случившемся так быстро. Поэтому ответил далеко не сразу. Не было резона ей говорить, что она не виновата или виновата, но я ее прощу. Смысла в этом не было, как и в предыдущий раз, когда мы обсуждали перипетии нашего знакомства. Новая ситуация была совершенно вне категорий вины и прощения. Надо было выступить строго по делу, а не разводить никчемные тары-бары. Но пока я чертил в уме фразу, Женя сама продолжила: «Я читала, что сейчас можно установить отцовство. Как-то очень хитро, но можно». Это было смешно и неосуществимо, но Женя первая произнесла вслух ключевое слово — «отцовство». Я был ей благодарен и не замедлил ухватиться за выпростанную Женей руку. «Можно, да, я тоже читал, якобы новое изобретение, но в любом случае я не уверен, что в Москве это делают — раз и что у нас хватит на эту ерунду денег — два. Хотя, конечно, можно продать квартиру», — на всякий случай я не уточнил чью. Женя вздохнула: «Ты прав».

Я видел и слышал, чувствовал на ощупь и обонял, что она, хоть и лежит сейчас, как всегда мягкая и теплая, напряжена до умопомрачения и ожидает худшего. А играть ее чувствами я не хотел. Поэтому произнес сразу, как сумел хоть как-то выстроить фразу в голове: «Хорошо, что мы с Мишаней худые и оба брюнеты». Женя едва не подскочила на месте. Она будто не поверила своим ушам: неужели я сказал такое? Но да, я имел в виду именно то, что она поняла. Поэтому уточнил: «Я не хочу выяснять и не буду. Не беспокойся». «Ты… будешь считать ребенка своим?» Но я уже был на пределе. «Этого я не сказал и сейчас точно не скажу. Пожалуйста, засыпай. Все будет в порядке». К моему удивлению, через минуту Женя спала. Я внимательно переложил ее голову на подушку и пошел на кухню. Мне было скверно. Я курил и рассуждал. Женя — да, ни при чем. А ребенок? Казалось бы, тем более. Но априори я так не считал. «Чей?» — терзался я, не представляя, сколько раз в дальнейшем я себе задам этот вопрос. Шансов — ровно половина. Ситуация, как с котом Шредингера. Только там коробку надо было открыть, чтобы ознакомиться с исходом. А тут ничего не откроешь и не узнаешь. Разве что родится мальчик и через пять—семь лет у него проступят первые черты — мои или… Или… Меня аж передернуло. Враждебное чувство зарождалось в адрес человека, чьи перспективы в этом мире выглядели еще довольно сумрачно. Но у меня за весь период беременности Жени ни разу не возникла мысль об искусственном прерывании оной либо о несчастном случае как о желанном исходе. Новый человек вошел в мою жизнь крепко и сразу, и мне лишь требовалось выработать нужное отношение к нему. Однако прошел не день и не два, пока я — нет, не придумал! — а принял постулат, многим кажущийся очевидным.

Если ребенок изначально был бы чужим, я не мучился бы нисколько. Чужой и есть чужой. Я могу его любить как родного, но он не родной. Я могу его любить больше, чем родного, но он не родной. А тут… Всю жизнь (расстелил я перед собой атлас грядущего) сомневаться, искать схожесть, надеяться и не верить. Непривлекательно! Но совершенно реально. Поэтому я, проблуждав пару недель по оврагам непонимания, подошел к вопросу с другой стороны. Каким будет новый человек, еще неизвестно, но есть «старый» человек — Женя. Для нее-то ребенок при любом исходе не будет чужим. А она — мне? Чем больше времени проходило, тем лучше я ее узнавал и тем крепче любил, невзирая на напряженный — и растянутый во времени! — ход своих мыслей. А раз я люблю ее, я должен схожим образом относиться и к ребенку, который, вполне вероятно, будет моим в той же степени, в какой и Жени, — то есть мне следует полюбить и нового человека. Полюбить честно и открыто. Но, невзирая на искренность чувств, я понимал и то, что от пресловутого вопроса мы не избавимся никогда — ни я, ни Женя.

И не избавились.

* * *

Сейчас Валере семь лет. Вот она, сидит перед телевизором и грызет яблоко — веселая, хитрая девочка. У нее доброе сердце. Валера очень похожа на Женю. С одной стороны, я этому очень рад. А с другой… Впрочем, к чему повторяться?

Рубен Овсепян

Под абрикосовыми деревьями

Роман

С армянского. Перевод Лилит Овсепян

Не дожидаясь, пока хмурое Арцахское небо прояснится и позволит летать вертолетам-бабочкам, Гор повторил легендарное путешествие маминого дяди Валеры и верхом на Ангеле добрался до Армавира, не забыв, проезжая мимо Акналича, указать коню на вековечные владения его огненного отца. Ангел и сам инстинктивно рванулся к озеру, заржал и, если бы всадник дал ему волю, кинулся бы в воду вместе с седлом и снаряжением.

Весть о покушении на президента всколыхнула страну — полицейские, тайные и явные агенты национальной безопасности сновали на дорогах и улицах, войска в полной боевой готовности ожидали команды, пограничники каждые десять минут информировали о ситуации на границе с соседними государствами, небо дрожало от рева самолетов и вертолетов. Оппозиция заказчиков покушения прослеживала в Турции, Россия примечала руку спецслужб США, Запад отмалчивался…

Когда Гор добрался до дому, ошеломляющее известие повторяли по телевизору в шестой раз. Разноглазую дикторшу заменил облаченный в подобающий моменту черный пиджак и завуалировавший черными очками возможные виляния в глазах молодой человек, чей торжественный голос напоминал голос русского еврея Левитана, бесившего в свое время фюрера. В сообщении появились новые детали: замаскированный под садовника террорист и оказывающий ему содействие телохранитель Долдон успели признаться, что они — наемники, а вот кто заказчик, объявлять пока нецелесообразно. Разумеется, в интересах следствия.

Сидевшие перед телевизором Аветик с Овсанной не слышали ржания Ангела во дворе и указаний Гора Енокову немому, взявшемуся ходить за конем. Ошалевший от радости немой приплясывал вокруг коня, гладил его взмокшую гриву и с упоением нюхал свои пальцы. Тоска по коню была у немого. Вдова торговца керосином продала лошадь болтливому езиду из Арагаца, пригнавшего в Армавир овец для бойни, и наказала: прежде чем оседлать или запрячь — искупать лошадь в Бингельских водах, мыть ее, пока не исчезнет запах керосина. «А то если войдешь с ней в отару, ни овечьего мяса не съесть, ни молока не выпить будет»… Арагацкий волк[1] не побрезговал мясом некупаной лошади Енока, ударил прямо в брюхо, выпустил потроха и, пока подоспел езид, удалился с поля боя, прихватив с собой трофей.

Увидев мешок в руках возникшего перед дверью езида, Енокова вдова предположила, что тот мяса принес или головку сыра в благодарность за верную лошадиную службу. Пригласила в дом, отрядила сына в сад за спелыми абрикосами. Езид молча попил кофе, покушал абрикосов, поколол крепкими зубами косточки, по ядрышку расставляя на столе. И постепенно упорядоченная расстановка абрикосовых ядрышек вдруг обрисовала на столе лошадиный череп. Немой набросился на мешок, вытряхнул содержимое, и лошадиный череп покатился по двору.

Окончание. Начало см. «ДН», № 5, 2011.

[1] Арагацкий волк. Арагац — гора в Армении.

— Подумал, это как память, — заговорил, наконец, езид, — может, сохраните...

Высвободившись из объятий отца с матерью, Гор бросил взгляд на голубой подрагивающий экран, и хотя низко летающие вертолеты своими размашистыми лопастями раскачали антенну и исказили изображение, под перекошенным образом террориста, сидевшего напротив следователя, явственно проступало лицо Долдона.

— Долдон — террорист? — рассмеялся Гор. — Театр все это...

Попросил мать приготовить яичницу с помидорами, разулся, стянул с себя носки и ступил в сад.

— Истосковался!.. — растрогалась Овсанна.

«Прощается...» — подумал Аветик.

Избавленного от хурджина и сбруи Ангела Еноков немой увлек к себе во двор, по зову отцовского ремесла впряг в телегу, что долгие годы, увитая вьюнком и плющом, стояла прислоненной к стенке сарая, напоминая остов разбитого корабля, и пытался, круша ржавчину, отворить ворота, запертые со дня Еноковых похорон. Ангел топтался, волоча незнакомую колымагу по двору, тужился, гнулся в коленках, но вьюнок с плющом не давали сняться с якоря, и вековая пыль, затвердев, тормозила колеса. Заглохли колеса, не вращались — скользили по земле. Порожденный фырканьем и ржанием коня запах керосина выманил на балкон Енокову вдову, которая в ответ на видение терла глаза и ждала пришествия оплакиваемого, безнадежно запаздывающего в этот ленивый, объявивший засуху день. Застывшим, неподвижным сном было видение, сродни растрескавшейся фотографии — ни опровергнуть, ни подтвердить. То ли был Енок, то ли не было. Телега, лошадь, запах керосина подсказывали, что есть, между тем его не было. И покуда отворялись ворота, покуда глаза Еноковой вдовы в последний раз зажмурились, чтобы ни утвердить и ни опровергнуть видение, покуда с перепачканным лицом Еноков немой, прихрамывая, брался за узду, Гор, опередив Аветика, обхватил Ангелову шею и, задыхаясь от быстрого бега вприпрыжку, не мог восстановить дыхание, чтобы как следует — и в мать, и в отца — обложить друга. Обманутая неясным видением вдова прослезилась, пытаясь скинуть висевший на балконном столбе мешок, но чтобы отрезвить немого, требовалась либо гроза, либо пинок. Яростно встряхивая поводья и хлеща коня по бокам, немой мысленно отправился на улицу и навострил Ангелову голову на клич удода, исходящий от телеграфных столбов, от тополиных макушек, от водонапорной башни, от обломков развороченной Сардаровой ограды[1], от холмов погребенной столицы, от виноградных садов, от колючего аромата пшатовых[2] деревьев... Кличем несется удод, а не яйцами... Кладет яйцо и убегает, кладет яйцо и убегает... Яйца кличут, а его нет — он пересек пограничную речку и шелестом крыльев разбудил дрыхнувшего под кустом турка-аскяра. Трет аскяр воспаленные глаза — опять, что ли, рехнувшийся армянин шагнул в реку или угнанную скотину привезли на продажу?.. А лягушки... Десять, двадцать, сто, тысяча... Выползли с кваканьем из сухих ручьев, скачут... куда?..

Раскраснелся Еноков немой, вспотел, нечленораздельные звуки издавал, и звуки эти, иногда удобно усаживаясь рядышком, сливаясь в осмысленные сочетания. Так в устах лопочущего в люльке младенца формируется человеческий язык. «Хо алла, хо алла...», — вопил Еноков немой вслед за спешившими к Араксу лягушками и задыхался, погибал от невыносимой боли в распухшем горле — как охваченные паникой жители горящего дома, застрявшие в горле слова толпились, не догадываясь, что к спасению следует идти по одному, не цепляясь друг за дружку.

Грубо вырвав вожжи из рук немого, Гор обхватил потную шею друга и, дыша в волосатое ухо, прошептал:

— Скажи — керосин.

— Ке-ро-син, — прогромыхал Еноков немой.

— Скажи — телега, — воодушевился Гор.

— Те-ле-га, — завопил Еноков немой и, забыв про хромоту, спрыгнул с телеги, покатился кубарем к колодцу, опрокинул ведро с водой себе на голову. И теперь уже из-под холодного водопада кидался словами, без команды; соблюдая, однако, пери-

---

[1] Стена Сардарова монастыря.

[2] Пшат — финик. Китайский финик, растет в Китае, Закавказье и Средей Азии (*примеч. ред.*).

одичность подчинения подсказкам. Аветику казалось, что Гор мысленно, на расстоянии все еще продолжает командовать, задействовав ту самую свою способность, что когда-то заметил волшебник из цирка.

— Не подумай, что я добровольно пришел разбудить твою дочь. Какое мне дело до того, кто после представления какие глупости совершает? Я сам к концу каждого представления превращаюсь в тряпку, мне поспать надо, по меньшей мере, часов десять... Если не посплю — мозги рассыплются...

— Как у Вольфа Мессинга? — спросил Аветик.

— Да, как у него. Ты был с ним знаком?

— Дружбу не водил, — признался Аветик, — но на представлениях бывал...

— Сын твой — нашего племени, — сказал волшебник, — он меня заставил сесть в автомобиль, взорвать колесо полицейской машины, заставил в эту ночь не поспать и не умереть...

«У-дод, — выкрикивал Еноков немой из-под водопада, — яй-цо, жа-ба, то-поль, ру-чей, п-шат, п-шат...».

Вода, омывающая послед новорожденных слов, побежала, издавая запах засухи, по двору, проникла в борозды заглохших колес телеги, свела с ума сомлевших кур и воробьев, поклевывающих влагу, сокрытую в канаве, заросшей мятой. Не ведающая о чуде Овсанна накрыла в саду стол; восходящий свет заката переместил «Под абрикосовые деревья» построившихся гуськом вдоль борозд кур, выпачкавших клюв воробьев, Енокову вдову, коленопреклоненную перед покоившимся в мешке лошадиным черепом, и сына ее с расковавшимся языком, которого, словно промокшего жеребенка, облизывал Ангел.

— Уходи, — сказал Аветик сыну, когда они остались под деревьями одни. — Доедай свою яичницу и уходи... Пока не пришли — уходи... Беги... куда глаза глядят... У этих больше нет Сибири, нет ссылки... У них — битком набитые тюрьмы... Мест для каторжных работ тоже нет, потому что вообще работы нет... Сейчас заключенного выгоднее умертвить, чем содержать...

— Меня в лесу поджидают, — сказал Гор, — бежать мне некуда...

— Разыскивая тебя... не тебя — твой труп, я тысячу раз себя проклинал за то, что не сделал из тебя домашнего мальца, — признался Аветик. — Или что не вручил волшебнику из цирка. Знал ведь, что на лбу нашего рода мелкими письменами зловещее тавро выжжено. Нестираемое клеймо... Почему я тебя не запугал, к абрикосовому дереву не привязал, не дал в руки лопату, не сказал — вот он, твой мир? Велик он или мал, богат или беден — вот он. Копай, сей, сажай, поливай, ешь и удаляйся от дерева, насколько цепь позволяет... Да, именно так — как дворовая собака. За двором ведь — охота на человека... Трупоторговля... Я втайне от твоей матери дом с садом заложил, чтобы твой труп выкупить... Ты воевал с турком, турок — с тобой, а твои единокровцы с врагом торговались, во сколько оценить твой труп...

— А мой дед тебя запугивал? — спросил Гор. — К дереву привязывал?

— Жизнь, прожитая дедом, сама по себе уже была пугающей... Растоптали, выжали, никаких соков жизненных не осталось... Связываться с ним короткой цепью было опасно, и я попытался цепь оборвать... Потом оказалось — всего лишь растянул. Чуть-чуть...

— Считай, я тоже растягиваю... чуть-чуть... Ты, наверное, и не догадываешься, до чего прочной цепью я привязан к твоему абрикосовому дереву. Я никому не рассказывал и тебе сейчас скажу без охоты — я боялся, что пережитое мной, увиденное расценится как мальчишеский лепет, подпитанный дешевой литературой, и оскорбит мои чувства... Что же мне делать, отец, если прежде, чем заметить Ангела, выискивающего среди трупов теплый дух и теплое тело, я видел наш сад, наши абрикосы, маму, тебя?.. Я знал, что не умру, и важным было это мое сознание... даже если бы умер... Я знал, что вы со мной и не дадите мне умереть... Если я хоть раз в жизни и говорил с Богом, то говорил в этот день... Мне, кое-как распластанному, как хурджин, на крупе опустившегося на колени Ангела, вдруг почудилось, что воспаряю к Богу... Не как душа, а как тело, и в таком совершенном парении, какое демонстрирует тренированная чайка. Его я не видел, но чувствовал присутствие, дыхание, оно было

повсюду — справа, слева, сверху, снизу... Я был словно окутан его присутствием. «Отче наш» — единственная молитва, все остальные — это кощунственное старание приобщить Бога к нашим земным грехам, происходящее ежесекундно во всех уголках мира... Я не молился, я разговаривал... «Господи, — сказал я ему, — сотворенным тобой величайшим чудом была встреча моих отца с матерью в пустыне... Это ты пожелал, чтобы змея не убила отца... Это ты нашептал моей матери-русалке, чтобы вышла из озера и окропила горстью воды лицо отца, безжизненно лежавшего на прибрежном песке...» Знаешь, отец, какое счастье чувствовать, что ты — плод любви... У меня есть это чувство, и я сладостно привязан к вашей любви. А ты говоришь — бери ноги в руки и беги... Куда мне бежать и почему?.. Разве эта земля — не моя?... Эта страна — не моя?.. Сбежать, чтобы трупоторговец завладел моим имуществом? Видал я, отец, этих матерь-е...в. Предлагали тысячу долларов за каждый труп... С нами договаривались, но в уме нас тоже за трупов держали... Ангел — даром что конь, всего лишь конь — доставлял в больницу с поля боя смертельно раненных, а эти предлагали в заранее вырытых, помеченных ямах припрятывать уготованные на продажу тела... наши ли, турка — все равно... Успели вырыть только одну яму... Для себя...

— Вы их расстреляли?

— И глазом не моргнули. До сего дня их и не разыскивает никто. Из какой такой ничейной дыры уродились?.. Не с этой они земли — инопланетяне... Ангел — с этой земли, они — нет.

Аветика душило волнение, от соленого зуда першило в горле, он вопреки обыкновению одним глотком осушил стакан водки и с трудом сдержал желание сжать, до хруста костей, сына в объятиях. «Сукин сын, — подумал Аветик, — я ведь перед тобой и ради тебя присмирел... Перед другими я не такой уж и смирный... Я в Арцахе выдержал — разыскивая твой труп, я в Степанакерте выдержал — при виде твоего полуживого тела, свисавшего с крупа плетущегося к больнице коня... С чего мне еще сломаться?.. Вот только почему Господу из всех поповских легенд больше всего по душе притча про Иова и почему он для очередной постановки в этот раз выбрал меня?..»

— Я выдержу, — подытожил Аветик. — Боюсь, твоя мать не выдержит.

Овсанна внесла кофе, радостно сообщила, что в соседнем дворе Еноков немой обрел речь и по слогам слова произносит, будто словарь читает.

— Теперь, раз язык развязался, и ум восстановится, правда? — спросила и, расценив по-своему молчание мужчин, поспешила ретироваться, прежде чем прогонят. — Хочешь, этой ночью постелю тебе во дворе?

— Да, — сказал Гор, — во дворе постели.

От прежней русалки неизменными остались только глаза — черные и миндалевидные, и уши, похожие на маленькую морскую раковину. «Ты будешь красивой бабушкой, — сказала матери шестилетняя Сона, — потому что у тебя маленькие ушки». Волосы поредели, кожа стала бледной, пальцы на руках по нескольку раз в день, особенно после стирки и мытья посуды, чернели и словно укорачивались. На открытых частях ног голубели набухшие вены.

В больнице, когда Гор открыл глаза и проследил взглядом за продолжением воткнутой в запястье трубки, полной красной жидкости, обнаружил женскую улыбку и черные глаза-миндалины на белоснежной подушке соседней кровати. «Здравствуй, ягненок, — сказали глаза-миндалины. — Добро пожаловать в наш мир». Не словами говорили черные глаза-миндалины и не звуками — постигнутое через ставший пуповиной кровопровод было импульсом, доступным лишь зародышу, понятным лишь зародышу, расшифрованным без труда и предварительных знаний. Изнуряла не расшифровка; изнуряла, клонила ко сну иллюзия присутствия при собственном рождении и еще — требующий разрешения вопрос: как случилось, что связывающая его с матерью пуповина, вместо того чтобы оборваться, продолжает функционировать? Он уже спал, когда в палату вошли иностранные журналисты и узнали Овсанну.

В перевозящем бочки с топливом вертолете Горовы друзья обеспечили местечко для Овсанны, прочие места заняли иностранные журналисты. Невероятный гул

вертолета, который почему-то проникал внутрь, а не рассеивался в надгорном небе, вынуждал журналистов не задавать праздных вопросов втиснутой между бочками и тяжело переступающей с ноги на ногу женщине. А воздушные ямы с болтанкой загнали по футлярам фотоаппараты, снимавшие то Овсаннину голову, то видневшиеся в иллюминаторе большой и малый Арараты. Вертолет ловко лавировал между снарядами, похожими на преследующих жертву оводов, резко перемещался точно в момент, когда раздавался очередной выстрел. Бочки с горючим усиливали тревогу, делали катастрофу неизбежной, хотя в сравнении с открывшейся в памяти панорамой Бакинских нефтяных вышек были всего лишь ничтожными наперстками. «Вай, какие мы несчастные!» — застонала Овсанна, схватившись за сердце, — ей показалось, что сердце вылетело из гнезда, осталось наверху, а она вот падает в яму. Падение было долгим, неотвратимым, словно могучий магнит земли пытался нанизать на Бакинские нефтяные вышки трепыхавшуюся в гравитационной сетке металлическую бабочку. Потом сердце вернулось в гнездо, и опустившийся в ущелье вертолет отныне был недосягаем для назойливых оводов. Высунув голову из кабины, победно улыбался летчик: «И в этот раз ускользнули!»

Иностраные журналисты благоговейно возложили на Овсаннину кровать коробки с шоколадом и с виноватыми лицами удалились из палаты, не задавая вопросов. Словно нечаянно увидели открытую материнскую грудь, дающую младенцу молоко.

— Постой, постой, — запоздалые мурашки пробежали по телу Аветика, — откуда тебе известны подробности нашей с матерью встречи? Я тебе ничего не рассказывал. Это ты рассказала? — набросился на Овсанну. — Откуда он знает, что ты пригоршнями брызгала мне воду на лицо?

— Пригоршнями? — улыбнулась Овсанна. — Нет, я не рассказывала... Косо не смотри — я правда не рассказывала... Пригоршнями?..

— Да, пригоршнями. — Гор принял вызов и обрадовался, что разговор, сменив курс, не увяз в прежнем русле и трясине обвинений, где не отыщешь истины, а найденная случайно будет хлипкой и замаранной. — Потом, когда он стал приходить в себя, ты нырнула в озеро. И долго плыла под водой.

— Верно, — опешила Овсанна. — А когда вынырнула и обернулась — на противоположном берегу никого не было.

— Но ты уже знала, кто был лежащий на песке без сознания. И уговорила подруг сходить вечером в аул, поглядеть и на пойманных змей, и на потерявшего сознание.

Спасаясь от змей, песчаного цвета лягушка покинула болото, чудом пересекла шипящую раскаленной сковородой площадь и запрыгнула в Аветиково жилище, где дверь никогда не закрывалась ради сквозняка. Сквозняк, если и нагонялся, был снующим из пекла в пекло воздушным потоком — обжигающим, колким, а чтобы затворить дверь, надо было ежедневно расчищать порог. Каждый божий день. Есть ли ветер, нет, все одно — нашествие сыпучего песка неотвратимо. Неотвратимо и непредсказуемо. Непредсказуемо, однако ошеломляюще результативно. Расчистишь порог утром, к вечеру набегает бархан, вечером расчистишь, утром вырастает новый бархан. Песок — содержание пустыни, бархан — форма. Песок не уймется, пока не обретет форму.

Лягушкин след у подножия бархана не стерся, и туркмен Тадж, двусмысленно улыбаясь, подмигнул Аветику: «У тебя гости».

Песчаная лягушка уже освоилась в жилище и выпучила на Аветика глаза так, будто она хозяйка и вот вынуждена принимать незваного и нежеланного гостя. И присела сообразно случаю — как мяч в ожидании удара. И полетела бы наверняка с одного меткого пинка в открытый дверной проем, поверх бархана в пустыню, если бы Тадж своевременно не удержал Аветика, не убедил, что судьбе пинка не дают.

— Лягушка хранит в помещении прохладу и чистоту, — сказал Тадж. — Уничтожает насекомых и, самое главное, — улыбнулся той же двусмысленной улыбкой, — если привязывается к хозяину, то в один прекрасный день лопается, как шарик, и превращается в чудо-красавицу.

— Твоя жена сначала была лягушкой, да? — сострил Аветик и отведенную для размаха ногу вернул в исходную позицию.

— Нет, — огорчился Тадж, — нашей домашней лягушке я не приглянулся. Ушла в дом к Курбану. Там и лопнула.

Прервав работы по подъему и изучению состава соленых и пресных вод по всей территории обширной долины реки Узбой, умершей столетия назад, Аветик, полулежа на раскладушке, тянул водку прямо из горлышка и наблюдал, как лягушка, встав на задние перепончатые лапы и упершись в стену передними, ловит муравьев и букашек длинным эластичным язычком. Язычок буквально вскидывался на жертву и с той же скоростью возвращался, оставляя в соответствующей точке на расстрельной стене бесследную пустоту. Шлеп — букашки нет. Шлеп — и муравья нет. Такое было впечатление, что язычок сам заглатывает жертву. И убивает, и заглатывает. «Вылетевшая из нее красавица тоже станет жертву и убивать, и заглатывать?» — подумал Аветик и попытался выжать из перегруженного в этот час эфира глохнущий голос Еревана. Соседние радиоволны со всех сторон стиснули голос Еревана, ввергли в арабо-, тюрко-, русско-, англо-, франкоязычное вавилонское жерло, в котором по едва уцелевшим редким словам ты должен был составить осмысленные предложения. Эфир повторял картографированный облик планеты: нескладным, зажатым, сдавленным кусочком земли была Армения, рожденные в ее горах родники, сбегая ручейками, объединялись, чтобы, так и не став большой рекой, вливаться в чужие моря и орошать чужие земли. Толком не раскинувшиеся горные хребты хороводились в иной стороне... Природа цельна, гармонична — переходы от гор к равнине, от воды к суше плавны и гладки, а рисованные людьми карты кромсают землю и душу... Название горы — твое, гора — не твоя. Твое и не твое. История — твоя. Настоящее — чужое. Будущее — Бог знает, чье... Душа — твоя, материя — чужая. У души отобрали материю, у материи — душу. С ощипанными крыльями душа до неба не достанет, замешанная на грехе материя родит внизу чудовищ...

То ли самцовая гладкость пустой бутылки, брошенной на пол, понравилась лягушке, то ли стеклянная прохлада — распласталась она на сосуде, как неуклюжий наездник, и вытянула круглую голову к горлышку, где испарялись последние капли водки. «Опьянеешь, сукина дочь, — рассмеялся Аветик, — веди себя прилично, коли намерена для меня лопнуть». А учитель истории Трдат барабанил костлявым кулаком по истрепанной тетради на столе и кричал: «Вопросов не задавайте... Вопросов не задавайте... История — это политика, а политика — обнаженный меч... Изнутри историю поедает миф, снаружи — политика... Вопросов не задавайте...». А в лагере змееловов наступил час лягушки... Ярмарка, восточный базар... На песке разостланы ковры, на очаге, приплясывая, булькает полный мучных нарезок и ломтей баранины котел; выбивающийся из-под крышки с помятыми краями пар пьют комары, сбившиеся в рой. «У меня самого много вопросов, — присмирел учитель истории Трдат. — Но я же их не задаю, правда?..» Дым очага рассеивал рой, пар от бульона приваживал... Не хватало пахлевана... Шута... Обряженный в шутовской тараз[1], учитель истории Трдат мчался в сторону Хоренаци[2] и твердил: «У меня есть вопросы, но я же не задаю, правда?..» Остальных летописцев игнорировал, даже близко не подходил... А бархан у порога нарастал, поднимался, заслонял просвет, затемняя комнату... А мысли одновременно качались и кружились, стирая черты лиц летописцев, проигнорированных шутом... А ноги свинцовые, как в замерший перед коброй момент в камышах... А пары выплюнутого коброй яда еще больше сгущали мрак... А чтобы вылезти на свет божий, надо зарыться в грудь бархана, выкопать тоннель... А вслед Рае, машущей платком из товарного вагона, катившего по голубому мосту, летели камни... А подложенный на рельсы гвоздь, расплющенный колесами, стал клинком, обжигающе горячим — зашипел бы, если на него помочиться... А в беспокойной качке грузовика, возвращающегося со сбора хлопка, при каждом рывке и торможении все дергались и жались друг к другу, особенно парни к девушкам и девушки к парням... Ой!.. И всякий раз мальчишеские пальцы, растопырившись в здоровом инстинкте

---

[1] Тараз — национальная одежда.

[2] Мовсес Хоренаци (Моисей Хоренский) — крупнейший представитель древней и средневековой армянской историографии.

сохранения равновесия, обнаруживали девичьи груди-бутоны... А песчаного цвета головой лягушка, устав от повседневных забот, бесшумно дрыхла, забившись в темный уголок, и не спешила лопнуть... А в утро первого ночного марания хотел со стыда сквозь землю провалиться и не знал, как изловчиться стереть предательский след на простыне... А в разных концах пустыни, по всей долине укрывшегося змеей в песках Узбоя, ребята уже, наверное, уснули... Напились и уснули... Чтобы скорее кончился день... Чтобы скорее наступил новый день... День, суливший еще больше водки...

По разостланным на песке коврам расселись русалки; вокруг, рисуясь, дефилировали змееловы, туркмены, водители, доставляющие в пустыню топливо и продукты. В дверные щелки аульных домиков подглядывали туркменки, вылавливая взгляды мужей, чтобы пальцем, глазами дать сигнал к возвращению в дом. Темно уже было — кто бы заметил этот тревожный зов? Нет, не боялись туркменки, особенно появившиеся из лопнувших лягушек, что мужья упадут в русалочьи объятия, сгинут. Просто немножко совестно, что обладатели собственной жены под боком, дома, очага присутствуют в кругу змееловов, наслаждающихся бесконечной свободой. Они были уверены, что все равно, поздно ночью ли, на рассвете ли, мужья вернутся домой и будут любить их — более страстно, более неистово, и от этого оскорбления чужой любовью они умрут... Даже те, из лопнувших лягушек...

Гитара переходила из рук в руки, парила, как летучая мышь, в воздухе бренчала ключевая нота мелодии, что должна была скоро прозвучать... Гитара под русскими пальцами издает блатные мелодии... Тюрьму, блатной мир, блатную жизнь не отторгал от себя русский, не превращал их в окольцованный колючей проволокой, охраняемый стражниками и псами изолированный заповедник, где обитатели должны валяться в собственном грехе и прокаженности, где, раздирая друг друга, пожирая друг друга, должны погрузиться в бездну забвения. Русский прокопал тысячи лазеек вокруг колючей проволоки, под носом у стражников и псов, и сквозь эти лазейки, вольно и щедро, как снаружи хлынула внутрь, так и изнутри проскользнула наружу — любовь. И в поисках подходящего шифра, доступного лишь адресату, любовь изобрела песню. А песня — не стрела, одиночкой пущенная в мишень, песня — это пучок стрел, расколовший в самозабвенном полете конкретность адресата и, как ненужную вещь, скинувший в море ключ от шифра. И стала песня всеобщей. Освятила песня грех и преступление, сроднила с преступником, побратала... Под звуки песни, словно на коленях перед исповедником, ты считаешь себя греховней того, кто был вынужден грех сотворить... Ты... Ты... Если ты на свободе, если еще не успел согрешить или согрешил и остался на свободе, если ты — не ведающий, на что способна твоя сущность, не попавший в паутину к плетущему преступление пауку, значит, ты — ангел?.. И если паук выудит у тебя грех и забросят тебя по ту сторону колючей проволоки, неужто любовь покинет твое тело, душу?.. А покинет — превратишься в пустозвонную медь или в литавры... «И если буду иметь дар пророчества и ведать все тайны и все учения, и если буду обладать всей верой вплоть до силы двигать горами, но не буду иметь любви, я — ничто. И если все имущество отдам нищим, а тело свое предам огню, но не буду иметь любви, я — ничто. Любовь терпелива, сладостна, любовь не завидует, не кичится, не чванится, не ищет выгоды, не горячится, не замышляет зла, не радуется несправедливости — радуется истине. Все выносит, всему верит, целиком питает надежду, ко всему терпима. Любовь не исчерпывается, тогда как если пророчества, то исчезнут, если языки, то умолкнут, если учения, то износятся, ибо из многого — малое знаем, из многих — мало кто пророчествует...»

...Отец Стефанос, в дни резни клерикалов полезший в прорубь с лампой в руке, обрекая себя на погибель, ничего не нашел, а вот сын его, проживший во мраке безверия, в последние годы открыл Священное писание и опешил от факта, что в сформулированных в книге истинах он давно уже сведущ. «Мы безбожники, у которых есть Бог, — каялся жене, раскладывая Библию. — Бог у нас есть, пришло время в него поверить». Отмежевывая общие грамоты святых Якова, Петра, Иоанна, Иуды, он облюбовал мысли и наказы, которые считал своими, и без упоминания источника отправлял в пустыню — сыну. «Плод справедливости, Аветик, засевается с миром для тех, кто мир расстилает»...

Зарывшийся в грудь бархана Аветик с библейским спокойствием нырнул под пески, проплыл, прислушиваясь к далекому стону покинутого любовью моря, к шороху разбитых кораблей, к безнадежному вою сирены, время от времени высовывая голову, чтобы глотнуть воздуха, хотя и под песками был воздух, и дышал он не легкими... Высунул голову, чтобы увидеть хохочущих русалок в сжимающемся кольце мужчин, хмельных от выпивки и женской близости. Почему-то ждал, что этот хохот превратится в сирену, взывающую о помощи с разбитого корабля, и инстинктивно рвался на этот зов... Но, будто в кошмарном сне, где ноги бегут, а бега не получается, где стремишься вправо, а попадаешь влево, так и плаванье либо не получалось, либо несло в другую сторону. Очаг, русалки, змееловы, водители, туркмены, гитара, блатные песни, декабристы, Есенин, Высоцкий удалялись, а приближались ставшие гигантскими барханами палатки змееловов, где, восседая на восточный лад, беззвучно лепетали апостолы... Высунувшись в последний раз, понял, что очутился в одной из палаток, где, конечно, не было никаких апостолов. И никого не было. Все были там — рассевшись с русалками вокруг очага или в хороводе пауков-самцов. Но мрак в палатке не был мертвым, дышал. Зажег спичку, спичечное пламя обрисовало во мраке бесчисленное множество стеклянных сосудов с лениво перекатывающимися и неслышно шипящими змеями. Змеиная тюрьма со множеством камер... Гады, видимо, успели определить пространство сосудов, измерить ширину и высоту, прочность стенок и крышки и, дабы не обессилеть без толку, с истинно змеиной мудростью свернулись калачиком на дне, презрительно наблюдая полуприкрытыми глазами за человеком, изучающим их при скудном освещении, и выжидали момент провидения, когда сбереженные силы и яд развеют иллюзию капитуляции. Гитара исходила блатными мелодиями, русалки хохотали, а Аветик, хоть и смутно сознавал, что высматривает свою змею — не убившую его змею, однако понятия не имел, что делать, если она обнаружится. Что он должен делать?.. Должен злорадствовать? Должен убить?..

Кобра блеснула мелкими глазками, небрежно зашипела в сторону Аветика, сунула голову в собственные извивы и тут же, словно узнав, прижала морду к стеклянной стенке, чтобы пробить ее, выйти наружу. Аветику послышался хруст стекла.

— Ты? — обрадовался Аветик. — Узнала, красотка моя? Ты ведь долго на меня смотрела... Должна была узнать... Если бы убила, ясное дело, уже не встретились бы... Но ты не убила...

— Сейчас убью, — прошипела змея, и хруст стекла повторился.

— Успокойся, — сказал Аветик, — я пришел на твой зов...

У входа в палатку зарябил луч фонарика, донесся приближающийся русалочий смех. Приподняв полог, Аветик выскользнул из палатки, крепко прижав стеклянный сосуд с трепещущей змеей, чье сердце билось с такой же скоростью, с какой грохотал пульс змеекрада...

С утра пораньше тарахтенье Таджева трактора взбаламутило сон пьяного аула, и вместе с младенческим плачем небо нового дня раздирала многоязыкая мужская ругань. На тракторном прицепе громоздились ящики с продуктами и водкой, одна бутылка была откупорена. «Уже успел, а? — заметил Аветик Таджу и отхлебнул из горлышка. — Молишься Аллаху, а напиваешься по-христиански». И уже было забрался в кабину трактора, рядом с якобы смутившимся Таджем, как из песка возник предводитель Асклепиев-змееловов — белокурый Андрей с пустым стеклянным сосудом в руке. Поза была угрожающей, мускулы поигрывали, в глазах сверкали искорки самоуверенности и легкой иронии обнаружившего вора сыщика. Рогатины охотника на змей у Андрея в руках не было, но распахнутый зев пустого сосуда приглашал Аветика заглянуть внутрь.

— Следы твоих ног, — сказал предводитель змееловов, — ведут от дома к палатке, от палатки — к зарослям камыша, от зарослей — снова к дому. На берегу Соленого озера валялась вот эта пустая посудина, на стенках которой, не сомневаюсь, отпечатались и следы пальцев. — Андрей кинул сосуд через голову, уверенный, что, ударившись о мягкий песок, стекло не расколется, но посудина, это вещественное доказательство преступления, разлетелась вдребезги, чем в некоторой степени пошатнула самоуверенность сыщика. Порывшись в песке, он обнаружил звено от

тракторной гусеницы и яростно отшвырнул его в камыши. — Следы твоих ног есть, стеклянный сосуд — пусть и разбитый — есть, а змеи нет. Что скажешь?.. Змеи нету…

Предчувствуя очевидное столкновение, Тадж, прихватив топор для рубки саксаула, спрыгнул из кабины и встал рядом с Аветиком.

— Вернись на место, — буркнул Аветик и оттолкнул Таджа. — Змея, — ответил симпатичному предводителю змееловов, — согласно моим сведениям и результатам твоего расследования, находится в камышах. На свободе. И я с удовольствием пью за ее освобождение! — Аветик демонстративно перевернул над головой бутылку и, словив струю прямо в воздухе, сделал несколько звучных глотков. — Не желаешь, — откровенно насмешничал, — составить компанию?

— Желаю, — ответил Андрей, отобрал бутылку, вмиг осушил. — Но сегодня мы залезем в камыши и снова ее поймаем.

— А я снова выпущу.

— Да?

— Да.

— Разве она тебе родня? — ужалил Андрей. — Твоя родня — армянская гадюка, а не степная кобра!

— Она мне — сестра! — заявил Аветик. Отшвырнув бутылку на осколки сосуда, Андрей приблизился к Аветику, и его угрожающий жест вновь выдернул вниз из кабины вооруженного топором Таджа. Змеелов и сам являл собой могучую змею — вернее, змея — стремительный, ловкий, с подвижными, упругими мышцами.

— Я сказал тебе — вернись на место! — заорал Аветик на Таджа, прослеживая немигающим взглядом перемещение человека-змеи.

— Можно выпить за твою сестру еще по бутылке? — вкрадчиво, со змеиным шипением спросил Андрей.

— Можно, — согласился Аветик, — но она — и твоя сестра, а ты этого не знаешь… Не призна**е**шь ее… Отрекся…

— Я, — удивился Андрей. — Я?! — расхохотался. — Я не призна**ю**?.. У меня в жилах столько змеиного яда течет, сколько в твоих — крови!.. Тадж покрутил пальцем у виска, давая понять Аветику, что перед ними — полоумный, годный для психушки, и лучше от него поскорее избавиться, тем более что скоро полдень, а до ближайшей буровой несколько часов пути. Еще надо успеть срубить саксаул на зиму.

— Ты меня не убил, — крикнул Андрею Аветик из кабины трактора, — значит, встретимся.

Тадж долгое время дулся и демонстрировал мятежное настроение, атакуя барханы. Мог бы бархан объехать, проложить гусеницами занесенную песком дорогу, однако нацеленный больше на Аветика, чем на Андрея, гнев надо было каким-то образом израсходовать.

— А если бы ударил? — заговорил, наконец, Тадж. — С чего ты был уверен, что не ударит? Разве не знаешь, что побеждает всегда тот, кто бьет первым?.. Независимо от того, молится он Христу или Мухаммеду… Беседовать в тарахтевшем тракторе было неудобно — вопрошать и отвечать надо было коротко. Или громко кричать.

— Лягушка моя не лопается, Тадж, — заорал Аветик и закрыл глаза, чтобы увидеть невесту-лягушку, но увидел только заблудившегося в пустыне, потерявшего ориентацию на местности своего двойника, которого постепенно пеленал мираж пустыни…

— Но и не сбегает, в дом к другому, правда? — донесся голос примирившегося Таджа.

…Наблюдая смущенное волнение родителей, разрумянившихся, помолодевших в пылу нахлынувших воспоминаний, Гор фантазировал, что, подглядывая из-под Божьего надежного подола, он был не только свидетелем романа в пустыне, но и зачинщиком, и суфлером. По наитию предродовой жизни он смотрел на отца глазами матери, на мать — глазами отца и был почти убежден, что стремление его половинчатого существования к цельности и направило их караваны в тот уголок природы, где, в отличие от Эдема, рождаются не праотец и праматерь, а провидцы и религии. И зачем только Господь запланировал размножение рода человеческого в Эдеме, в

этом аккуратном роскошном заповеднике? До чего тепленькое и скучное бессмертие ожидало бы человечество, если бы самая первая женщина не дерзнула стать двигателем прогресса.

— Змей посмотрели, — продолжал воодушевленный Гор, — а армянина не встретили. Не встретили его и в последующие дни. Потом из города привезли газеты, а в них была напечатана фотография того самого армянина. Армянин прямо у вас под носом совершил великое открытие, а вы были очарованы змеями и змееловами.

— Я — нет. — По-девичьи стыдливо и по-хозяйски гордо произнесла Овсанна. — Я была очарована спасенным мной армянином. И об этом змееловы тоже знали.

Овсанна побежала в дом, чуть погодя вернулась переодетая, с уложенными волосами и поблекшим билетиком с портретом Вольфа Мессинга. Магическая сила воспоминаний вот-вот должна была обратить ее в ту самую русалку, не донесенная в ладонях которой вода, капая сквозь пальцы на раскаленный песок, подсказала иной способ спасения сомлевшего от теплового удара... Красным, красным был мир, безмолвным, неподвижным... Песок не струился, прибрежная пена превратилась в хрустальное ожерелье; как античные скульптуры застыли на другом берегу русалки...

«Яй-цо, зе-лень, зе-лень», — в соседнем дворе складывал новые слова Еноков немой, а его мать засовывала лошадиный череп обратно в мешок.

— Я была очарована спасенным мной армянином, — повторила Овсанна, и Аветик вдруг заметил, что застывшие на противоположном берегу русалки встревожились, всполошились, похватав ружья, послали заблудившейся на этом берегу подруге сигналы возвращения... Ладони заблудившейся едва выжимали несколько капель, испарявшихся в воздухе... Не достигавших цели... «Воды, — беззвучно шептали Аветиковы губы, — воды...» И заблудившаяся русалка, расстегнув застежку лифчика, подрагивая белоснежными, не видавшими солнца шарами в пазухе, побежала к воде... Русалки на противоположном берегу пришли в ужас... Обезумела, что ли, — от солнца, от вида мужчины?.. И опешили русалки, когда заблудшая закинула лифчик, как невод, в озеро... Обе чашечки невода заполнились водой, и полилась вода двумя струйками сомлевшему на лицо... И русалки на берегу, побросав ружья, зааплодировали...

«А ты, Горик-морик-горморик, говоришь — пригоршнями», — усмехнулась про себя Овсанна...

В лаборатории по изучению повадок некоторых земноводных на больших глубинах, оборудованной на атомной подводной лодке, случайность и небрежность стимулировали знаковое открытие. Армянскую гадюку, вместо изоляции в предусмотренной камере, поместили в сосуд, полный яда змеи того же вида, где пресмыкающееся полностью растворилось. Ничего не осталось от армянской гадюки. А полученный густой раствор поразил ученых своим составом. В растворе присутствовали почти все аминокислоты, необходимые организму человека.

Телефонный звонок то ли с Сахалина, то ли с Камчатки походил на сигнал, отправленный из космоса тысячи лет назад — среди гула бесконечного брожения туманностей, упорядочивающих рождение и гибель звезд, едва обозначился человеческий голос с металлическим тембром, посланный навстречу ему ответ Аветика, преодолевая преграды часовых поясов, мешался, отставая и опережая, со словами собеседника, оборачивал вопрос ответом, ответ вопросом. Это был Андрей, давно пропавший без вести Андрей, только что сошедший с подводной лодки и спешивший сообщить о намерении приехать в Армению. Науке требовалась армянская гадюка.

Наскоро оклеили обоями комнату Гора, освежили полы, распахнули окна-двери, чтобы выветрился запах клея и краски, убедили Сону приютить на несколько дней в своей комнате брата-задиру. «Он меня придушит, — запротестовала Сона. — Расколошматит все мои зеркала». Слева от позолоченного, в круглой рамке зеркала стояло прямоугольное, в человеческий рост, справа — овальное. На трюмо выстроились десятки больших и маленьких, увеличивающих и обычных зеркал, на которых местами рассыпалась расцарапанная Гором амальгама. «Я буду спать в саду, — сказал Гор. — В этих зеркалах черти язык показывают».

Андрей предпочел проживание в гостинице, вместе с коллегами, мотивируя это

тем, что привык к общежитской, гостиничной, палаточной, словом — кочевой жизни, и домашняя, семейная атмосфера душит его так же, как змею — стеклянный сосуд. «Хотя, — признавался, — после подлодки атмосфера дома и та переносима... Особенно — вашего дома... Сона напоминает Овсанну, Гор — тебя. — Позже, корчась от боли, шептал на ухо Аветику. — Мне нужен отдельный уголок... минут на десять».

Аветик проводил его в комнату Гора, притворил окна и двери и, заметив торчавшего во дворе сына, задернул шторы. «В утренней спешке, — раздался в полутьме комнаты голос Андрея, — неправильно надел ногу. А в самолете неудобно было поправлять, — приподняв левую штанину, обнажил сплавленную из пластика и металла голень. — Овсанна пусть не знает... Я замечательно хожу...» Аветик сразу отвернулся, вышел из комнаты и, осушив глаза, вошел в кухню. «Не уговаривай его остаться у нас, — сказал Овсанне, — он и вправду одичал». А когда вернулся в комнату с бутылкой водки, Андрей, уперев левую ногу в подоконник, завязывал шнурки на обуви. Перевернув над головой бутылку и словив струю прямо в воздухе, Аветик сделал несколько звучных глотков и произнес:

— Не желаешь составить компанию?

— Желал бы, — откликнулся Андрей и, опустив ногу с подоконника, легким шагом подошел к Аветику, — но пить не буду. Если вдруг когда-нибудь сам захочу — не давай. Потом обнял Аветика и тихонько шепнул: — Спасибо...

Соне в подарок Андрей привез сплетенный из змеиной кожи пояс, Гору — гигантскую морскую раковину. Приложишь ухо к раковине и слышишь шум океана. Овсанне подарил жемчужное ожерелье, Аветику досталась деревянная голова нанайского шамана: «Копия — ты».

Гор был на седьмом небе — Андрей обещал взять его с собой на ловлю змей. «С отцом твоим, — сказал, — мы не успели стать друзьями, с тобой будем». Позже, выслеживая змей среди камней в Талине[1], Андрей рассказывал Гору, как он трижды ловил одну и ту же кобру и трижды находил пустой стеклянный сосуд на берегу Соленого озера.

— Решил было убить твоего отца, — сознался Андрей. — Он не только наши усилия пускал в песок, но и насмехался над нами, дразнил. Обидно было. И однажды ночью я проник к нему в комнату с ножом в руке. Выследил — знал, что он вернулся из пустыни и напился, как чушка. Включаю свет, чтобы в темноте не промахнуться — ударить прямо в сердце, а его нет... Ворошу постель, под кроватью, в шкафу, выворачиваю чемоданы и сумки... Нет и нет... Только одна лягушка торчит посреди комнаты — выпучила на меня глаза, напрягла лапки, пускает длинным языком очередь. — Где ты, трус, — кричу, — в какую дыру залез, подлый змеекрад? Лягушка скачет на месте, подпрыгивает, пытается царапнуть мне лицо, а я обалдело озираюсь по сторонам, не могу понять, откуда донесся голос твоего отца. «Здесь я» — повторил голос, и, обернувшись на звук голоса, я вдруг заметил на стене картину с вашим абрикосовым садом. И отца твоего увидел — в глубине сада, за столиком на низких ножках. «Заходи, — позвал твой отец. — Вина выпьем, в нарды сыграем...». Шаман твой отец — гоняющий ураганы, усмиряющий пожары, превращающий яд в воду шаман...

— Ты вошел в картину? — спросил Гор.

— Не смог... В руке у меня был нож, в сердце — злоба... И лягушка не позволяла, чтобы я подошел к картине... Рычала, как сторожевой пес... Сбежал я из комнаты... А утром пришла радиограмма, что в Небит-Даге пиво получили...

Город нефтяников ликовал — журчание обнаруженной в Каракумских недрах пресной воды, уже не как мираж, разнеслось по Небит-Дагу, вдобавок, будто в ознаменование этого события, из Ашхабада прислали несколько вагонов пива. В город, превратившийся в огромную пивную, хлынули из разных концов пустыни, с афганской границы, с Каспийского берега, из Карабогаза на вертолетах, на машинах, на верблюдах, пешком, и пили, пили, не в силах утолить верблюжьей жажды. Длиннющие

[1] Талин — город в Армении.

очереди змеились у ресторанов, столовых, кафе и ларьков, не уменьшаясь даже ночью, потому что и в очереди можно спать на ходу, пока не подоспела твоя бочка. Пили из стаканов, из чайников, из термосов, пили из ведер, из кадушек...

Перемещаясь от ларька к ларьку, из очереди в очередь, предводитель змееловов Андрей не насытился, хотя животом раздулся, поступью отяжелел, утратил змеиную гибкость. Терпкий пот приклеил рубашку к телу, и чмокавшая, словно напитавшаяся водой губка, кожа жаждала ванны, холодного душа.

В холле и коридорах гостиницы на видном месте висели плакаты с нелепыми напоминаниями об экономии воды, а краны праздно посвистывали, временами поплевывая песком. Ладно хоть для туалета выделили ведро воды и целая батарея минеральной стояла в холодильнике.

— Только опрокинул ведро с водой себе на голову, — рассказывал Гору Андрей, — как в дверь стучатся. Кутаюсь в полотенце, прикрывая срамоту, открываю дверь и впускаю стучавшего... Гостиничный номер был двухместным, стучался сосед. Не глядя на него, извиняюсь за свой вид, натягиваю трусы и разваливаюсь на кровати. А он изумленно смотрит на меня: «Ты? — не верит глазам и снова спрашивает: — Ты?..» «Конечно, я, — отвечаю. — Думал, отделаешься от меня?.. Разве не ты обещал встретиться?..»

— Это был отец? — догадался Гор.

— Поздно вернулся из пустыни, — оправдывался твой отец, — а утром, — говорит, — в город вызвали, отчитаться». «А в палатку к змеям зайти успел», — говорю я и маюсь, потому что убить его больше не могу.

Он был героем дня. Героя дня убивать нельзя, хотя люди очень часто совершают этот грех. Лжегероя — пожалуйста, убей не один раз, но как у тебя рука поднимется на настоящего?.. Героя дня награждают, ему вручают орден, в его честь ставят памятник, сочиняют хорошие и плохие песни, придумывают большие и маленькие легенды... Потом выясняется, что легенда — и не миф вовсе, а реальность... Настоящего героя от лжегероя отличают при помощи легенды — если легенда удобно сидит на герое, значит, имеешь дело с настоящим, если, как одежда размером больше, с него спадает, значит, перед тобой стоит героекрад... «Русалки тоже в Небит-Даге, — говорю герою дня, — их тоже пригласили выпить пива». Посмурнел герой дня, чуть было одежда с него не спала. Глаза мечут молнии, внутри бог с чертом борются. Открывает дверцу холодильника и снова закрывает и не помнит, что хотел минеральной воды попить. «Ты их, что, как гарем держишь? — не выдержал, взорвался герой дня. — Ты что — султан?..»... Я, простой смертный, хочу, значит, вручить ему орден, а он на своем пьедестале чванится и драку затевает... «Предположим, султан, — говорю, — шейх. И путешествую со своим гаремом по миру... Собирались на Канарские острова, но по ошибке в этот самолет забрели и в это пекло попали... Тебе-то что? — говорю. — По какому праву глаза на меня таращишь?» Отлично знаю, что право он имеет, только сам не знает, что имеет. Чувствует, что имеет, но не знает... «Прости, — говорит, — ты прав...» С ума можно было сойти... Мозги его растворились в подземных водах, зрение превратилось в буровое сверло, врезалось в недра, слух улавливал лишь дыхание спящей миллионы лет под песками воды...

Он не знал, что лягушка-то лопнула...

Я не мог унизиться перед героем дня и признаться, что с утра разыскивал его в геологическом управлении, в редакции газеты, в мэрии, во всех пивных очередях, в регистрационных журналах всех гостиниц. Я не мог признаться, что ради появления в его номере на правах соседа изошел не только потом, но и значительной суммой, ибо строгое лицо очкастой хозяйки гостиницы никогда бы не смягчилось, если бы из моего паспорта не засияла улыбка Владимира Ильича. Я же не мог рассказать, какие задействовал соловьиные трели и змеиные извивы, пока, наконец, убедил директора дома культуры нефтяников предоставить нам с русалками места, пусть даже врозь, на то единственное представление, афиши которого наводнили город. И хотя в городе еще не просохли пивные бочонки и не свернулись змеистые очереди, желание стать очевидцем чуда охватило многих. Чудо неизменно привлекает человека — если бы Христос не сбил Симеоновой теще температуру или, скажем, не исцелил прокаженного, не воскресил бы усопших, не насытил бы множество одним куском хлеба, не

ходил бы по воде, кто бы слушал его проповеди и заумные притчи?.. Чудотворство — тоже героизм... Чудотворство и есть — героизм... или наоборот... «Выходим через пятнадцать минут, — заявил я герою дня. «Куда?» — удивился твой отец. «На Иисуса Христа посмотрим».

В переполненный зал они вошли с опозданием, пробрались к своим местам в последних рядах, окунулись в фимиам духов и пива. Залетающий в окна похожий на светлый дождик песок завис балдахином над головами восседавшей на сцене комиссии и ассистентки чародея в черном. Ассистентка рассказывала, как впервые мальчик Вольф осознал, что наделен необъяснимой способностью: сбежав из дома, он безбилетным пассажиром жмется в тамбуре холодного вагона и молит Бога, чтобы контролер его не заметил. Возникший под стук вагонных колес контролер, однако, появляется перед Вольфом раньше, чем его мольба успевает достичь небес. Ужаснувшись перспективе оказаться на незнакомой станции в ночи, мальчик инстинктивно тянется рукой к карману, извлекает мятый бумажный клочок и неожиданно для себя протягивает его контролеру. И крепко зажмуривается в ожидании заслуженного подзатыльника, который, впрочем, запаздывает. «Простудишься, Малыш, — вдруг слышится ласковый голос контролера. — Иди займи свое место»...

Ассистентка в черном артикулировала каждое слово, не подчеркивая, не окрашивая, не сообщая эмоционального отношения ни одному из них. Преподносила этот строительный материал в виде ледяных кирпичей, почти заставляя слушателей собственными силами выложить из фраз осмысленную пирамиду. Некоторые этой муки не выдерживали, сдавались уюту кресла и засыпали, продлевая во сне пивное наслаждение, яривщееся в знойном городе.

Чародей, как натасканный охотничий пес, выскочил, наконец, из-за кулис и, стоя на авансцене, выжидал, пока ассистентка в черном исчезнет вместе с роем белокрылых бабочек над головой и председатель комиссии по отбору записок с заданиями распорядится начать представление. Вольф Мессинг походил на готовую к прыжку рысь, его черный смокинг выдавал трепет щуплого тела, который передавался со сцены в зал, заражая прежде всего авторов записок. Чародей обнюхивал воздух в зале, а пославший записку был подстреленной дичью, к которой скоро должен подбежать запыхавшийся охотничий пес.

Вольф Мессинг совершал набеги в зал, протискивался между рядами кресел, у одного выуживал платок из кармана, другому застегивал пуговицу, третьего гладил по голове, четвертого тащил за собой на сцену, угадывал его имя и фамилию, домашний номер и, мысленно его набрав, подносил к уху дичи трубку телефона со стола комиссии.

От волнения дичь, вместо того чтобы диктовать задание мысленно, вслух подсказывала чародею его действия и пыталась мимикой или взглядом исправить промах или поощрить успех. Впрочем, чародей ни слов не слышал, ни мимических строчек не читал — его чувствительному контактному полю не требовалось ни ушей, ни глаз. Запястье дичи безошибочно сообщало все заданные подробности. Время от времени чародей резко прекращал бег и обращался к комиссии с просьбой вразумить дичь не засорять мысли ворохом не относящихся к заданию проблем, не впадать в мечты, не обольщаться, проходя мимо красавиц, не исповедоваться, не взывать к отпущению грехов, поскольку он ни в коем случае не священник и не, тем более, Господь Бог, а самое главное, пусть дичь, прежде чем выйти на сцену, будет любезна сперва сходить в туалет и избавиться от малой пивовонной нужды, разжижающей задание.

— Если он хотел в туалет, — возроптал чародей, имея в виду очередного правонарушителя, — пусть бы ставил заданием это желание. Однако в отправленной записке такого задания нет, не так ли?

— Нет, — согласился председатель комиссии и, забеспокоившись наплывом записок с туалетным спросом, добавил: — Новых заданий комиссия больше не принимает.

Вновь появившаяся ассистентка в черном принялась рассказывать, как Вольф Мессинг, усыпив охранников, вырвался из гестаповской темницы. Адольф Гитлер

пожелал сделать Мессинга своим прорицателем. Ему было необходимо часом раньше узнать, какие козни против него строятся на внешнем и, тем более, внутреннем фронтах. Сведения агентуры оказывались либо устаревшими, либо недостоверными. Фюрер запланировал с помощью исходящих от Мессинга необъяснимых волн наслать на Сталина возбудителей апоплексии и предать огню деревянный бюст Черчиля, стоящий на письменном столе Рузвельта.

Чародей вышел из-за кулис, выстрелил сигарой Черчиля между пальцев, и крохотная дымящаяся ракета, описав круг под потолком, вновь приютилась в руке у Мессинга. Препоручив ассистентке дымящийся реквизит, сопящий Мессинг поступью охотничьего пса шагнул в зал, вынюхивая следы очередного задания. Параллельно его шагу зрители повернули головы, как подсолнухи, в первых рядах даже привстали с мест. Метнув острый, пронизывающий взгляд, чародей приближался к последним рядам, бесконечно сужая поле выбора, бесконечно расширяя вероятность выбора.

— Не бойся, — прошептал Андрей, — сейчас меня заберет...

Но чародей больше не занимал внимания Аветика — среди подсолнуховых венцов, направленных в конец зала, были взволнованные русалки... Впервые, пожалуй, Аветик увидел их по отдельности — они различались чертами лица, глазами, волосами...

Вольф Мессинг крепкой, но трепещущей рукой сжал запястье Андрея и потащил за собой... Параллельно его шагу подсолнухи повернулись венцами в сторону сцены, где председатель комиссии, следуя заданию, качал головой и делал руками знаки зрителям рассесться по местам. И когда все расселись по местам, Аветик понял, что только он и остался стоять. Даже не помнил, когда поднялся на ноги. А Вольф Мессинг тащил за собой, как метлу, бедного Андрея, протискивался меж рядов, все время принюхивался и фыркал. И когда, наконец, выбрался из партера, тот, кого он тащил за собой, был уже не Андрей... Зал буйствовал в рукоплесканиях, когда чародей усаживал рядом с Аветиком одну из русалок.

— Здравствуй, — сказала Аветику русалка по-армянски. — Я Овсанна...

...Повторяющийся сон Бородача страдал незавершенностью — не продолжался, не обобщался, не давал возможности осмыслить, и даже выписанные из Матенадарана рукописные или печатные сонники, обломки клинописей или скопированные вавилонские письмена были не в состоянии прокомментировать почти лишенный движения образный ряд, напоминающий о мимолетной встрече, безвременно угасшей жизни, что на самом деле было не сновидением, а словно попавшим в туманный просвет между сном и бодрствованием, между призраком и реальностью, предисловием ко сну. Бесцветным, беззвучным, как моргание, кратким. Без прошлого, без настоящего, без будущего.

Бородач не успевал всмотреться в лицо малыша, бесшумными, легкими, как у привидения, шагами входившего в палату, но и не мог отделаться от ощущения, что это — не кто-то незнакомый, а друг детства, которого разодрала бешеная собака и чей гробик, взлетевший на плечо безутешного отца во главе длинной процессии, походил на скворечник. Отец сам уложил скворечник в могильную яму и велел могильщикам засыпать. С трудом вытащили потерявшего рассудок из ямы и до вечера засыпали и засыпали ненасытную бездну. И когда, наконец, над землей едва обозначился холмик, прощающиеся заметили, что безутешного отца нет. Не было его и за поминальным столом. Захмелевшие умы, обсудив множество предположений, вознамерились утром разрыть могилу, потому что не было никакой уверенности в том, что, воспользовавшись густой пыльной завесой, умалишенный снова не кинулся в яму. Ночью в разных концах города раздавались ружейные выстрелы и собачий скулеж. Заключительный выстрел скулежем не сопровождался. Безутешный отец сунул дуло ружья в рот и нажал пальцем ноги на курок.

Малыш из сна не заходил под арку металлоискателя, не предъявлял пропуск, не выворачивал карманы и не обходил появляющихся нос к носу полицейских, а проходил сквозь них, поднимался по мраморным ступенькам, шел по устланным ковровыми дорожками коридорам и тихонько толкал дверь в президентские покои. И только. С

этого момента сон не продолжался, но не потому, вероятно, что продолжения не было — просто было много прерывающих моментов. Если сон посещал ночью, одновременно с открывающейся дверью либо ворочалась в постели жена, либо звонил телефон, либо бил тревогу получивший язву в период голодовки желудок. А если днем, то ход сновидения перекрывали и секретарша с кофе, и строго соблюдавший протокол приемов помощник, и старший советник в ожидании очередного совета.

Незавершенный и без конца повторяющийся этот сон, впрочем, имел преимущество отснятой ленты, которую можно крутить взад-вперед и смотреть любой эпизод крупным планом. Однажды он укрупнил узоры на ковровых дорожках и заметил сигаретный пепел в шерстяных ворсинках. Отдал приказ: «Строжайше запретить курить в коридорах. Выделить место для курения во дворе». В другой раз высмотрел сплетенную под аркой металлоискателя паутину и распорядился, чтобы самый высокий из полицейских походил туда-обратно по проходной и щетинистой макушкой удалил эту, похожую на павлиний хвост скверну. А еще как-то на коленке малышовых джинсов проступило кровавое пятнышко, а в руке повис собачий ошейник. Чем сильнее старался сосредоточиться и разглядеть лицо малыша, тем отчетливее выделялись кровавое пятнышко на коленке и свисающий ошейник в руке. Иногда даже без укрупнения плана.

И сейчас, когда не было рядом жены, когда телефонные линии, секретарша, помощник, советник остались по ту сторону леса, а прежде чем устроиться в гамаке, он вкусил только ласкающего желудок натурального мацуна, выросла вероятность, что сон беспрепятственно продлится, что входящий в апартаменты малыш обнаружит лицо и наконец-то признается, почему так упорно, нарушая церемониал и попирая элементарные правила безопасности, вторгается в президентские покои.

Внизу был овраг. Звук воды — единственный, не считая колыбельной матери, не расстраивает сон человека, даже если этот звук — шум водопада.

Какая все-таки удивительная эта страна Армения! Сколько географических поясов на одну величиной с ладонь территорию повязала природа! Дуга, описываемая колебаниями притянутого к деревьям гамака, подбрасывает тебя то к кромке ущелья, демонстрируя расхлябанную тропинку, ведущую корявыми извилинами к студеному роднику, то на противоположный край, где в удобный момент меж могучих стволов и густой кроны деревьев можешь словить дивный образ белоснежной вершины горы. Ни на солнце этот снег не тает, ни от исходящего от опаленной равнины тепла. Пустыни, леса, горы, долины, лето, зима — одновременно и в одной точке. Точка — что же еще?.. Эти тиграны, аршаки, дашнаки и коммунисты полагают, что страну в наследство оставили? На картах мира территории Армении даже не хватает, чтобы уместить буквы в названии. Самый маленький шрифт и тот выскакивает за территорию, затрагивает достоинство соседних государств, внушая подозрение, дескать, не намекают ли эти хитрые армяне на злополучный Севрский договор? За каждую букву-нарушительницу готовы потребовать штраф — золотом, водой, электричеством. «Зачем вам электроэнергия в таком количестве?.. Повесьте посреди страны одну мощную лампу, и вся территория осветится...»

На сей раз малыш появился не из парадного подъезда, а из оврага, близ студеного родника, в бассейне которого охлаждались бутылки и арбузы, и шел не по мрамору ступенек, а по корявой извилистой тропинке. Он был незаметен для занявших позицию по всему периметру оврага и рассредоточенных по кронам деревьев охранников, от глаза которых не ускользнули бы даже гусеницы, выковырянные дятлом из-под коры, даже перемещение рыбьего косяка — вверх по реке, на нерест. Шлепая по грязи, малыш взбирался по логу, и, свесившись с его руки, раскачивался собачий ошейник. К грязным подошвам липла палая листва, и с каждым шагом слой листьев нарастал, превращаясь в валенок, затрудняя ход. Движение гамака остановилось, больше не описывало дугу между кромкой ущелья и мимолетной панорамой белоснежной вершины, вконец рассеяв иллюзию бескрайней страны и подчеркнув реальность точки. Не шелестели дубовые листья, высох родник, стеклом стала река, и очередной косяк рыбы превратился в нарисованную углем стрелку, а клюв дятла безнадежно застрял в теле дерева. Земной шар не вращался, лишь валенки — хлюп-

хлюп — приближались, да ошейник, как висельная петля, колыхался. Еще один шаг, еще один хлюп — малыш пересек опасную грань прерванного сна и остался в продолжении сновидения. Бледный, лопоухий, с прозрачными, как стеклышки, глазами, волосы взъерошены... Уже ясно, что это не безвременно умерший друг детства, но чтобы убедиться окончательно, Бородач прокрутил ленту назад, укрупнил картинку, рассмотрел малыша и нырнул в глубь его прозрачных глаз, где у подножия Матенадарана волновалось море демонстрантов. Первые ряды демонстрантов были придавлены к памятнику Маштоца, хвост шествия находился в конце проспекта, и народ все прибывал — приветствовать освобожденных узников знаменитой русской тюрьмы. Такого многолюдья еще не видывала армянская земля, и скованному в камне Маштоцеву духу было неловко вспоминать царственное чествование его на берегу реки Рах... И вдруг снизу, в промежутке между ведущими в Матенадаран ступеньками и началом проспекта, раздались собачий визг и детский плач. Толпа расступилась, открыв маленькую круглую площадку, на которой расплющилось тело затоптанной, бившейся в конвульсиях собаки. Взволнованный Бородач прервал на полуслове речь, сошел по ступенькам вниз и опустился на колени у собачьего трупа. Зарывшись пальцами в еще теплую шерсть, отстегнул ошейник и вручил его рыдающему мальчику. «Не плачь, — сказал, — я подарю тебе новую собаку. Той же породы». Малыш попытался улыбнуться, но не смог. Собачий труп скорбно унесли, мальчика, поглаживая по плечу, проводили домой, а Бородача овациями вернули на трибуну... Незначительный был инцидент, скоро забылся.

Признав, наконец, в обмотанном пучками листвы малыше «мальчика с собакой», Бородач виновато прошептал: «Это ты?..»

Малыш молча забросил ошейник в гамак, повернулся и пошел обратно в овраг... «Держите его!» — завопил выкинутый из гамака Бородач, и беззвучно захихикали занявшие позицию по всему периметру оврага и рассредоточенные в кронах деревьев охранники. Это был сон, кошмар, но в гамаке... валялся ошейник...

В Ереван отправили совершенно секретную радиограмму с распоряжением разыскать проживающего в кварталах, прилегающих к Матенадарану, хозяина собаки, затоптанной толпой на митинге указанного дня, и вместе с собакой угодной ему породы доставить на вертолете в лес. Через час радиограмма обратной связи сообщила, что малолетний хозяин собаки, затоптанной толпой на митинге указанного дня, давно находится в психиатрической клинике, и все методы его лечения оказались тщетны. Он не ест, не пьет, не разговаривает и не выпускает из рук ошейника. Однако этим утром ошейник исчез...

Президент отозвал в сторонку, министра национальной безопасности и указал на свернувшийся змейкой в гамаке ошейник. «Возьми и брось в огонь, — велел, — но только чтобы никто не видел». А сам спустился в овраг. Вернее, съехал. Не забывшие уроков в пионерском лагере по оказанию первой помощи телохранители, ухватив крест-накрест запястья друг друга, сплели удобное сиденье, заодно с готовностью подставились — один справа, другой слева, чтобы президент сумел обвить их бычьи шеи. Полагая паланкин Римского Папы под балдахином гораздо более комфортным и безопасным средством передвижения, Бородач позволил ногтям на пальцах постепенно погружаться в шею безропотных быков, оставляя на память тавро в виде полумесяца, коим кичится любой мужчина, если в доме нет ревнивой жены. Разулся он уже в лощине. Стянул носки и, перескакивая с камня на камень, достиг обломка скалы на середине реки, похожего на доисторическую черепаху. Погруженные в воду бока черепахи служили замшелым пастбищем для рыб, отбившихся от косяка, самые дерзкие или наивные пробовали на вкус белые пальцы президентских ног.

В студенческие годы Бородач вел дневник, но, как выяснилось позже, ничего из его собственной жизни тетрадь не содержала. Кусочки жизни великих мира сего, цитаты, крылатые выражения, остроты, а также переписанные из Ветхого и Нового Заветов премудрости. Когда он обнаружил, что дневник — вовсе не его дневник, а чужой, когда тут же на месте поискал и не нашел в пройденной жизни случая, события, достойных записи, сильно разочаровался и выбросил тетрадь. Впрочем, скоро уразумел, что тысячами тайных нитей связан с этой тетрадью. Что привык черпать оттуда мысли, формулировки, сообразные каждому случаю, событию, происходяще-

му в его собственной жизни. Есть ли под рукой тетрадь, нет ли, все равно — он и мысленно листал дневник.

Оседлав доисторическую черепаху и предоставив воде ноги с закатанными по колено штанинами, он мысленно разыскал ту страницу, где философ наводит на мысль, что одной лишь диковинности сюжета достаточно, чтобы внушить веру. «Необычные истории, отвергая обычные законы логики, лишают людей возможности противостояния». Отбираешь оружие и принуждаешь сдаться. Кто теперь может объяснить, каким образом змеевидный ошейник добрался из сумасшедшего дома в лес? В сумятице нелепых объяснений, предположений и заключений в глупейшей ситуации всегда окажется тот, кто вообразит, что постиг истину.

От министра национальной безопасности, когда он пристраивался рядом на доисторической черепахе, повеяло паленым, будто во святое исполнение президентского указания он спалил ошейник не в костре, а испепелил собственным внутренним огнем. Несомненно, он уже распорядился, чтобы сыщики уточнили, кто в последнее время посещал психиатрическую лечебницу, особенно минувшей ночью, кто родители малыша, кто соседи, приятели, учителя и не валяется ли часом ошейник в больничном мусоросборнике, не забился ли в канализационную трубу. Тот ошейник, что очутился в гамаке, по всей видимости, упал с дерева, и хотя ошейники на деревьях не растут, тем не менее если из всех отвергнутых вариантов останется идея падения с дерева, то нетрудно будет проверить, кто за последние пять лет на него взбирался и почему, не подвешивали ли к этому дереву барана с целью освежевать и в конце концов — пролетающие в этом направлении самолеты, что, сбрасывают только человечьи выделения?..

— Все, — довольный собой изрек министр национальной безопасности, — сгорел до последней ворсинки.

— Кто? — буркнул Бородач.

— Собачий ошейник.

— Понятия не имею, о каком ошейнике речь, — повысил голос Бородач, и министр прикусил язык, поздно сообразив, что выполнил указание лишь наполовину. Сжечь — значит уничтожить, исключить, не помнить. Сжечь — значит, не было, нет, не будет. Сжечь — значит остаться непричастным к мифотворчеству. Пускай весть разносят лесные птицы, пускай паленый смрад распространяет пепел, пускай тысячу и одну историю на ухо любовницам шепчут телохранители… А ты не вмешивайся. Не опровергай. Не подтверждай. Позволь и без того неординарному этому происшествию стать более диковинным и… более правдоподобным.

Над ущельем, с гитарой через плечо, показался певец Вруйр рядом с покачивающимся министром внутренних дел. Оба раскланивались по-цыгански, импровизированной песней извещали, что роскошный стол под могучим дубом, где, согласно преданию, тамадой выступал Ованес великий[1], ожидает господина, а без господского «Отче наш» никто не осмелится поднести рюмку к устам… Но жажда душит, господи-ин!.. Мы же не Одиссеи, господи-ин!.. Сирены тутовые, кизиловые, грушевые, яблочные зовут и зовут, голубые яхонты на цепочках, обвивших их тоненькие шейки, взрываются и вновь набухают, а руки наши связаны, уста наши зашиты, мы сохнем, как саксаул в пустыне…

— Почему министр обороны запаздывает? — осведомился Бородач, взглянув на часы — подарок Римского Папы.

— Мы его не нашли.

— То есть как не нашли? — удивился Бородач. — В этой величиной с ладонь стране сложно разыскать министра?

— Говорят, испытывает ракету в горах.

— Ракету? — расхохотался Бородач. — Собирается объявить войну Англии?.. У нас с соседями проблемы… Соседи — стенка к стенке, дверь к двери… Ракета над их головой пролетит…

— Они испытывают ракету короткой дистанции — уменьшенная модель прежних, советских…

[1] Ованес Великий: Ованес Туманян — классик армянской литературы (1869—1923 гг.).

— Это уже не ракета, а рогатка, — заметил Бородач и остался доволен своим остроумием. — А этот почему только сейчас заявился?

— Посадил вертолет на стадионе в Алаверды — там школьники в футбол играли. Одну команду он выбрал, другую — певец Вруйр. Два мяча он забил, три — певец Вруйр. Школьникам воздушные шарики подарил...

— Пьяный?

— Начали пить еще в вертолете.

— Одного нету, другой пьяный, — проворчал Бородач. — Вдвоем будем совещаться? Уж не ты ли устроил, чтобы один отсутствовал, а другой напился?

— Особенно и не старался, — улыбнулся министр национальной безопасности, — хотя, сказать по правде, предпочтительнее, чтобы сначала ты ознакомился с планом и сам же его им представил. Там есть пункт, вокруг которого тебе лучше бы ни с кем не совещаться... Даже со мной.

Пробиравшая ноги свежесть воды, а пожалуй, и паленый запах, исходящий от министра национальной безопасности, подсказывали, что отныне сон — днем ли посетит, ночью ли — будет здоровым, без кошмарных видений, без той тревожности, которую переживает человек и во сне, и в ожидании сна.

Здоровый сон, хоть он и съедает часы бодрствования и сокращает время деятельности, способен сохранить тебе волю. В дневнике по поводу этого явления, кажется, тоже есть записи... Вот: Александр Великий накануне решающего сражения с Дарием погружается в такой долгий и глубокий сон, что его приходится будить, мол, час настал, господин, время начинать битву. Не выспавшись перед сражением, Александр, по всей вероятности, его бы не выиграл, потому что окружение, природа, напряженная подготовка стали бы помехой для выбора точного момента нападения... Великий Катон, вознамерившийся покончить с собой и выжидавший спасительного бегства сенаторов, засыпает так глубоко, что в соседнюю комнату доносится его храп. А когда, разбудив, ему сообщают, что сенаторы не могут выйти в море, потому что поднялся сильный ветер, он направляет в порт еще одного гонца и засыпает снова. Перед самоубийством...

В дневнике были заметки и с другими примерами из жизни исторических личностей, но Бородач, полагая посвящение в план министра национальной безопасности первостепенным, более не слюнявил указательный палец памяти, листающий страницы.

На крутом обрывистом берегу министр внутренних дел исполнял танец с шашлычным шампуром тифлисских кинто, подстраиваясь мелкими пируэтами под шипение кусочков мяса, снизываемых по одному. Обжигая пальцы, он совал очередной кусок в рот — или себе, или певцу Вруйру, на струнах гитары которого капли мясного сока, застывая, превращались в сальные бусы и глушили звучание инструмента. «Ешь, — говорил певцу министр. — Хорошенько прожевывай и глотай... Кушай и пей, сколько можешь, только прекрати это свое нюханье... Вытряхни из карманов порошок и поклянись — прямо здесь и прямо сейчас! — больше не нюхать это дерьмо... Не пой — кушай!..»

Вруйр заливисто хохотал и посвящал министра в тайну, что, когда *порошишь* обнаженное тело женщины и, закрыв глаза, пускаешься в путь, вобравший все органы чувств язык превращается в неотвратимого, безошибочного монстра, от страха перед которым даже сокрытые в теснинах и складках порошинки невольно себя выдают, и неотвратимый, безошибочный этот монстр уже не нюханьем, а лизаньем поглощает все и вся.

— Мой господин, — пел Вруйр, — когда в период Движения ты восходил на подмостки и нес чушь, я видел, какое блаженство доставляет тебе одурачивание людей. Я испытываю такое же блаженство, когда выхожу на сцену... Но однажды ты бросил в толпу: «Чего пасть раскрыли и гогочете?» И толпа загоготала еще сильнее... В это мгновение ты достиг пика своего блаженства... Так и я достигаю своего пика, когда, теряя себя, обретаю в себе неотвратимого монстра...

— Однако твой монстр, в отличие от моего, переместился, оставив в штанах один только мочевой краник, — захохотал министр.

— Детство этого балагура прошло под игом недооцененности, — заключил

Бородач и, пока еще министр с певцом не расстегнули брюки, подал рукой знак, чтобы убрались продолжить соревнование монстров под кроной могучего дуба. — Не понимаю, зачем он балует этого ашуга-наркомана?..

План министра национальной безопасности включал два этапа, вернее, три, но последний реализовался бы самопроизвольно, если первые два увенчаются успехом. Сначала должны были опубликовать страницы из протоколов общего собрания Дашнакцутюн, которые посвящены обсуждению деятельности так называемого «Указательного» органа, в том числе — все выступления и доклады взбунтовавшегося Сафо. Особого внимания удостоились бы документы, где явственно проступают решимость дашнакцаканов не останавливаться в выборе средств и проявленный на деле смехотворный инфантилизм. Дело ведь затеяли серьезное — султана, в конце концов, хотели убить, верно? А кому поручили самую сложную и самую ответственную роль? — какой-то истеричной женщине[1], которую, несомненно, и в момент действия, и перед началом действия больше заботил размер букв, коими впишется ее имя в историю. Она, фактически, не утерпела нескольких секунд, ринулась навстречу будущему и, взорвав раньше времени напичканный ручными гранатами экипаж, отбросила историю как минимум назад на столетие. Заведомо провозгласившая себя жертвой истеричка осталась жива, но жив остался и султан. И, что самое смешное, кандидатура этой истеричной женщины определилась посредством жеребьевки. Вы такое видели? Же-ре-бьев-ки! Не умение учитывали, не здравомыслие или бесстрашие, не потенциал, а уповали на везение, на судьбу... Вот кто такие дашнакцаканы... Джангюлумские затейники[2] они... Даже в песнях похваляются своим джангюлумством. «Помните песню — "Тейлеряну повезло"?.. Представляете себе зависть автора песни?.. Писать песни для него ничто — хотелось самому вытащить из урны жребий на задание... А сумеет или нет — экая важность?..»

Под давлением пафоса министра национальной безопасности Бородач мысленно заглянул в тетрадь, но поленился произнести запись вслух, между тем она утверждала, что таким же инфантилизмом страдали апостолы Иисуса — с целью занять вакантное место предателя Иуды кинули жребий между Иосифом, которого именовали Варравой, и Матафией. Выпало Матафии. «Так что, дорогой, — это древняя болезнь», — заметил про себя Бородач.

Второй этап должен был продвигаться хоть и с некоторым отставанием, но параллельно первому, не дожидаясь его окончания. Специально обученные агенты должны были, шныряя на рынках, площадях, в парках и учреждениях, втереться в ряды оппозиционных сообществ, земляческих, общественных, творческих и профессиональных союзов и проповедовать значимость террора в период истории, когда обществу грозит опасность диктатуры. Враг ведь не только внешний бывает? Дашнакские террористы ведь не только по внешнему врагу стреляли? Они даже не погнушались выстрелить в Божьем доме, убить Божьего служителя. Да, проваливались тоже, но разве одна победа не уравновешивает тысячи провалов? И ради того, чтобы убавлялись провалы и прибавлялись победы, необходимо правильно выбирать мишень. Устрашить, поставить на колени султана можно, если терроризировать назир-везиров. Султан ведь назир-везирами султан...

— И когда эта идея созреет, а спрос сформируется, хотя и останется навсегда управляемым, можно будет даже позволить одному назиру или везиру сделаться жертвой, — заключил министр национальной безопасности и, помолчав, продолжил. — Вот этот вопрос выбора назира-везира должен решить ты, не советуясь ни с кем из нас... Только, прошу тебя, выбирай, исходя из целесообразности, а не по жребию из урны... Что касается террориста, то он вовремя окажется на месте происшествия... И в этот раз его ни один суд не спасет....

Бородач вспомнил, как с потрескивающего в пламени чучела сорвалась полыхающая голова и покатилась огненным шаром вниз по улице. И пинки по брызжущему

---

[1] Имеется в виду женщина по имени Рубина, участвовавшая в покушении на турецкого султана Гамида.

[2] Джангюлум — народный праздник.

искрами огненному шару тоже вспомнил и понял, что, если не чучельной, а его головы бы касались удары, боль была бы выносимее, чем горечь от унизительного воспоминания.

— Твой одноклассник тоже там? — спросил Бородач телохранителя Долдона и добавил, не дожидаясь ответа. — Где ж ему еще быть?..

— Он и есть поджигатель, — сообщил Долдон.

Потом он вспомнил выложенную из туфа стену в абрикосовом саду, мишень в черно-белых кругах, на которой был изрешечен самый маленький кружок.

— Да, — сказал Бородач, — он великолепно стреляет. Но зачем и как ему стрелять из тюрьмы?

— Стрелять он не будет, — улыбнулся министр национальной безопасности. — Как я уже говорил, точно в момент выстрела он окажется на месте происшествия.

— Пистолет с дарственной надписью Громова? — ожесточился Бородач.

— Пока не обнаружили.

— Угу, вместо реального оружия взвалили на него арсенал целого батальона. Кто бы поверил?.. Грубо работаете... — Лицо Бородача приняло точно такое же выражение, как у начальника тюрьмы, когда министр национальной безопасности, вместо порицания, распорядился охранять как зеницу ока и Гора, и его мечту выйти на несколько часов из тюрьмы.

— А своих неотесанных надзирателей — увольняй. Они порочат честь нашей независимой страны...

Аветик поставил телегу позади автомобиля с дипломатическими номерами прямо под балконом бывшей квартиры господина зятька на улице, прилегающей к парку. Дал коню сена, наказал ждать и замер, пораженный — из Ангеловых глаз катились слезы. Как в день ареста Гора. Что конь плачет, первой заметила Овсанна, когда отвернулась, чтобы не видеть, как на запястья сына надевают наручники и тупым ударом колена подталкивают в сторону улицы, где между двух танков стояла передвижная тюрьма с зарешеченными окнами и дверью. Понятые заверяли подписями результаты обыска и тайком от полицейских ловили взгляд Аветика, чтобы пожать плечами, дескать, страсть, как сочувствуем, но что мы можем поделать? Оружие ведь, боеприпасы надо в оврагах хранить, в лесах... В соседнем дворе Енокова вдова зажимала ладонью рот сыну, проклиная день, когда развязался его язык, а все еще вкушающий аромат раскрепощенного слова немой вертел головой, чтобы крикнуть: «Фа-шист, фа-шист!» Ребята из военной полиции автоматной очередью прошили бы и мать и сына, если бы местные полицейские не убедили, что визжащий — просто дурачок: «Думает, что это кино... А в какой деревне их нет? Вот этот немой и есть наш дурачок». И подсказали Еноковой вдове держать сына под замком или дать ему снотворное. Соседи растворились по домам, заперли двери и окна и отваживались наблюдать за происходящим сквозь щелочки в занавесках. Солдат, стоявший на макушке танка, обозревал окрестности в бинокль, дознаваясь, ветер это качает ветки на деревьях или участники переворота сидят в засаде.

Овсанна не плакала, не кричала, не протестовала, и это ее неестественное поведение тревожило. Равнодушие было написано на ее лице, а не презрение; она по-настоящему не испытывала боли, а не то, чтобы пыталась сдержать боль. Успела только ткнуть пальцем в сторону плачущего Ангела и повалилась, упала в объятия подоспевшего Аветика...

— Что случилось? — ласково спросил Аветик и погладил коню, гриву. — Устал, да?.. Все вы устали, — проворчал, — умерли или хотите умереть... А мне что делать?.. Ладно, потерпи... Сейчас найду Вароса, отдам ему бревно и домой вернемся... Торопиться не будем — кому нас ждать? Тихонько пойдем, беседуя...

...Сона прилетела утренним самолетом. Целовала матери уши и не могла заплакать. Иссохла в самолете — глаза покраснели, разбавленная слезами тушь размазалась по лицу.

К поминальному столу Сона привезла продукты, свечи и пачку денег. «Осенью верну, — сунув связку в карман, сказал Аветик. — Фрукты продам, верну. Думал, у нас отложенные деньги есть, оказалось — фасолевые зерна». «Что ты говоришь, отец?» — снимая с себя цепочку, серьги, кольца, расплакалась, наконец, Сона.

«Говорю, осенью верну. Фрукты продам, верну». «Я что, не имею права похоронить свою мать? — вскрикнула осиротевшая дочь и обвила руками шею отца. — Что ты такое говоришь, отец? — Рыдала, колотила отца по спине. — Чужими стали, да?.. Это моя вина... Прости... Я не оставлю тебя в этом аду...» — «В аду твои свекор со... свекровью пребывают... Их спасайте...»

Аветик вытащил из кармана четки и, попарно прибирая в горсть зерна, силился восстановить в памяти черты лица мастера Вароса. У торговца шкатулками, пепельницами, насадками для ручек, трубками из чертова когтя[1] был крупный горбатый нос, и как будто мало было горба, на нем еще торчала выпуклая родинка. Такой солидный нос впору было в брюки облачать, а не легкомысленной родинкой украшать. Такое лицо не забудешь, а вот лица Вароса он не помнит. Не помнит, потому что как следует и не разглядел. Больше был увлечен его древесиной. Ну и... работой.

Это только на первый взгляд казалось, что все четки у Вароса одинаковые. Искусность мастера определяла степень полировки: часть зернышек была до того гладкой, скользкой, что не ловилась под большой палец, увиливала, сбегала, а другие уступали в своей гладкости первым и не всегда сбегали. Зернышки же третьей группы имели хоть и неприметную для глаза, но отчетливую щербинку. Расчет был сделан гениально — под большой палец попадали в основном щербатые зернышки, а это значило, что твой перечет закончится «благом». Всякий перечет, который открывало щербатое зернышко, завершался «благом», иногда лишь то, что ловилось с трудом, было «Богом», а скользкое, почти неуловимое — «бедой».

— Где варпет Варос? — спросил Аветик мастера, работавшего с чертовым когтем. — Он свой товар в этих краях продавал.

— По камню?

— Нет, по дереву.

— Вперед пройди, отец, — горбатым носом указал в глубь сада чертов коготь. — Здесь каменный век... И следи за карманом, — прокричал Аветику вслед. — Не видишь, что ли, — пацан к поле пиджака прилип...

Простоволосый, с оторванными на курточке пуговицами шмыгающий носом побирушка, вместо того чтобы на чертов когтев донос улизнуть, еще ближе подвинулся, прижался к коленям Аветика. Как замерзший котенок. И мурлыкал меж Аветиковых коленей. Аветик не сразу догадался, что мальчик разговаривает, что вместе с мурлыканием и мокрядью подбородка между коленями трепещут слова. Наклонился — услышать:

— Скажи, что ты мой дед...

— Кому сказать, парень? — Аветик пришел в волнение, уперся согнутым коленом в лед, утер побирушке нос.

— Скажи — пришел меня забрать...

— Кому сказать? — повторил Аветик и попытался заодно обтереть мальчишке платком пятна грязи на щеках и на лбу, но край платка скользил по неподвижному холодному воздуху, как по стеклу.

— Тому, кто ко мне подойдет, — прошептал мальчик.

— Ладно, — согласился Аветик и, не узрев вокруг ничего подозрительного, обхватил замерзшую лапку мальчика, вышел из каменного века, зашагал в глубь сада. Извилистая тропинка в грязных сугробах казалась канавой, полной сточных вод, а мелькавшие тут и там малолетние попрошайки выглядели как вооруженные прутьями развязные шалопаи.

Порожденная дрожью замерзших мальчишеских рук и ангеловых слез тревога приобретала форму указующего перста и, не понимая языка нищенской пантомимы, стремилась к ереванской тюрьме, чьи ворота захлопнулись перед Аветиком месяцы назад. Новый начальник тюрьмы на телефонные звонки не отвечал, охранники взяток не брали, отбиваемый в стенку камеры стук не расшифровывался и не просачивался на свет Божий.

Одна из книг, унесенных из дома кума якобы для продажи, являла собой мемуары, изданные в Бейруте. Вырвавшийся из ереванской тюрьмы летописец цитировал

[1] Чертов коготь — обсидиан.

письмо другого бывшего заключенного, где были такие строки: «Помнишь, как разорвали мертвую тишину ружейные залпы?.. Заперли заключенных в комнате внизу и стреляли... Помнишь наглое лицо начальника тюрьмы, который явился наутро позже обычного, чтобы справиться: «Как поживаете? Какие у вас пожелания?» Мы желали прогуляться и жаждали, чтобы эта адская ночь не повторилась. Он обещал... Помнишь, когда вышли на прогулку, коридор был весь покрыт еще не просохшей кровью наших товарищей? И когда вышли во двор, ступая по влажному от крови полу, крупными хлопьями падал снег. Был февраль месяц... И когда начальник тюрьмы приказал нам шагать поодиночке, друг за другом, мы видели, что на свежем снегу отпечатываются багряные следы наших ног... Помнишь последнюю ночь?.. Уставшие, вы все сладко спали, а я в дурных предчувствиях не смог ни на минуту сомкнуть глаз, провел самую жуткую в жизни ночь — в поту и ознобе. Вы спали и не ведали, какое гнусное совершалось внизу злодеяние. Не похожее на прошлую ночь, когда жертв убивали из ружей и пистолетов. В эту ночь убивали топорами, чтобы не слышно было, чтобы не нарушать тюремного покоя... Нам ведь обещали... Но я слышал глухие удары топора, звук валившихся на пол трупов...»

Тюрьма есть тюрьма — персидская она, русская, турецкая или армянская. Закрытая территория, чьи неприступные стены порой пробиваются изнутри, но никогда — снаружи. Время внутрь не просачивается, не дробится на годы, месяцы, сутки, часы, мгновения, оно неспешно скользит, как постаревшая равнинная река. Минуют века, сменяются формации — тюрьма остается прежней.

— Знаешь, кто это? — показывая из окна кабинета на ворошащего мусорную кучу арестанта, спросил бывший начальник тюрьмы. — Держу пари, что не признаешь. — Глотнув тутовой водки, довольно облизнул губы и повторил: — Держу пари, что не признаешь... — Аветик приблизился к окну, прижался носом к стеклу и увидел, как охранники пинками, словно уличного пса, отгоняют арестанта от свалки. — Мы его уже выписали, — сказал начальник тюрьмы и, растворив окно, прокричал: — Мусор вынесите со двора, сучьи дармоеды, мусор!.. — И обернувшись, продолжил: — Не сегодня-завтра отправим его туда, где все неузнаваемы... Как узнать того, кто уже не он?.. Наполеон, Сталин, инопланетянин, автомобиль, животное... А этот вот — обжорой стал... Вернее — всеядным. Какой все-таки легкопортящийся инструмент — мозг человека!.. Чуть надавишь — расстраивается... За Гора своего будь спокоен... Его здесь и пальцем не тронут...

Из тюрьмы Долдона отвезли в психушку, но улучшить материальное состояние этого медицинского учреждения не соизволили — а было это крайне необходимо, потому что вследствие неосмотрительных побоев у бывшего телохранителя в мозгу исказились какие-то рецепторы, бросив его в когти голода. Он пожирал все, что жевалось. Вареным, сырым — не важно. Соорудив из наволочки пакет, собирал пайки единодольцев, а когда его изолировали и стали кормить отдельно, он поедал салфетки, штукатурку, жевал простыню, пух из подушки и вату из матраса. Ночью, когда все сиделки и дежурный врач засыпали, наполеоны, сталины, инопланетяне, автомобили и разнообразные представители животного мира выстраивали перед своими дверями баррикады, потому что опасались, что это новоявленное существо может сожрать любого из них. Почему — непонятно, но Долдон не набрасывался лишь на Малыша, выходившего на прогулку с ошейником в руке, и не дотрагивался до его еды, оставленной в столовой. Наоборот, иногда потчевал Малыша кусочками мяса из стянутых с кухни объедков и сам же немедленно их поглощал, потому что Малыш отказывался. Наполеоны, сталины, инопланетяне и разнообразные животные руками и глазами вразумляли Малыша отказываться от угощения, поскольку были уверены, что пока он напоминает щуплого цыпленка, всеядный минотавр не позарится его съесть. В конце концов, в целях предотвращения банкротства и восстановления внутреннего покоя учреждения, минотавра отправили домой.

Долдоновы родители на сей раз пришли в дом к Аветику без торбы, съежившимися, усохшими привидениями, исходящий из беззубых ртов шелест был мольбой — еще раз спасти их несчастного сына, — лучше бы он вышел из тюрьмы вором в законе или самкой, а не монстром, превратившимся в вечнодействующую мельницу, чье помольное зерно небесконечно и, увы, обречено на голод в этой проклятой стране. К

счастью, Долдон еще и пасся, и пока мать готовила еду, поедал произраставшую под деревьями люцерну, козлобородник, портулак, спорыш и даже крапиву. От крапивы у него повышалось давление, и ни одна капля хлынувшей из носа булькающей крови не падала на землю — он ложился на спину и сглатывал взбунтовавшуюся кровь.

— Яблоки-скороспелки могу дать, — сказал Аветик, — сливу... то, что уже поспело... Остальных фруктов тоже дам, когда созреют... Яйца могу дать...

Шелест беззубых ртов дал понять Аветику, что, покуда лето и сын пасется в свое удовольствие, недостатка в пище они не испытывают и тревожит их вовсе не это, тем более что страсть к еде, как уверял мргашатский чернокнижник, вовсе не обязательно утолять полностью, потому что это психологическая страсть, а не биологическая потребность.

— Чем же еще я могу помочь? — растерялся Аветик.

Мргашатский чернокнижник пролистал Шеститысячник[1] — с начала до конца, потом с конца до начала, выписал из таблиц Анании[2] числа, прибавил, отнял, умножил и разделил и понял из полученного результата, что Долдоново сознание повредилось не от побоев, как полагали родители, а от обостренного чувства собственной греховности.

— Раскаяние больше не поможет, — сказал чернокнижник, — потому что он не способен каяться. Спасение в одном — его должны простить те, против кого он согрешил...

— Список составили? — сухо спросил Аветик.

— Какой список? — зашелестели Долдоновы родители.

— Всех тех, против кого согрешил.

— Нет, братец Аветик, про список чернокнижник ничего не сказал.

— Когда составлять будете, мое имя зачеркните. Я его прощаю.

— А Гор? — поинтересовались родители.

— Гор в тюрьме, — буркнул Аветик.

— Знаем, братец Аветик, знаем, но можно весточку отослать, вразумить, что спасение товарища в его прощении...

— А в чем спасение Гора? — не выдержал уже, взорвался Аветик. — Почем я знаю, что он сейчас тоже не какой-нибудь Наполеон?.. Жизнь прожили— не догадались, что и у Господа, и у человека просят ровно столько, сколько он может дать?..

Информацию о неофициальной встрече министра обороны и оппозиции пресс-секретарь президента не подтвердил и не опровергнул, а также отказался от каких-либо комментариев, потому что распространявшееся с раннего утра по всем радиостанциям это сообщение поместилось в кожаный портфель министра национальной безопасности только после соответствующих экспертизы и анализа и было доставлено во дворец с опозданием.

Министр обороны предложил оппозиции положить конец фидаинской борьбе и объединить вооруженные отряды. «Если мы — государство, — сказал он участникам собрания, — мы должны иметь единую армию». Ударили по рукам и пообещали друг другу, что такая зараза, как политика, в армию проникнуть не должна. Министр также обещал выхлопотать у президента освобождение политических заключенных.

— Вино тоже пили? — поинтересовался Бородач, видимо, полагая, что при подписании подобных соглашений совместное винопитие ценится больше, чем рукопожатие.

— Сегодня будут пить, — поспешил доложить министр национальной безопасности. — На Армавирском стрельбище... Там соберутся командиры всех вооруженных отрядов... Уже зарезали несколько баранов, одного бычка, переправили на стрельбище ящики с вином, вручили Норапатской пекарше Вардуш мешок муки, чтобы лаваш испекла...

---

[1] Шеститысячник — книга с магическими числами и предсказаниями.

[2] Анания Ширакаци — армянский философ, математик (середина XVII века), предполагаемый автор Шеститысячника.

Неприкрытое ликование министра национальной безопасности разозлило Бородача больше, чем едва ли не предательский поступок министра обороны.

— Почему ты мне навязываешь роль обманутого мужа? — спросил Бородач. — Почему я должен позже всех узнавать о том, что творится в стране?

Он давно уже ощущал себя в роли обманутого мужа: стена, ограждающая дворец, металлоискатели, стража, телохранители, двуполая, пропахшая кофе молодежь администрации выстроили несокрушимую, хоть и невидимую, преграду между внешней жизнью и внутренней, рутинной. Созданный с целью безопасности этот быт, однако, каждый Божий день фиксировал его бесполезность. Иностранные послы в своих, на первый взгляд ни о чем не говорящих беседах были осведомлены о положении дел в стране лучше, чем он; руководители больших и малых заинтересованных держав затрагивали по телефону вопросы, рождение которых прошло внутри страны незаметно, а когда замечалось и проникало в портфель министра национальной безопасности, оказывалось, что ты — вернувшийся из тюрьмы несчастный отец, потому что все это время не видел, как растет твой сын.

— Зачем бы тебе понадобилась сырая информация? — оправдывался министр национальной безопасности. — Сырая информация не имеет вкуса и запаха, сырую информацию любят кушать недовольные жизнью мещане... Они сами, согласно собственным пристрастиям, сообщают информации вкус и запах.

— А ты беспристрастен, да? — повысил голос Бородач. — Твои наперченные доклады жгут мне кишки... Я как раз и хочу сырой информации — чистой, нетронутой... Почувствую потребность в перце — сам приправлю... И опусти ты эту свою пляшущую ногу... Страна гибнет, а ты свою пляску пляшешь...

— Получается история Карапета и Айрапета, — проворчал себе под нос министр национальной безопасности, опуская ногу-плясунью с ноги-постамента. — Один гадит, другой подтирает...

Ты сам — и Карапет, и Айрапет. Одновременно. Хотя хочешь быть только Карапетом. Почему только ты? Вы все... Вы все — Карапеты... Кто ему дал право бежать поперек моего указа? — стукнул рукой по столу Бородач. — Кто дал право искажать содержание моего указа?

Отыскав на соответствующей странице в дневнике подходящую моменту запись, он вдруг почувствовал, что впервые восстал против дневника. «Необязательно, необязательно! — завопил в нем восставший. — Утрата чистоты идеи необязательна, если у реализующего — чисты и мозг, и рука... Незначительные отклонения будут, потому что и сопротивление воздуха вызывает отклонение, и комариное жужжание, и резкая смена погоды. Отклонение лишь не должно господствовать. Как только станет господствовать — превратится в процесс реализации иной идеи».

Все эти фидаинские отряды, согласно указу, были бы объявлены вне закона, то есть разоружены, и не все бы из них влились в армию. Тем более те, кто является поколением армянского исторического авантюризма, кто с удивительной живучестью, подобно замороженному семени, может дремать в анабиозе и вдруг выскочить наружу — с ружьем в руке и папахой на голове. И еле сдерживаешь смех, когда со страху перед этими авантюристами твой могучий сосед демонстрирует в приграничных районах масштабные маневры. И чтобы тебе, в конце концов, не взорваться хохотом, соседская дипломатия старается не усматривать какой-либо связи между нарастанием напряжения в Арцахе, явлением папахоносцев и маневрами. «Эти маневры — заранее спланированные, — заявил московский посланник соседней страны, — и настроения вокруг этих маневров создала пресса. Чтобы избежать в дальнейшем ошибочных выводов о намерениях Турции, стороны должны уяснить ситуацию путем непосредственного общения. А это возможно будет только после установления дипломатических отношений между Арменией и Турцией».

— Мы тоже такого мнения, — высказался Бородач. — Мы готовы создать и развивать многосторонние взаимоотношения с вашей страной, опираясь на принципы безопасности и сотрудничества Совета Европы.

— Ссылка на эти принципы недостаточна, — заметил посланник. — Армения должна подтвердить, что не имеет к Турции территориальных претензий. Наше правительство, — особо подчеркнул посол, — в этом вопросе испытывает общественное

давление, следовательно, не может установить с Арменией дипломатических отношений без ссылки на территориальный вопрос.

— Господин посол, — ответил Бородач, — любое правительство в любой стране находится под общественным давлением. Мы тоже.

— Но вы, в отличие от нас, владеете ситуацией, — польстил ему посланник. — Мы внимательно следим за событиями, происходящими в вашей стране. Вы не так давно взяли курс на демократизацию, и естественно, что мир закрывает глаза на грубость некоторых ваших шагов. Нам же такого не прощают. Хочу сказать, что общественное давление в нашей и вашей странах имеет, пожалуй, одинаковую силу, но разными являются противодействия. Вы выгодно отличаетесь от нас, потому что ваше противодействие общественному давлению пока еще не осуждается в тех международных структурах, где занимаются исключительно осуждением других. Вас они пока не осуждают... А мы ценим ваши, даже кажущиеся незначительными, шаги...

Разоружение отрядов, с одной стороны, решило бы проблему изоляции авантюристов, с другой стороны, смягчило бы гнев соседней могучей страны.

— Не все потеряно, — прочитав мысли президента, произнес министр национальной безопасности. — Если ты уже сделал выбор, это даже лучше, что указ запоздал с обнародованием... Крен можно выправить...

— Какой выбор? — спросил Бородач и ужаснулся выражению лица соратника. Глаза министра национальной безопасности, словно два острых буравчика, пробуравили Бородачеву память — выкорчевали древесную стружку, опилки, распространяя по кабинету лесные ароматы. — Ты чудовище, — прошептал Бородач.

— Чудовище-хранитель, — поправил министр национальной безопасности. — За счет ангелов страну не удержишь. Государству необходимы чудовища-хранители...

Бородачу почудилось, что его дневник безвозвратно попал в руки сидящего напротив и тот сейчас, слюнявя палец, листает полные премудростей страницы, чтобы отыскать мостик от сформулированного к формулирующемуся, от исторических прецедентов — к запланированному грядущему.

— Я был уверен, — по-своему истолковав молчание президента, произнес министр национальной безопасности, — что ты сделаешь правильный выбор...

... — Если я тебе дед, — сказал Аветик мальчику, — то должен знать хотя бы твое имя. Конечно, есть деды, которые не знают, как зовут их внуков, но они умерли. А я, как видишь, живой.

— Меня называют Сопливым, — шмыгнул носом мальчик. — У всех из носа течет, но только меня прозвали Сопливым.

— Приставшее имя всегда больше подходит, чем настоящее.

— Как это? — не понял мальчик.

— Имя в метрике — это что-то вроде одежды. Либо она тебе впору, либо нет. Мала или велика — все равно. А кличку всегда шьют по твоему размеру... Похоже, ты напуган — ничего часом не украл?

— Это они говорят, что я ворую, — пожаловался Сопливый, — но я не вор. Я плачу столько же, сколько и все — разве моя вина, если мне больше остается? Я что — виноват, раз меня больше жалеют?

— Что в тебе жалкого, парень? — деланно рассердился Аветик. — Вытри нос, умойся, причешись, пришей пуговицы — будешь как гимназист. Что в тебе жалкого?

— Если вытру нос, умоюсь, пришью пуговицы, кто мне денег даст? А так все жалеют.

В один миг мальчик преобразился: тело забилось в конвульсиях, лапки слабым движением очертили в воздухе круги, а между искривленных полураскрытых губ потекла слюна.

Аветик горько усмехнулся, легонько стукнул Сопливого по шее, сказал:

— Кончай... Имеющий деда юродствовать не станет...

Сердце щемило, а что делать, не знал. Закинуть этого котенка за пазуху и домой забрать? Страна переполнена бездомными, безродными котятами — которого забрать? — и хоть бы одна мать-кошка бегала по крышам, чтобы увидеть, под надежным

ли кровом крышей нашел приют ее детеныш. Оборвались межплеменные связи — побег, идея растворения в другом племени, благополучном племени, кажется спасением. Поиски уютного, тепленького сосуда. А на свой сосуд наплевать. Свой сосуд — это мембрана. Скорлупа своего сосуда рассыпалась, осталась мембрана. Вырвавшееся как джин из чужого сосуда армянорожденное извержение становится прославлением чужого сосуда, а не духа своего племени, чье извержение было бы мощнее, вырвись оно из собственного сосуда.

Сердце щемило, безысходность застряла в горле, и босоногая в поисках выхода мысль нащупывала опорные выемки на влажных стенках колодца. Пять ямочек для левой ноги и столько же для правой. В нос бил прохладный дух воды, и сбегающие из-под ног содранные песком брызги искажали во мгле образ сверкавшей в чуть волнующихся водах шкатулки.

— Дом твой где? — спросил из колодца Аветик.

— Меня с дерева сорвали, — ответил Сопливый с неба.

— С дерева? — удивился Аветик и по грудь погрузился в воду. — С дерева абрикосы срывают, парень...

Непромокаемый пакет, в который была завернута тещина шкатулка, прохудился, и песчинки уже поедали следующий слой свертка. Появившийся у кромки колодца Еноков немой выделывал на радостях кренделя и давал сверху указания Аветику — бросить найденное сокровище в ведро.

— В вед-ро, в вед-ро...

— Эй, парень, помолчи, — проворчал Аветик, — язык развязывается не затем, чтобы им без толку молоть...

Сказка про склад с боеприпасами лопнула, как шарик, но опровергнуть факт существования пистолета с дарственной надписью генерала Громова было невозможно — Бородач сам видел пистолет, трогал пальцем изрешеченный, впавший центр мишени, пытался пересчитать пустые гильзы, из которых соседский недоумок двухметровую Пизанскую башню возвел. «Он в надежном месте, — сказал Гору Аветик. — В колодце. Но если это будет на пользу делу — сдам». «Нет, не сдавай, — сказал Гор, — но из колодца вытащи... Металл и вода — враги...»

Радость Енокова немого приумножилась, когда Аветик вынул из шкатулки не сокровище, а пистолет-сорокоубийцу.

— Ты хоть понимаешь, зачем у тебя язык развязался? — в последний раз предупредил Аветик.

— Кам-нем, кам-нем, — хохотал Еноков немой.

— Откуда я знал, что случится землетрясение? — сказал Сопливый. — Никто не знал. А кошка знала. Она меня царапнула и бегом забралась на дерево. Я тоже за ней. На дереве сидел, когда дома в деревне обваливались... В детдоме говорили, что меня спасла кошка.

— А почему в детдоме не остался?

— А я туда кошку с улицы принес. Обедом с ней делился. Мне сказали — больше землетрясения не будет, сказали — землетрясение путешествует по миру, из нашей страны отправилось в другую и пока снова вернется, тысячу лет пройдет... И выгнали кошку... Я и убежал... Не веди меня в детдом... Все равно сбегу. — Щупленькие пальцы мальчика выскочили из Аветиковой горсти и снова вернулись в такой панике, с какой случайно прикоснувшаяся к огню рука человека ищет остужающее укрытие. Проследив перепуганный взгляд мальчика, Аветик обнаружил взобравшееся на пьедестал великого художника коротенькое и кругленькое существо, сбившиеся вокруг него малолетки-попрошайки показывали направление продвижения Сопливого. Аветик, чтобы хорошенько разглядеть взобравшегося на пьедестал, зажмурил один глаз и прищурил другой, и почудилось ему, что в нагрудном кармане щелкнула пружина пистолета. Удобной, очень удобной мишенью был взобравшийся на пьедестал — без черно-белых кругов и без центра. Куда бы ни стрельнул, получалось — в центр. Но щелкнула не пружина — оживились зернышки четок, отплясывали в ладони, а выстроенные на столике деревянные статуэтки, шахматные фигуры, разной величины хачкары и подносы прямо-таки зазывали, манили своим абрикосовым запахом.

— Ты не Варос, — сказал Аветик молодому хозяину столика, — но статуэтки — Вароса.

— Да, — сказал парень, — отцовских рук дело.

— Не заболел ли он часом? — забеспокоился Аветик. — Мерзляк был. Холод в него пробрался, никак не отпускал. Разговаривая, зубами стучал.

— И то правда, мерзляк был, — согласился сын Вароса, — но умер от инфаркта.

— Жаль, — опечалился Аветик. — А я ему бревно привез. Весной еще обещал. Вон, в телеге, под сеном. Ждал его, ждал, не приехал он в Армавир, я и решил сам привезти. Смотритель рынка хотел, чтобы я ему для рубки мяса отдал, но мой товар — не колода для рубки мяса...

Еще хотел сказать, что некоторые из цирковых фокусников почему-то любят раскрывать зрителю секреты чуда и как только рассекречивают, чудо испаряется, превращается в обычный трюк. А чудо Варосовых четок вовсе не испаряется, даже когда догадываешься, как хитроумен и смекалист был мастер, чтобы принудить тебя повести перечет так, что всякий раз он завершается «благом».

У него еще были слова в адрес Вароса, но момент был неудобным, тем более что заметил, как гонцы взобравшегося на пьедестал приблизились к Сопливому, дергали его за рукав.

— Сопливый, ты? — Варосов сын нашел способ увернуться от нежелательного разговора. — Не узнал тебя, паршивец. Приличным парнем стал... Так изменился, что приятели твои уже у тебя выклянчивают да?..

— Не выклянчивают, — ответил Сопливый и кивнул в сторону памятника, — хотят отвести к Батону...

— Ну-ка, убирайтесь отсюда! — прикрикнул сын Вароса на Батоновых гонцов. — Кышш!.. Батон, — обратился он к Аветику, — это президент сиротской республики, самый главный человек в нашей стране...

— Слыхал я про него, — сказал Аветик. — Говорят, по три петушка в день съедает.

— Я не знаю, какую пользу стране приносит настоящий президент, — сказал сын Вароса, — но этот, не тратя ни лумы из государственной казны, содержит всех сирот.

— Это он нас содержит или мы его? — запротестовал Сопливый. — Если мы ему не будем давать, как он будет нас содержать?

— Всякое государство, дорогой мой Сопливый, так и живет — все платят налоги, чтобы государство жило. Кто скрывает доходы, тот ослабляет родное государство. А у слабого государства бывает такая нищенская казна, что оно затрудняется оплатить, скажем, инкрустированную дверь особняка министра внутренних дел. И мастер, изготовивший дверь, вынужденно получает инфаркт.

— Что будем теперь делать? — спросил Аветик, догадавшись, что умерший от вынужденного инфаркта мастер — это Варос. — Как будем вопрос решать? День короток, скоро стемнеет. Мне предстоит долгий путь.

— Какой вопрос, дядя?

— Вопрос бревна.

— Я-то подумал, намереваешься призвать к восстанию, — разочаровался сын Вароса. — У нашего народа кровь вечно в феврале закипает... Только крышка у нас дырявая, дядя, пар не накапливается — клубами выходит, рассеивается... Сколько твой товар стоит? — спросил сухо. — Моему отцу многие должны, но он не останется ничьим должником...

— Твой отец мне ничего не должен, парень, — произнес Аветик. — Он за бревно заплатил... Если тебе не нужно, верну деньги, а товар обратно заберу...

— Странный ты старик, — признался сын Вароса. — Знаю, что обманываешь, но обманутым себя не чувствую.

— Я у отца твоего научился такому способу, — ответил Аветик. — А тебе этот талант по наследству не передался?

Сын Вароса нагнулся, вытащил из-под ног обтянутый кожей ветхий чемодан, рукавом смел в него содержимое столика.

— Осторожней, парень, — укорил Аветик, — не щебень сыплешь! Видно, не передался...

— На мне природа отдыхает, — засмеялся сын Вароса, пытаясь закрыть чемодан. — Из парка выйдем вместе... От меня не отходите... Особенно ты, Сопливый... Знаешь, верно, законы вашего государства?

— Однажды меня судили, — сказал Сопливый. — Все накопленные деньги забрали. Потом побили...

— А зачем было бить, — удивился Аветик, — если деньги уже отобрали?

— Думали, еще есть. А у меня не было. Нет, было немного, но я говорил, что нету.

Замок на чемодане заело... или обледенел. Сын Вароса стянул с себя широкий военный пояс, обвязал разинутый чемодан и сказал:

— Нас разоружили, правда, как беспризорных псов выгнали на улицу, но наш февраль еще наступит... Хочу сказать, дядя, что пока я с вами, Батон не приблизится... Только вот ты в Армавир уедешь, я домой пойду, а Сопливый снова попадет к нему в когти. Растерзает его Батон, кожу сдерет... Где-нибудь подальше от людских глаз — на кладбище или на городской свалке. Будет лучше, если ты его в детдом отведешь. Там тоже не рай, но хоть крыша над головой есть и миску похлебки дают. Хочешь, я отведу? Жалко его. Из него хороший артист получится.

— В детдом не пойду, — завопил Сопливый и рванулся бежать, но лапкой был заперт в сжатом кулаке Аветика. — Пусти! — Взбесившимся котенком вцепился в замок из плоти и крови, искусал. Покусывая, безуспешно охаживал Аветика между ног щуплым коленом. — Пусти меня, старый хрыч, а то кишки тебе выпущу...

— Ты уже хватил, паршивец! — сын Вароса схватил Сопливого за ухо, тянул до тех пор, пока мелкие, остренькие зубы мальчика не отпустили кулак Аветика. — Мы тебя спасти хотим, а ты кусаешься...

— Хотите спасти — так вон того убейте. Он турок. Крест на шею повесил, но — турок... Снаружи турков бьете, а кто внутри будет убивать?..

— Ну что, дядя? — горько улыбнулся сын Вароса.

Трупоторговец-армянин от имени коллеги-азера сообщил Аветику, что тело Гора целиком, к сожалению, продать не смогут, потому что, во-первых, осколки гранаты, во-вторых, нож противника расчленили целое. В подробности не вдавался — пощадил отцовское сердце и за собранные в ящик останки запросил полцены от заранее обговоренной.

— Хотя, — добавил трупоторговец-армянин, — между нами говоря, собирать по кускам — хлопот больше.

— А как я пойму, что это останки моего сына? — спросил Аветик.

— Мы чисто работаем, — заверил трупоторговец-армянин и в качестве секретного пароля нашептал день, час и место вручения ящика. И пока условленный день приближался, Ангел доставил полуживого Гора в больницу...

— В детдом не пойду, — визжал Сопляк, — пускай меня растерзают...

— Разве я тебе не дед, парень? — наконец, вмешался Аветик, обтер стекавшую по кулаку кровь. — Какой дед сдает внука в детдом?

— Э? — удивился Сопливый. — В детдоме у некоторых и отец есть, и мать.

— Они — не отец и не мать.

— А кто?

— Кукушки, вот кто. Несут яйца в чужих гнездах, а сами в свое удовольствие кукуют.

— А разве у Туманяновской кукушки не было трех птенцов?

— Были.

— А зачем говоришь, что в чужих гнездах несутся?

— Птенцы только у Туманяновской кукушки были. Остальные кукушки — бездетные.

— Кто сказал?

— Ученый. В этом мире рядом с писателем и ученый ходит.

— А откуда лиса узнала, что у Туманяновской кукушки есть птенцы?

— Ума палата, — сказал, подмигнув Аветику, сын Вароса, — ведь лиса тоже Туманяновская, и ворона, и собака под кустом. Созвал он их как-то к себе в Вернатун и сказал: «Ты, кукушка, хватит тебе подкладывать свои яйца под другую несушку, сама вылупляй птенцов и заботься о них. А ты, барыня-лисица, соври кукушке, что, мол, топор у тебя есть. Нет, сказал, топор я тебе не дам — попади хитрецу в руки еще и оружие, мир разрушится.

— А вороне что сказал?

— Вороне ничего не сказал... Что мог сказать Туманян трехсотлетней вороне? Мудрого уму-разуму не учат, у мудрого ума-разума набираются...

Аветика удивила скорость, с какой появившиеся из разных концов парка на свист Варосова сына парни в старых бушлатах окружили памятник художнику и стащили с него Батона. Малолетние попрошайки рассыпались по парку и наблюдали из-за деревьев низложение президента их республики. Батоновы коротенькие ножки и ручки беспомощно трепыхались в воздухе, а лапка Сопливого более не бунтовала в Аветиковой горсти, и казалось Аветику, что его и мальчика пальцы месят мягкое, теплое тесто...

...Избитый, вывалянный в грязи Гор вскарабкался на дерево и вознамерился не слезать, пока не спадут отеки на лице и не сойдут синяки, которые в качестве военного трофея он прихватил с Главного канала. Брата заметила Сона — решила было, что на дереве засел голодный сокол, побежала выгонять кур со двора, в спешке закрывая дверцу курятника, споткнулась о бугорок и растянулась на земле, обнажив увенчанные красным треугольником белоснежные бедра. То ли уличный ветер распахнул Соне подолы, то ли искрящийся меж разноцветных лоскутов, развешанных на веревке, треугольник пощекотал глаза мальчишкам, обозревавшим мир с окрестных крыш, неизвестно, но на берегах Главного канала красный цвет отныне не был цветом, а был именем собственным, недавно объявившимся в звездном строю кинодив. Побиваемая грохочущим с дерева словесным градом Сона рыдала от обиды, швырялась в сторону брата комьями земли, рассыпавшимися в воздухе, и визжал:

— Сам ты лягушка, сам ты лягушка!..

Подоспевшая Овсанна погрозила Гору пальцем, обхватила содрогавшуюся голову дочери и зашептала ей на ухо:

— Мы все бываем сперва лягушками, а потом превращаемся в женщин.

— Ты тоже была лягушкой? — спросила сквозь слезы Сона.

— Конечно, — улыбнулась Овсанна. — Безобразной такой лягушкой.

Вернувшись домой ночью, Аветик завернул в лаваш вареное яйцо с тархуном и пошел в сад вслед за лучом своего фонарика, остановился под абрикосовым деревом, укрывавшим голодного сокола:

— Если слезать не собираешься, я сам поднимусь. Гор не отвечал. И напрягший слух Аветик догадался, что спит парень. «А вдруг упадешь, глупый», — ужаснулся Аветик, осторожно, бесшумно вскарабкался на дерево и расположился рядом с сыном. Свет фонарика разбудил Гора, но не настолько, чтобы сознание успело связать события в одну цепь. Словно снявшийся с якоря, но не давший ходу корабль, Гор потерял равновесие и упал бы, если бы Аветик вовремя не подхватил его. Пропахшее глиной и засохшей кровью Горово тело слилось с Аветиковым и породило то самое чувство, какое переживают будущие матери, ощутившие параллельно собственному сердцу биение еще одного.

— Кусай, — отшатнувшись от странного чувства, почерствел Аветик и почти насильно втиснул брдуч[1] сыну в рот, — кусай... Мы давно уже с дерева слезли, парень... Печь лаваш научились, тархун выращивать, научили кур для нас яйца нести... Ты когда-нибудь вкуснее этого брдуча что-нибудь ел?..

— М-мм, — едва прорезался голос Гора из-под ломтей брдуча, — м-мм... но я их все равно убью...

...Где твоя телега, дядя? — спросил сын Вароса и взялся за чемодан. — Огневая точка уничтожена.

[1] Брдуч — зелень, сыр и т.д., завернутые в лаваш.

— Под балконом чернокожего посла. Рядом с лимузином.

— Ну, пошли, — сын Вароса пошел вперед. — Я как-то поискал на карте их государство и не нашел. А, говорят, страна величиной с Армению... Как они-то наше местонахождение отыскали, ума не приложу. По старой привычке, наверное, — заметили сверкающую вещь и подошли.

— Мы сверкающие? — спросил Сопливый.

— Если с их низин глянешь на наши вершины — сверкающие, какие ж еще... С начала мира сверкающими были... Их срывали и уносили, срывали и уносили, но то, что осталось, по-прежнему сверкает... Жена посла иногда в парк приходит — сколько мишуры ни увидит, все камешки в сумку побросает... На работы из дерева даже не смотрит. Их мастера из черного дерева такие женские тела вытачивают, что хоть в постель с собой неси...

— Ты куда меня ведешь? — зыркнул на Аветика Сопливый. — Я же сказал: в детдом не пойду.

Аветик вдруг почувствовал, как он устал от этой, именуемой зимой, погоды. Мысленно добрался домой, куда прежде него проник из всевозможных дыр холод и сквозь печную трубу превратил абрикосовый огонь в золу. Подул на угли и порадовался пляске искр, что все еще покалывали стынущий воздух и пытались выскочить из дымохода, рядом с которым мирно дремали воробьи...

...Вытянувшись под абрикосовыми деревьями в полный рост, Андрей перекрыл рабочим муравьям дорогу к дому, и не признающие обходных путей насекомые тащили свой трофей в муравейник поверх тела змеелова: кто — дохлую бабочку, кто — соломинку и преждевременно почивший лист, кто — непроросшее, гнилое семя и увядший лепесток. Иногда заползали под рубашку, потеряв ориентиры, покусывали влажную Андрееву кожу и тут же карались, а крылатые их сородичи порхали над головой с едва слышным жужжанием. Искрящиеся на верхних ветвях абрикоса зрелые плоды свели с ума воробьев, а те, в свою очередь, перепугали зыркавшую из гнезда сороку. Весна наступила вовремя, весна с собой холодов не принесла — деревья расцвели среди тепла и пчелиного жужжания и вот теперь трещали от изобилия плодов. А глупые эти воробьи группами нападали на один и тот же абрикос, толкались, клевали вместо плодов друг дружку и раскачивали тяжеловесную ветку. Абрикосовая капель...

— Я сейчас в картине или в настоящем саду? — обсасывая мятый абрикос, спросил Андрей и запустил оголенной косточкой в воробьев. — Видишь, не испугались, и косточка вниз не упала... Значит — это картина...

По-змеиному гибкий его торс то вытягивался, устремившись к очередному упавшему абрикосу, то сжимался, подбрасывая вверх косточку. Лишь левая его нога безжизненно волочилась, запутывалась в завитках люцерны.

— Я отомстил, — хохотал Андрей. — В обмен на украденную тобой одну змею, выловил всех змей твоей страны... Если Господь пожелает, твоя страна второй раз спасет человечество.

Забитые армянской гадюкой ящики находились в аэропорту, сосуды с выдоенным ядом были отправлены раньше. Владычествовать в каменистых пустошах Талина остались ящерицы, и в очередной раз сменивший профессию Гор покрывал плечи сестры змеиной кожей. Проглядывавшая сквозь ветви и листья Сона в глубине сада будто примеряла подвенечное платье.

— Ты не обессудь, — тайком от тебя водки выпил... Тайком, потому что ты мне водку бы не дал... Ты человек слова. А Гор — дал. Как раз из запасов твоей самогонки... Теплая у вас страна — не боюсь отморозить и другую ногу. И потом, насколько я заметил, в вашей стране лежачего пьяного не бросают... Тебе не кажется странным, что меня разули только на левую ногу?.. Не успели, что ли, другую разуть или только левый ботинок понадобился?.. Непонятная и несчастная страна — Россия... Большая, безбрежная, богатая недрами, лесами, реками, морями, и полная голодных... И надо их кормить... И чтобы накормить, не сегодня-завтра она вас отпустит... Развалит империю... Но империя — это не только структура. Это психология. Образ жизни, без которого Россия погибнет. Наверное, вы тоже погибнете... Вы не сумеете жить без Центра, а Россия — жить, не будучи Центром... По моему разумению, когда Господь

дал человеку право выбора, когда сказал — хочешь жить под тепленьким крылышком, живи, но не умничай, наши праотец с праматерью совершили большую ошибку... Умничать — занятие неправедное... Я сейчас хочу вернуться в рай...

— На Земле всех змей выловил, только в раю остались? — засмеялся Аветик.

— Пусть история остановится, — сказал Андрей. — Успокоится. — Он словно не почувствовал Аветикова жала. — У нас есть гигантский материал для переваривания... Это не ты случайно в пустыне открыл закон равновесия?..

— Его открыли за тысячу лет до меня.

— Не имеет значения. Велосипед надо изобретать постоянно, понимаешь? — иначе эта замечательная выдумка забудется... Началась эпоха забывания... Разве мы не забыли закон равновесия искусства и науки?.. Посмотри, куда зашла наука... Она уже плюнула на искусство — свое искусство изыскивает... Теперь, раз я уж тайком от тебя выпил, твоя верность обету бессмысленна... Может, в последний раз пьем... Чем ближе я подхожу к решению проблемы, тем острее становится предчувствие, что все сгинет и твоя страна не спасет человечество еще раз. Все сгинет, останется только эта твоя картина, этот твой дом, это твое маленькое большое счастье.

В официальном сообщении причиной пожара в биологической лаборатории Андрея стало короткое замыкание в электропроводке, которое странным образом случилось ночью, когда спит не только человек, но и приклонившее голову к выключателю электричество.

И Андрей покончил с собой. Пил, пока не разорвалось сердце...

...Нет, Варосов сын, к счастью, не намеревался браться за топор и загонять в толщу бревна сталь. Он обтесал бревно, сдул коричневую пыльцу под корой, чтобы проверить, не проник ли в древесную плоть червь, нет ли трещин, не сгнила ли сердцевина. Таким же образом, наверное, сам Варос бы обследовал бревно, прежде чем придать дереву новый облик.

— Природа, видимо, через тебя переступила, — сказал сыну Вароса Аветик, — и сейчас отдыхает в другом месте... А как до дому довезешь?.. Еще и чемодан в руках. Может, сперва к тебе домой поедем?

— Нет, дядя, — растрогался Варосов сын и не сводил с Ангела глаз. Конь же время от времени поворачивал голову, смотрел на него и сонно моргал, размахивал хвостом с подтеками застывшей мочи на конце.

Аветик забросал сеном Сопливого, занявшего в телеге место бревна, и сказал:

— И тепло, и маячить не будешь... До Армавира носа не высовывай.

— А дышать как буду? — запротестовал Сопливый.

— Под сеном очень даже хорошо дышится, — ответил Аветик, — и вкусно дышится... Только чихать хочется... И если чих не удержишь, народ очень удивится, что стог сена умеет по-человечески чихать...

Сопливому понравился образ чихающего стога — высунул из-под сена нос, притворно чихнул и вытаращил глаза на взмокшего, побледневшего Варосова сына, из едва шевелящихся губ которого вместе с пеной вытекали нечленораздельные звуки.

— Дед, — выскочив из сена, завопил Сопливый, — держи его... Сейчас упадет... — Аветик посадил Варосова сына на бревно, расстегнул ему ворот, схватил с тротуара горсть снега и потер ему лицо, а талые капли отправил за шиворот. — Язык! — распорядился Сопливый. — Не дай, чтобы язык проглотил...

Однако Аветик не успел сунуться пальцами в полуоткрытый рот Варосова сына — выскочившие из парка ребята, грубо его оттолкнув, впихнули обмякшее тело в невесть откуда взявшуюся машину. Прихвативший чемодан парень в пиджаке с узором из листьев, заметив бревно, вопросительно посмотрел на Аветика.

— Да, — сказал Аветик, — его бревно.

— О'кей — произнес парень и погрозил пальцем Сопливому. — Ты, что — опять при нем дразнился?

— Нет, — Сопливый укрылся сеном и уже из-под сена прошептал: — Не веришь — деда моего спроси...

— А что мне спрашивать, щенок... Не вижу разве, что перестарался...

— Сперва они с конем перемигивались, — вроде оправдываясь, говорил Аветик, — потом, наверное, вспомнил мелькнувшую в голове историю и сомлел... Лечить его надо...

— От памяти? — горько усмехнулся прихвативший чемодан. — От памяти лекарства нету, отец. Человек, исцеливший память, — это человек, не имеющий памяти. А тот, у кого нет памяти, — уже не человек... И нация — не нация... Уродливы ли мы, безруки ли, падучи, ядовиты, драчливы, заносчивы или трусливы — какие есть. Творение мира... Откуда было ему знать, что чихнувший в стоге сена на поле битвы — ребенок?..

Восседавшая под абажуром теплого осеннего неба Рипсиме[1] была видением, бросившим якорь в далеком прошлом гигантским кораблем, который берега не достиг и пассажиров не имел. Прозвучавший в последнюю ночь Страстной недели шаракан[2] «Во славу Господа» не смог вновь разжечь двенадцать свечей и факелов, погасших в ритуальном порядке, и прочитанные по семи Евангелиям фрагменты о молитве Христа в Гефсиманском саду, навете Иуды и Петровом отречении покрылись мхом в нишах храма. Дом Господень был безжизнен, окруженный детьми мрака Христос — одинок и беззащитен, и если искрились в Араратской долине лампады, пришедшие на помощь из глубины веков, то только в прицерковных или мирских садовых шатрах, где, затеявшись с утра, продолжалось воздержанное пиршество освящения винограда. Густое прошлогоднее вино смыло с лиц людей, даже священников, благословивших виноград, святое мирро, пробудило дремлющего язычника, и этот бессмертный старец был живее, чем утомленный обрядом христианин.

— Ты веришь, что у нас один бог? — спросил начальник тюрьмы у Гора, наслаждавшегося языческим танцем шатров во тьме. — И что все мы служим этому единственному богу?

— Богу не служат, — ответил Гор. — Служат идее, родине, человеку и... сатане. Бог — не идея, не родина, не человек и не сатана.

— А что?

— Не знаю, — признался Гор. — Наверное, бесконечность, неуловимость... Наверное, что-то такое, что не формулируется и не расшифровывается. Наверное... любовь.

Письмо из американского города Сан-Франциско Еноков немой у почтальона отобрал и, обольщенный ароматом конверта, кинул на зуб, сжевал англоязычный адрес. Слюна размазала филигранные строчки, покривила, раздула буквы, и зрелище этих осквернённых письмен возбудило в Горе все еще тлевшую ревность. Он разорвал послание, бросил горсть обрывков в широкую воронку подаренной Андреем морской раковины, и, пока чиркал спичкой, чтобы испепелить заокеанский аромат, обрывки письма легкими мотыльками выпорхнули из нутра морской раковины. Это порхали в воздухе обломки потонувших грез, и порханию аккомпанировал сочившийся из раковины сигнал с терпящего бедствие корабля, моливший о спасении. Мотыльки не падали, и Еноков немой, поймав их на лету, высыпал расплакавшейся Овсанне в карман передника. Под выстрелы пистолета с дарственной надписью Громова, доносившиеся из сада, Овсанна подогнала мотыльков, склеила на картоне и отослала через Енокова немого в дом к любвеубийцам.

— У тебя в зеркале за нами глаза следят, — сказал Гор начальнику тюрьмы. — Не думаю, что это глаза Бога.

Отделившаяся от языческого танца пара прожекторов прибилась в автомобильное зеркало, превратилась в пристальный взгляд, который не прищуривался и не смыкался даже на развилках и поворотах.

— Да, — произнес начальник тюрьмы, — это не глаза Бога, — и прибавил скорость машины. — Божьих глаз я не видел, но вряд ли они испускают свет гнилой кости.

Отставшие было фары немедленно сократили дистанцию и в качестве всевидящего ока снова прибились в зеркало.

---

[1] Рипсиме — церковь в Эчмиадзине.

[2] Шаракан — церковное песнопение.

Оказавшийся рядом с Гором волшебник из цирка подсказал чудодейственные слова, запутывающие преследователям дорогу, и научил, что слова сами по себе — ничто, пустота, и что магическую силу слову придает его озвучивающий, и то не каждый: погляди, насколько перенаселен мир пустыми словами и поддельными христами. Слово надо озвучивать так, как оно звучало при рождении. Ты должен родить слово... «Я бы сам загородил твоим преследователям путь, — прошептал волшебник из цирка, — но я умер, как и Христос. Мертвец — воскресший или нет — все равно способен лишь подсказать, но не сделать. И великая ошибка людская в том, что вместо того, чтобы внимать Христовой подсказке, они ждут его пришествия, то есть — дела, чудотворения. Чудо должны сотворить вы, живые... Молодец!.. Видишь — отстал твой гонитель?.. Ты был бы моим лучшим последователем, если бы семя твое взросло на правильной почве... На этом вашем крохотном участке земли нет достаточной подпитки для всех семян. И нет у вас столько силы, чтобы расширить участок. Значит, вы должны разбросать свое семя по всему миру...»

Гор попросил начальника тюрьмы затормозить.

— Пузырь лопается, — объяснил. — И потом я давно, очень давно не писал на воле.

Выбравшись из-под марлевого балдахина и спасаясь от комаров, он стоял босиком под тенистой кроной абрикосов и струей рисовал в воздухе свои инициалы. И орошались инициалами летучие мыши, охотящиеся на кровожадных комаров в безумном ломаном полете. «Господи, — то ли во сне, то ли наяву молилась в соседнем дворе Енокова вдова, — спаси и охрани моего единственного».

Мимо пронеслись фары, чтобы чуть погодя, словно потерявший добычу дракон, вернуться — проверить пройденный путь. И напрасно подсказывал волшебник из цирка проколоть и вторую шину, и третью, пробить бензобак, прорыть на дороге траншею и вообще — если ты наделен способностью спасаться и не пытаешься спастись, то не так уж и велик Христов пример. Христос сам спровоцировал свою погибель, потому что трансформированная в дух его плоть более не могла жить в этом мире. Его плоти, когда распинали, почти уже не было. Многие из распятых живут дни напролет, и смысл распятия именно в том, чтобы как можно дольше продлить страдания. А он сразу умер. А ты, который целиком — плоть, здоровая жизнеспособная, чей младенческий дух еще гулит и мочится в колыбели, ты, что не знаешь пока секрета отделения духа от плоти, полагаешь, что и дух может трансформироваться в плоть. Нет, тысячу раз нет. Плоть рождает дух, а не наоборот. Дух способен только отшлифовать плоть. Христос, в конце концов, был шлифовальщиком плоти.

— Делать добро и то по-человечески не умеешь, — сказал Гор. — Отвези меня обратно... Я под конвоем к могиле матери не подойду...

Начальник тюрьмы съежился от Горова жала и от мучившего его в последние дни ощущения, какое испытывает артист, взявшийся за неизвестную роль в неизвестной пьесе.

— Он все еще мечтает увидеть могилу матери? — спросил наутро министр национальной безопасности, демонстративно листая пузатое «Дело» начальника тюрьмы. — Мы же не звери, у каждого из нас тоже есть мать, мы тоже умеем любить наших матерей... Ну и что, что заключенный?.. А кто не был заключенным или не может стать им?.. Все мы либо прошли через «Матросскую Тишину», либо могли бы пройти... Кстати, при поступлении на работу ты отметил в своем заявлении, что отбывал наказание в местах заключения по причине инакомыслия. Между тем ты — обыкновенный вор... И напрасно думают некоторые, что если дать вору должность, то воровство искоренится. Очковтирательство это... Ты — вор и, по всей видимости, богач. Потому что если даже съедал бы по одному золотому кольцу в день, богатство ограбленного тобой магазина все равно бы не иссякло. Здесь зафиксировано все, — министр национальной безопасности всадил палец в папку. — Даже твой чих в местах заключения, описание твоих неудавшихся побегов, даже имя-фамилия того пухленького чуваша, которого ты бы съел по дороге, если попытка не завершилась бы сразу возле колючей проволоки. И напрасно думают некоторые, что по причине срока давности эти документы уничтожаются. Одним словом, сам же и отвезешь его на кладбище... Этой же ночью... Слышишь ты, диссидент — этой же ночью и тайком ото

всех. Тюремные мыши и те не должны знать о твоем благодеянии. Богу неугодно, когда благодетель суесловит ...

— ...У тебя здоровые почки, — заметил Гору начальник тюрьмы, застегивая молнию на брюках. — Из тюрьмы редко кто выходит со здоровыми почками.

— Научи своих охранников, чтобы знали, куда пинать, — ответил Гор. — Вон, стоят тупоголовые, руки в боки, выжидают.

— Вижу, — сказал начальник тюрьмы, — но это не мои ребята. Не знаю, что у них на уме, но я не настолько наивен, чтобы поверить, будто день и ночь они пекутся о твоей сыновней любви. Это ловушка, Аветиков сын, ловушка, из которой мы должны постараться выбраться вместе... Я тоже заключенный, я тоже в тюрьме, я искал и, наконец, нашел напарника — тебя, которому можно доверять... Мы должны вырваться... Вместе... И сгинуть к чертовой матери... — Начальник тюрьмы вытащил из-за пояса два пистолета, один протянул Гору. — Этот мир, Аветиков сын, переполнился ведьмами на метлах и чертями... Я больше им не прислуживаю...

Он еще не закончил речь, когда пущенный из мрака меткий выстрел повалил его, а подоспевшие бритоголовые ребята скрутили Гору руки. И пока потерявшего сознание от тупых ударов, закованного в наручники Гора запихивали в машину, пара прожекторов успела расплодиться десятками других пар прожекторов, и обернувшаяся скорбной процессией вереница машин, под жалобный вой сирен, понесла в столицу весть об убийстве министра обороны.

— Дед, а если Батон погонится за нами?
— Не погонится.
— А если погонится?
— Убью.
— Чем?
— Пистолетом.
— У тебя разве есть пистолет?
— Угу.
— А кто тебе пистолет дал?
— Туманян.
— Значит, ты не хитрый?
— Наверное.
— А если ты не хитрый, почему не говоришь, куда меня везешь?
— Разве я не говорил?
— Нет, не говорил.
— Не говорил, что я тоже, как и ты, кошку потерял?
— Нет, не говорил.
— Не говорил, что мы с тобой идем разыскивать наших кошек?..
— Нет, не говорил.
— А что же я говорил тебе, парень? Столько времени — что я говорил?..

Армения, г. Ереван

Арсен Мартиросян

22 июня 1941 года

> Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, т.е. оккупировать; по крайней мере, этого нельзя сделать... силами современных европейских государств... Такая страна может быть побеждена лишь внутренней слабостью и действием внутренних раздоров.
>
> *Карл Клаузевиц*[1].

Легенда о внезапности

Трагедия 22 июня 1941 года складывалась из сложного переплетения стратегических замыслов, исторических условий, экономических интересов, корыстных расчетов, национальных амбиций, человеческих страстей, мужества и трусости, самоотверженности и себялюбия, героизма и предательства...

В этот день началась еще одна война против России, объединявшей тогда вокруг себя многие земли в единый и могучий Советский Союз. Пишу эти слова без кавычек, потому что Победа в той войне доказала, что союз воистину был великим и могучим.

За свою историю Россия не раз подвергалась вторжениям, но никогда еще начало войны на ее территории не было столь тяжким и драматическим. Что произошло? Как могло случиться, что Красная Армия в первые же часы войны понесла такие тяжелые потери и ее войска на границе оказались практически разгромлены и уничтожены?

До сих пор массовое сознание убеждено, что имеется лишь одно объяснение — *внезапность нападения*. Убеждение это возникло с легкой руки маршала Жукова. В середине 60-х годов прошлого столетия в беседе с Константином Симоновым, известным писателем того времени и «властителем дум» того поколения, Жуков сказал: «Что такое внезапность? Трактовка внезапности, как трактуют ее сейчас, да и как трактовал ее в своих выступлениях Сталин, неполна и неправильна.

Что значит внезапность, когда мы говорим о действиях такого масштаба? Это ведь не просто внезапный переход границы, не просто внезапное нападение.

Внезапность перехода границы сама по себе еще ничего не решала. Главная опасность внезапности заключалась не в том, что немцы внезапно перешли границу, а в том, что для нас оказалась внезапной ударная мощь немецкой армии; для нас оказалось внезапностью их шестикратное и восьмикратное превосходство в силах на решающих направлениях; для нас оказались внезапностью и масштабы сосредоточения их войск и сила их удара.

Публикуется в порядке полемики. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора.

Мартиросян Арсен Беникович — историк, публицист, автор ряда книг по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, член Союза писателей России. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

[1] *Клаузевиц К.* О войне. М., 1932. Т. 3. С. 127, 129.

Это и есть главное, что предопределило наши потери первого периода войны. А не только и не просто внезапный переход границы»[1].

Это была ложь, и генерал Н.Ф.Червов объясняет, зачем она понадобилась: «Внезапности нападения в обычном понимании не было, и формулировка Жукова была придумана в свое время для того, чтобы взвалить вину за поражение в начале войны на Сталина и оправдать просчеты высшего военного командования в этот период»[2].

Тем не менее, концепция Жукова, растиражированная его десятки раз переиздававшимися мемуарами, стала едва ли не эталоном и вошла составной частью в большинство версий, объясняющих причины тяжелейших потерь нашей армии в начальный период войны. Все они на слуху, но стоит кратко перечислить основные из них.

Советская разведка якобы не смогла вскрыть замысел пресловутого «плана Барбаросса» (который, к слову сказать, правильней называть «вариантом Барбаросса»[3]). Разновидность этой версии — советская разведка ошиблась в определении сроков и даты нападения. Согласно диаметрально противоположной концепции, советские разведчики все знали и обо всем предупреждали, но маниакально подозрительный Сталин пренебрег их донесениями. И тому подобное... Советский Союз якобы оказался неподготовленным к войне. Красная Армия была обезглавлена, чуть ли не безоружна, а в области стратегии и тактики исходила из шапкозакидательских теорий, которые создавались чуть ли не в Кремле. Мобилизационную и боевую готовность Красной Армии под корень подрубили репрессии против командного состава РККА в 1937—1938 годах. По вине Сталина, верившего Гитлеру, советские войска не были приведены в боевую готовность. Вариант: Советский Союз готовился к нападению на Германию, но Гитлер опередил Сталина...

Объединяет все версии подобного рода одно — тенденциозность. Основаны они на подтасовках, произвольном подборе отдельных фактов, умолчаниях, искажениях и прочих манипуляциях с историческим материалом, поскольку задача здесь — не беспристрастный анализ истории, а вполне конкретные идеологические и политические цели.

Однако если внезапности нападения не было, то что произошло на самом деле?

Вариант «Барбаросса»

В том, что столкновение неизбежно, не сомневался никто. Еще в начале двадцатых годов можно было сказать, перефразируя знаменитый слоган Карла Маркса: призрак бродит по Европе, призрак войны...

Уже в октябре 1925 года были подписаны пресловутые Локарнские соглашения, явившиеся не чем иным, как прототипом Мюнхенской сделки Запада с Гитлером, давшей зеленый свет непосредственно военным действиям нацистской Германии.

Разжигать первые искры будущего мирового пожарища было не так уж и трудно. Идея реванша витала в воздухе**.** Сначала ее вынашивала Франция, потерпевшая позорное поражение и крайне униженная итогами франко-прусской войны 1870—1871 годов, а затем эстафета перешла к Германии. Франко-германские отношения всегда были напряженными, но после Первой мировой войны страны-победительницы умышленно создали еще два вектора неизбежного германского реванша — антипольский и античехословацкий. Германия была крайне унижена: ее территорию обрезали и отрезанные ломти раздали Франции, воссозданной Польше и впервые в истории созданному государству под названием Чехословакия, где немцы стали притесняемым национальным меньшинством.

---

[1] *Симонов К.* Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине. М., 1989. С. 356.

[2] *Червов Н.* Провокации против России. М., 2003. С. 96—97.

[3] По-немецки — «Fall Barbarossa». «Fall» дословно переводится как «случай» или «вариант». В судебном делопроизводстве это слово употребляется также в значении «дело».

На Западе прекрасно понимали, к чему приведет подобный раздел. Доказательством тому служат неоднократные заявления его представителей на различных международных конференциях, начиная с пресловутой Версальской конференции 1919 года. Хорошо известно, например, ставшее крылатым выражение французского маршала Ф.Фоша: «Версальский мир — не мир, а перемирие, и через двадцать лет пушки вновь заговорят».

Удивительно, как точно он предсказал... Возможно, не предсказал, а точно знал, что и когда произойдет. Как бы то ни было, 1 сентября 1939 года Германия совершила нападение на Польшу. Началась Вторая мировая война.

И в тот же день внеочередная Четвертая сессия Верховного Совета СССР приняла Закон о всеобщей воинской обязанности. Это модель всех предыдущих и последующих действий Советского Союза. Если внимательно проанализировать историю предвоенных лет, то нетрудно увидеть, что постоянно происходило подобное же чередование вызова и ответа, стимула и реакции. На каждое явное или тайное событие наша страна отвечала адекватной внутренней или внешней акцией.

О «варианте Барбаросса» — плане блицкрига против Советского Союза — в Москве знали уже вскоре после того, как он возник. Здесь располагали едва ли не всей подробнейшей информацией о нем, в том числе и той, что была получена от американцев. Однако немецкий оригинал плана добыть не удалось. (Искушение поставить знак равенства между обладанием информацией и точным документальным знанием немецкого оригинала исключительно велико. Среди отечественных историков немало тех, кто по тем или иным соображениям поддался этому соблазну, совершив тем самым, пускай даже и невольно, серьезнейший подлог. На самом же деле немецкий оригинал, то есть сам план «Барбаросса», был обнаружен в 1945 году при разборе захваченных трофейных документов гитлеровского военного командования.)

В литературном журнале не принято публиковать графические изображения, но будь возможность сравнить схему предположительных направлений немецкого наступления, составленную ГРУ, и план «Барбаросса», утвержденный Гитлером 18 декабря 1940 года, то нетрудно было бы убедиться, что данные нашей военной разведки практически полностью совпадают с гитлеровским оригиналом. Исключение составляют лишь очередности фамилий командующих группировками вторжения, что конечно же важно, но не принципиально, тем более что все они названы правильно.

По плану вторжение осуществлялось тремя группировками по трем направлениям. Рихард Зорге называл их еще в декабре 1940 года: на Ленинград, на Москву и на Харьков (последнее было не совсем точно, однако само Украинское направление указано верно, да и Зорге вскоре подкорректировал свою информацию — Киев).

Не менее важными были сведения иного рода. В декабре 1935 года ГРУ представило Сталину доклад под названием «Коалиция против СССР». Подготовлен он был на основе различных разведывательных данных, в том числе и документальных, добытых военной разведкой. Стержневой основой доклада являлся составленный по заказу Генерального штаба Франции меморандум, автором которого был один из бывших белогвардейских офицеров. 2-е Бюро Генерального штаба Франции направило копию этого меморандума руководству чехословацкой военной разведки как союзной спецслужбе. А та, в свою очередь, в рамках уже действовавшего тогда соглашения о сотрудничестве с военной разведкой СССР — оно было подписано как секретное приложение к договору о взаимопомощи в отражении агрессии от 16 мая 1935 года — ознакомила с его содержанием советских коллег.

Цитируя различные, прежде всего германские, а также и польские источники, автор меморандума указывал, что Германия готовит планы колонизации русской территории с целью овладения ее природными ресурсами. Кроме того, в меморандуме подчеркивалось, что у германских и польских военных аналитиков сложилось очень невысокое мнение о советской оборонной промышленности и железнодорожном транспорте. В принципе этот раздел меморандума, особенно в части, касавшейся агрессивных планов нацистской Германии, не являлась новостью для советского руководства. Куда более важным было иное.

Автор меморандума прогнозировал, во-первых, что грядущую войну против СССР развяжет коалиция в составе Германии, Японии, Польши и Финляндии. Планы вооруженного нападения на Советский Союз действительно разрабатывались тогда на базе такого варианта. Во-вторых, автор меморандума был убежден, что в этой войне СССР непременно потерпит военное поражение. Причем поражение наступит сразу же после начала войны — «с открытием военных действий». Непосредственно в начале войны «*Красная Армия потерпит серьезные неудачи, которые скоро приведут к полному военному разгрому и развалу армии*».

В-третьих, автор меморандума особо подчеркивал, что поражение приведет к военному бунту и «дворцовому перевороту» силами военных. В качестве целей последних указывались:

— захват власти в стране,

— установление военной диктатуры

— расчленение страны в пользу Германии и Японии в порядке компенсации за оказанное содействие.

В меморандуме были упомянуты также и «*тайные связи*», которые, несмотря на резкое охлаждение советско-германских отношений после прихода Гитлера к власти, продолжали существовать между военными кругами нацистской Германии и Советского Союза. Назвал автор меморандума и главного закулисного «режиссера» грядущего переворота — верховное командование Германии (напомню, что в 1935 году в число членов «верховного командования Германии» нельзя было включать Адольфа Гитлера. Речь может идти только о верхнем эшелоне германского генералитета рейхсверского «розлива», то есть о тех генералах, которые принимали активное участие в негласном сотрудничестве между РККА и рейхсвером в догитлеровский период. Гитлер же стал верховным главнокомандующим только 4 февраля 1938 года).

Но далее автор меморандума особый акцент сделал на следующем: дергая в нужное для себя время за нужные ниточки связей, которые, будучи глубоко запрятанными, связывали верхушку рейхсвера с политическими и военными кругами СССР, она, то есть верхушка рейхсвера, вызовет внутренний взрыв в стране. В результате чего будет сметен существующий в Советском Союзе режим. И в итоге к власти в СССР должны прийти политические и военные деятели, с которыми антисоветская коалиция и, в особенности, Германия смогут легко прийти к соглашению.

Таким образом, в Москве очень точно знали, чего следует ожидать. Вопрос был лишь в сроках.

За десять лет до войны, в феврале 1931 года, говоря об экономическом развитии страны, Сталин сказал: «Задержать темпы роста — это значит отстать. А отсталых бьют... Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»[1]. «Сомнут» — это сказано не ради красного словца. На кону стояло существование страны. Обратите внимание на точность названного Сталиным срока — через десять лет! Впрочем, объективности ради следует отметить, что некоторое время он был убежден, что война грянет в 1942—1943 годах.

Небезынтересно сравнить сталинские расчеты с колебаниями Гитлера относительно того, когда следует напасть на СССР. Так, в августе 1936 года в меморандуме «Экономическая подготовка к войне», в преамбуле которого речь шла об уничтожении России, а Германия названа «острием всего западного мира», Гитлер заявил, что немецкая экономика будет готова к войне через четыре года, то есть к концу 1940-го — началу 1941-го. Правда, он уточнил, что «целью этого меморандума не является предсказание времени, когда нетерпимая ситуация в Европе перейдет в стадию открытой войны»[2].

Годом позже, согласно так называемому «Протоколу Хосбаха», в котором приведена запись выступления Гитлера на совещании с генералитетом 5 ноября 1937 года, фюрер назвал одним из сроков начала войны — 1943 год.

---

[1] *Сталин И.В.* Сочинения. М., 1949. Т. 13. С. 38—39.

[2] Цит. по: *Полторак А., Зайцев Е.* Рурские господа и вашингтонские судьи. М., 1968. С. 67.

Небольшое пояснение. Как известно, «Протокол Хосбаха» — фальшивка, ссылаться на которую тем не менее среди специализирующихся на Второй мировой войне историков почитается особым шиком. Поддельный сей документ был сооружен затем, чтобы британские обвинители на Нюрнбергском процессе сумели скрыть — во всяком случае, так им тогда казалось — непосредственную причастность английской королевской семьи к развязыванию Второй мировой войны. «Протокол» прикрывает факт неофициального визита в Германию в октябре 1937 года герцога Виндзорского, экс-короля Англии. Ярый поклонник нацизма и лично Гитлера, он провел с фюрером частные переговоры и явственно дал понять, что Великобритания не возражает против удовлетворения территориальных притязаний Гитлера на Судетскую область Чехословакии и вообще отнюдь не против его экспансии на Восток. А дата, указанная в «документе» — 5 ноября 1937 года, как бы объясняет в ненавязчиво мягкой форме причину последовавшего вскоре официального визита в Германию министра иностранных дел Великобритании лорда Галифакса 19—20 ноября 1937 года. Именно тогда устами Галифакса Великобритания выразила свою готовность присоединиться к антисоветской оси Берлин—Рим (в которую фактически входил и Токио) в целях создания единого антисоветского фронта с расчетом на развязывание войны уже в 1938 году (в начале лета 38-го истекал пролонгированный срок советско-германского договора 1926 года о нейтралитете и ненападении). С обоими этими визитами напрямую связана дипломатическая предыстория Мюнхенского сговора Запада с Гитлером. Что же до поддельного «Протокола Хосбаха», то в нем год, когда Гитлер якобы намеревался начать войну, умышленно отодвигался во времени как можно дальше от упомянутых выше событий...

Однако какими бы ни замышлялись сроки начала войны, окончательно изменил их заговор Тухачевского. Вернее, его ликвидация...

Заговор «красного Бонапарта»

Нет, наверное, ничего удивительного в том, что осталось еще немало людей, которые до сих пор блуждают в интеллектуальном тумане, навеянном хрущевскими «разоблачениями культа личности», и убеждены, что никакого заговора не было, а кровожадный тиран Сталин приказал своим опричникам сфабриковать дело и подло расправился с блестящим военачальником, обезглавив Красную Армию. Да и как тут не поверить! Слишком долго и слишком упорно нехитрая легенда внедрялась в массовое сознание...

Опровергнуть ее нетрудно — достаточно поднять подшивки старых газет и журналов. И притом отнюдь не советских... Во многих европейских изданиях конца 30-х годов появились публикации, в которых прямо указывалась причина провала заговора Тухачевского — он планировал достичь с Германией континентального соглашения, направленного против Великобритании. Что, кстати говоря, соответствовало истине.

Группа Тухачевского была ключевым звеном в тройственном евразийском военно-геополитическом заговоре с целью создания трансконтинентального геополитического альянса военных диктатур по оси Берлин (без Гитлера, которого его генералы собирались убрать) — Москва (в постсоветском варианте, в результате свержения Сталина) — Токио (где должна была сложиться военно-политическая диктатура во главе с силами, имевшими тесные связи с оппозицией в Германии и СССР).

Заговорщиками были люди, занимающие в своих странах исключительно высокое положение. В Германии — это военный министр Бломберг, главнокомандующий сухопутными войсками Фрич, начальник Генштаба сухопутных войск Бек, генералы Гаммерштейн-Экворд, Рейхенау и др.; в СССР — группа советских военных во главе с заместителем наркома обороны маршалом Тухачевским, причем в их число входили и командующие важнейшими военными округами СССР; в Японии — сам принц Коноэ, признанный лидером японских евразийцев, среди которых имелось немало военных, в том числе и командный состав японских ВМС. Все участники заговора, как

на подбор, были «взаимофильствующими», если позволительно так выразиться: германские оппозиционеры давно «прославились» прагматичным русофильством и японофильством, «наши» — своим рьяным германофильством и своеобразным «остфильством»; японские — не меньшим германофильством и особой разновидностью прагматизма в отношении СССР — стремлением заключить со страной Советов союз, не осложняющий отношения с остальным миром.

Заговор представлял колоссальную угрозу независимости, суверенитету и безопасности СССР, особенно его «станового хребта» — России. Планировалась не только полная реставрация капитализма, но и расчленение территории СССР, превращение постсоветского пространства в богатую неисчерпаемыми ресурсами «дойную корову», используя территорию которой для маневрирования силами Германия и Япония намеревались вести борьбу за мировое господство.

Разумеется, скрыть подготовку к столь масштабному перевороту было невозможно. В Англии о ней было известно — Черчилль даже и во время войны открыто признался Сталину, что более всего в Лондоне опасались именно германо-русско-японского союза. В случае успеха заговор разрушил бы все планы Англии по стравливанию Германии и СССР и развернул бы объединенную мощь двух государств против Великобритании, не говоря уже о том, что к этому дуэту должна была подсоединиться и Япония. А посему британская разведка очень пристально следила за заговорщиками и наконец провела операцию по «сливу» Сталину достоверной информации о заговоре Тухачевского через чехословацкую военную разведку и Эдварда Бенеша, президента Чехословакии.

Для Сталина информация Бенеша не была неожиданностью. О заговоре он располагал фактами, и, более того, — фактами, проверенными задолго до 1937 года. И вот обладая всей полнотой многократно перепроверенной информации, Сталин, что называется, лоб в лоб столкнулся с традиционным для России при любых режимах вопросом: что делать? С одной стороны — совершенно реальная угроза войны, с другой — не менее реальная угроза заговора военных дома. И вопрос из дилеммы немедленно перерос в трилемму — из двух зол необходимо было выбирать третье. Потому что уж что-что, но недавнюю историю о том, как русские генералы в феврале 1917 года предали своего царя, Сталин прекрасно помнил и повторять печальную участь Николая II не собирался.

А потому, когда 8 мая в Кремль пришло досье от Бенеша, в отношении Тухачевского не было предпринято ничего. Судя по всему, Сталин тянул с его арестом до последней секунды — до того момента, когда стало известно, что маршал Тухачевский в срочном порядке объявил военные маневры на 12 мая 1937 года (под прикрытием которых он планировал произвести государственный переворот). Только тогда Сталин окончательно убедился, что заговор — смертельная реальность и более медлить нельзя. 11 мая Тухачевский был снят с поста замнаркома обороны и назначен командующим Приволжским военным округом с приказом немедленно отбыть к месту новой службы. И опять Сталин пошел на смертельный для себя риск — 13 мая он дал аудиенцию Тухачевскому: ведь кандидат в «Бонапарты» запросто мог пронести маленький пистолет, поскольку его, маршала, не имела права обыскивать даже охрана Сталина.

Разоблачая Тухачевского, Англия разрушала центральное звено геополитической комбинации Берлин — Москва — Токио, а кроме того, всерьез рассчитывала на неминуемое ослабление военной мощи СССР в результате неизбежных репрессий против высшего командного состава. В итоге и нацистам облегчилось бы решение задач уничтожения СССР — ведь весь расчет сводился к тому, что замену высшему командному звену не найти. Для этого при любых обстоятельствах нужно немалое время. А война между тем была запланирована Великобританией на 1938 год — Чемберлен тогда буквально из кожи лез, едва ли не пинками толкая Гитлера на агрессию против СССР...

Ожидаемые массовые репрессии не состоялись. Широко известная цифра «37 тысяч расстрелянных командиров» в 1937—1938 годах — на самом деле, число *уволенных* (прошу обратить внимание, именно уволенных) из рядов РККА, а не уничтоженных. Основания для увольнений были самыми различными — отставка по воз-

расту, смерти, по старости, болезни, не совместимые с военной службой, а также, разумеется, преступления политические либо уголовные, которые, кстати, преобладали... Арестованы были, согласно опубликованной справке Управления кадров РККА, 10 868 человек, и далеко не все из них расстреляны. Рокоссовский, Мерецков, Горбатов и некоторые другие военачальники вернулись из тюрем и лагерей в армию. Что же касается физического уничтожения, то к расстрелу за различные преступления были приговорены 1634 военнослужащих — от маршалов до рядового.

Мятежный маршал оставался на свободе даже тогда, когда уже не оставалось сомнений в его виновности — шла перепроверка всех данных. Сообщение о них было заслушано на заседании Политбюро 24 мая 1937 года. Тухачевский был арестован только 25 мая 1937 года, а уже на следующий день без малейшего физического принуждения, ровным, спокойным почерком, с соблюдением всех правил орфографии и синтаксиса дал самые подробные письменные показания о заговоре, которые, из-за их содержания, даже самый въедливый антисталинист ну никак не сможет списать на костоломов с Лубянки. Расстрелян он был в ночь с 11 на 12 июня 1937 года.

Допрашивали Тухачевского начальник 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР комиссар госбезопасности 2-го ранга Израиль Моисеевич Леплевский и его помощник Ушаков, он же Зиновий Маркович Ушимирский. Именно их подписи стоят под протоколами допросов военных, в том числе и Тухачевского, включая и те, в которых «стратег» собственноручно изложил все сведения о заговоре и плане поражения (143 страницы). К отдельным пунктам сего «плана» я буду еще не раз возвращаться в этой статье, а сейчас приведу лишь текст показаний от 1 июня 1937 года, которые касаются жизненно важного в те предвоенные годы вопроса — направлений возможного наступления немецкой армии:

«Основной для Германии вопрос — это вопрос о получении колоний. Гитлер прямо заявил, что колонии — источники сырья — Германия будет искать за счет России и государств Малой Антанты. Если подойти к вопросу о возможных замыслах Гитлера в отношении войны против СССР, то вряд ли можно допустить, чтобы Гитлер мог серьезно надеяться на разгром СССР. *Максимум на что Гитлер может надеяться, это на отторжение от СССР отдельных территорий*.

Немцы, безусловно, без труда могут захватить Эстонию, Латвию и Литву и из занятого плацдарма начать свои наступательные действия против Ленинграда, а также Ленинградской и Калининской (западной ее части) областей.

Единственно, что дал бы Германии подобный территориальный захват — это владение всем юго-восточным побережьем Балтийского моря и устранение соперничества с СССР в военно-морском флоте. Таким образом, с военной точки зрения результат был бы большой, зато с экономической — ничтожный.

Второе возможное направление германской интервенции при договоренности с поляками — это белорусское. Совершенно очевидно, что овладение как Белоруссией, так и Западной областью никакого решения сырьевой проблемы не дает и поэтому для Германии неинтересно. Белорусский театр военных действий только в том случае получает для Германии решающее значение, если Гитлер поставит перед собой задачу полного разгрома СССР с походом на Москву. *Однако я считаю такую задачу совершенно фантастической*.

Остается третье — украинское направление. В стратегическом отношении пути борьбы за Украину для Германии те же, что и для борьбы за Белоруссию, т.е. связано это с использованием польской территории. В экономическом отношении Украина имеет для Гитлера исключительное значение. Она решает и металлургическую, и хлебную проблемы. Германский капитал пробивается к Черному морю. Даже одно только овладение Правобережной Украиной и то дало бы Германии и хлеб, и железную руду. Таким образом, Украина является той вожделенной территорией, которая снится Гитлеру германской колонией».

Само содержание этого текста — лучшее доказательство того, что Тухачевский давал свои показания добровольно, без пыток и принуждения. Проиграв, он пытается поставить ловушку своим победителям — хитрит, сбивает их с толку и уводит с верного направления. Он как бы хлопает дверью перед уходом... Смешно думать, что

маршал, который столь тесно общался с высшими немецкими военными офицерами, мог всерьез считать, что Германия стремится к столь незначительной цели — всего лишь «*отторжению от СССР отдельных территорий*». Уже тогда, на рубеже 1936—1937 годов, основной удар вермахта замышлялся с плацдарма в Восточной Польше — в центре западной границы СССР в направлении Минск—Смоленск—Москва. Им мало было «отдельных территорий», им было необходимо все.

Даже если на миг представить, что немецкие партнеры по заговору не посвятили его в свои планы, то он знал о них из донесений советской разведки. И он лгал, ничуть не заботясь о том, что противоречит своим прежним прогнозам, сделанным в конце 20-х — начале 30-х годов: основное направление будущей агрессии против СССР — с западного вектора, с польского плацдарма.

На границе «все в порядке»

Итак, вопрос был лишь в том, в какой точно момент времени начнется война и в каких конкретно координатах пространства будет нанесен удар. Когда и где... И как обороняться.

Когда — это в Москве знали еще за десять дней до нападения. Мало кому известно, что в промежутке с 11 по 21 июня 1941 года советская разведка — хочу подчеркнуть, что речь идет именно о сообществе разведывательных служб — двадцать девять раз (!) относительно точно или же абсолютно точно называла дату и час, когда произойдет вторжение. Получить эти сведения раньше было невозможно, поскольку само германское командование приняло окончательное решение о дате и зафиксировало его на бумаге только 10 июня 1941 года.

С тем, *как* обороняться, дело обстояло значительно сложнее.

В основу официального плана были положены идеи маршала Б.М.Шапошникова о прикрытии линии границы относительно небольшими силами, сосредоточенными на ней непосредственно, и о развертывании главных сил в эшелонированных боевых порядках на некотором удалении от линии границы, что исключало как возможность их разгрома одним массированным внезапным ударом, так и возможность прорыва довольно широкой полосы фронта и быстрого выхода агрессора «на оперативный простор» в незащищенные тылы.

План этот не был осуществлен. В июне 1940 года наркомом обороны СССР был назначен маршал С.К.Тимошенко, а середины января 1941-го Генеральный штаб РККА возглавил Г.К.Жуков, тогда еще генерал армии. И в советском военном планировании произошло нечто немыслимое. А именно — негласная и незаконная подмена смысла и духа официально утвержденного правительством СССР плана отражения агрессии, в том числе и принципа обороны.

Вместо четко указанного в официальном плане принципа активной обороны, предусматривавшего, при необходимости, организованный отход войск в глубь своей территории, но с арьергардными боями (чего, к слову сказать, Гитлер очень опасался и требовал от своих генералов не допустить этого) у нас появилась жесткая оборона (в терминах Жукова — «упорная оборона») прямо на линии государственной границы. Вместо сдерживания и отражения первого удара войсками Первого стратегического эшелона, под прикрытием чего наши основные силы должны были быть отмобилизованы и сосредоточены, и затем, но только при благоприятной обстановке, перейти в решительное контрнаступление и уничтожить врага, войска основных приграничных округов на западных границах негласно и незаконно были жестко переориентированы на отражение агрессии методом немедленного, то есть по факту нападения, встречно-лобового контрблицкрига.

То есть отражение агрессии гитлеровской Германии стали готовить, выражаясь языком военных, методом осуществления стратегических фронтовых наступательных операций (в терминах того времени — «глубоких наступательных операций»). Подмена именно тем была особенно опасна, что фактически незаметна. Ее и сейчас-то не так уж легко заметить. Не меняя ни единой строчки в официальном документе, а всего лишь за счет негласной, а потому и незаконной переакцентировки усилий

приграничных округов на подготовку к немедленному контрнаступлению, которое действительно официально предусматривалось в официальном же плане, дуэт Жуков—Тимошенко практически полностью выхолостил суть официального плана. Никакого другого плана, кроме того, который был утвержден 14 октября 1940 года, в СССР не было.

Хочу еще раз подчеркнуть, что и в официальном плане контрнаступление планировалось, но только после сдерживания и отражения первого удара гитлеровцев. К тому же после сосредоточения наших основных сил и при наличии благоприятной обстановки, а «безграмотный сценарий вступления в войну» (именно так уже в послевоенное время сам Тимошенко охарактеризовал произошедшее 22 июня) по Жукову—Тимошенко предусматривал немедленный — по факту нападения — встречно-лобовой контрблицкриг как якобы эффективный метод отражения агрессии. Более того. Эта негласная и незаконная подмена произошла на принципах концепции «пограничных сражений» маршала Тухачевского.

Более того, неверно был определено основное направление удара противника. Вектор Минск—Смоленск—Москва странным образом исчез из обихода возглавляемого Жуковым Генштаба вместе с принципом «активной обороны» как главного метода прочного прикрытия наших границ. А задача прочного прикрытия Минского направления — как центрального в рамках Белорусского направления — исчезла из обязанностей сразу двух округов: Прибалтийского и Западного.

При этом все донесения разведки говорили о том, что основные силы немцев сосредоточены в Польше и нацелены в Белорусском направлении. Тимошенко и Жуков не могли об этом не знать.

Но мало того. Вместо создания мощного заслона на тех участках, где будет прорываться неприятель, все имеющиеся в наличии войска были вытянуты в узкую ленту на самой границе. Прорвать до предела разреженный заслон не составляло никакого труда.

Нет нужды еще раз подчеркивать, сколь безграмотен и губителен был подобный «сценарий вступления в войну». Ситуация, сложившаяся в то время на границе, усилила эту губительность. Дело в том, что мобильные (ударные) части — то есть танковые подразделения и авиация страдали от катастрофической нехватки топлива.

Свидетельств тому множество.

«Горючего было очень мало», — вспоминал, например, генерал-майор авиации Г.Н.Захаров, и именно поэтому самолеты в большинстве своем гибли на земле[1].

Красочное описание положения на границе оставил командующий авиацией Московского военного округа полковник (впоследствии генерал) Николай Александрович Сбытов, который марте 1941 года выезжал в Западный особый военный округ для инспекции пограничных аэродромов («пешки», о которых он упоминает, — только-только начавшие поступать в войска фронтовые пикирующие бомбардировщики Пе-2):

«Помню, лечу на У-2 и вижу, что самолеты всюду не рассредоточены, не замаскированы — стоят как на ладони! Приземлился на одном аэродроме — там новехонькие «пешки» рядом выстроились. Проверил — а они даже горючим не заправлены.

Я хвост трубой и докладываю командующему войсками, тот — Щербакову[2], Щербаков — Маленкову[3]. Так вот тогда был рожден документ о положении авиации на границе.

Подписали его Маленков, Щербаков, Тюленев и я, как член парткомиссии Главного Политуправления РККА. А 4 мая состоялось заседание, на котором присутствовало все командование ВВС. И вот Сталин по той нашей бумаге издает приказ: «Немедленно привлечь к судебной ответственности...» Это было известно и наркому Тимошенко, и начальнику Генерального штаба Жукову. Короче, управление ВВС отправляет в пограничные округа комиссию. Та комиссия уже через пару дней вернулась и докладывает: «Все в порядке». Ну, что ты скажешь!..»[4].

---

[1] Знание — сила. 1982. № 7. С. 15.

[2] В то время 1-й секретарь МГК ВКП(б).

[3] Г.М.Маленков как кандидат в члены Политбюро в то время курировал ряд вопросов оборонного характера, в том числе и авиации.

[4] *Грибанов С.* Заложники времени. М., 1992. С. 102—103.

Ситуация, описанная Н.Сбытовым, практически не изменилась спустя три месяца, в последние дни перед началом войны. Несмотря на санкционированную лично Сталиным директиву Генштаба от 18 июня 1941 года о приведении всех войск западных округов в боевую готовность, подавляющая часть самолетов передового базирования Западного Особого военного округа не была даже заправлена. Авиация этого округа — как, впрочем, и других — базировалась на передовых аэродромах. Более того. Позднее с санкции Жукова мобилизационные склады округов выдвинули к границе, и они оказались в руках неприятеля в первые же часы и дни агрессии. Судя по дневнику Ф.Гальдера, немцы были в восторге от того, что захватили невиданные по масштабам стратегические запасы РККА, особенно горюче-смазочные материалы, в которых вермахт остро нуждался. В сущности гитлеровский блицкриг начиная со второго дня агрессии развивался на нашем же топливе. Ко всему прочему, самым преступным образом не была выполнена директива Генштаба о приведении войск приграничных округов в боевую готовность. Самолеты не заправлены горючим, боезапас на них не был установлен — именно из-за этого наши летчики, сумевшие все же взлететь ранним утром 22 июня, вынуждены были идти на тараны самолетов противника.

Бывший командующий Западного Особого военного округа Павлов, о котором речь еще пойдет ниже, показал на допросе, что у него в округе было всего-то 300 тонн топлива, а этого, по его же словам, еле-еле хватило бы на одну заправку 400—600 танкам[1]. На самом же деле, в его округе имелось примерно 100 тысяч тонн различного топлива, одна половина которого была уничтожена, а вторая попала в руки немцев[2].

Иными словами, из 3332 танков, потерянных этим округом, около трех тысяч боевых машин (от 82 до 88 процентов) были потеряны без боя и только из-за нехватки топлива.

И так происходило практически везде. При всем том, что за обеспечение войск горюче-смазочными материалами в Генштабе отвечал лично Жуков (он сам об этом написал в своих мемуарах[3]). Топливо оказалось за тысячи километров от места, где оно было до крайности необходимо, в Майкопе. Каково объяснение тому, что ситуация в точности совпадает с пунктом, приведенным Тухачевским в его «Плане поражения»: «Засылка горючего для авиации и механизированных соединений не туда, где это горючее требуется»? Признаюсь, что вопрос — риторический.

А теперь — несколько примеров положения, в котором оказалась приграничная артиллерия. На Львовском направлении зенитную артиллерию еще 20 июня срочно отозвали с некстати организованных учений[4], а в ЗапОВО, в том числе и на Белостокском направлении, всю зенитную артиллерию армий первого оперативного эшелона Первого стратегического эшелона, наоборот, направили на учения в глубь округа, а часть ее даже отодвинули на 120 км восточнее Минска[5]. Показательно, что учения были затеяны после получения директивы Генерального штаба от 18 июня 1941 года и не могли проводиться по инициативе местного командования, поскольку планы учений в округах испокон веку согласуются с Генштабом...

Еще несколько, не менее разительных фактов.

21 июня — накануне войны — командир развернутой в районе Брест-Кобрин (ЗапОВО) 10-й САД полковник Белов в 16.00 получил из штаба ЗапОВО шифровку следующего содержания: отменить приказ от 20 июня о приведении частей в полную боевую готовность и запрещении отпусков.

Такое распоряжение был способен санкционировать только командующий

---

[1] Протокол допроса арестованного Павлова Дмитрия Григорьевича от 7 июля 1941 г. // Неизвестная Россия. С. 73.

[2] *Пастуховский Г.П.* Развертывание оперативного тыла в начальный период войны. — ВИЖ, 1988, № 6, С. 18—25.

[3] *Жуков Г.К.* Воспоминания и размышления. Т. 1. С. 305.

[4] Первые дни войны в документах // ВИЖ. 1989. № 5—9.

[5] *Семидетко В.А.* Истоки поражения в Белоруссии // ВИЖ. 1989. № 4, а также Интернет-сайт «Механизированные корпуса РККА», www.mechcorps.rkka.ru

ЗапОВО генерал армии Павлов — без него в штабе округа никто не мог отдать приказ, отменяющий директиву Генштаба от 18 июня 1941 года.

Аналогичный же приказ получили и в 9-й САД (Белосток— Волковыск), который в 13-м авиаполку этой дивизии выполнили с превеликим удовольствием. Командование, летчики, техники уехали к своим семьям. Авиагарнизон остался на попечении внутренней службы во главе с младшим лейтенантом Усенко. Более того, зенитную батарею, прикрывавшую аэродром, сняли и отправили на учения...

И произошло то, что должно было произойти. Полностью оголенный аэродром вместе со своими новехонькими и целехонькими самолетами Ар-2 и Пе-2 в первые же часы агрессии немцы взяли голыми руками. 13-й авиаполк испарился в мгновение ока. Нельзя даже сказать, что он был разгромлен. Случившееся, в сущности, говорит об одном — о преднамеренной сдаче аэродрома врагу. Надо полагать, в соответствии с договоренностью, заключенной еще в довоенное время.

Прежде я упомянул, что на аэродроме осталась лишь охрана во главе с младшим лейтенантом Константином Усенко. Так вот, у охраны была изъята даже зенитная батарея, а этого самого бедолагу Усенко рано утром 22 июня отправили на разведку в район Гродно—Августов. Усенко приказ выполнил, слетал и не позднее полудня уже заходил на своем Ар-2 на посадку на базовый аэродром. А когда приземлился, то с изумлением увидел, что к его самолету развернутой цепью бегут немцы, а чуть поодаль стоят шесть транспортных Ю-52, явно доставивших десант, и штук десять Мессершмитов-110. Иными словами, лейтенанта попросту удалили с аэродрома, чтобы не возникло даже незначительного сопротивления, при котором могли пострадать самолеты. Аэродром достался врагу целехоньким.[1]

С 1934 года Сталин постоянно требовал, чтобы вся авиация, в особенности боевая, была снабжена радиооборудованием. Конструкторы и заводы действительно оснащали самолеты, в особенности истребители, радиостанциями. Однако после прихода Тимошенко на пост наркома обороны, радиостанции, особенно с истребителей, были сняты. Предлог был выдвинут совершенно нелепый, более того, — анекдотичный: авиадвигатели, мол, не экранированы, и система зажигания создает в наушниках сильные помехи, которые отвлекают летчиков[2].

Можно бы и посмеяться, но ведь сняли-то радиостанции именно с истребителей! С тех самых самолетов, главная задача которых — категорически предотвратить господство противника в воздухе. Если в кабине самолета есть радиостанция, то пребывающему в состоянии полной боевой готовности и уже сидящему в самолете летчику достаточно короткого приказа по радио, чтобы взмыть в воздух на перехват.

Но оказалось, что система зажигания мешала только в истребителях. А в бомбардировочной или разведывательной авиации она никаких помех в наушниках не создавала. Нужны ли комментарии? Особенно если вспомнить один из пунктов «Плана поражения» Тухачевского: «Плохая организация службы ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи. — *А.М.*), что будет затруднять своевременный вылет и прибытие к месту боя истребительной авиации».

А создать затруднения истребителям без радиосвязи очень просто. В начале войны, когда немецкие самолеты перелетали через линию фронта, наблюдатели с земли слали звонки командованию ВВС, а уже от него шла команда на аэродромы. Однако взлетевшие советские истребители направлялись не к противнику, а сначала к посту ВНОС, где широкими белыми полотнищами на земле выкладывалось направление пролета противника, а узкими, поперечными — высота их пролета (например, три полосы означали 3000 метров), и только после этого наши «соколы» разворачивались и стремглав неслись вдогонку за врагом, который к тому времени успевал уже отмахать как минимум километров сто пятьдесят-двести в глубь нашей территории.[3]

Из записки секретаря Брестского обкома КП(б) Белоруссии М.Н.Тупицына

---

[1] См.: *Цупко П. И.* Пикировщики. М., 1987.

[2] *Мухин Ю., Лебединцев А.* Отцы — командиры. Звезды на погонах — звезды на могилах. М., 2004. С. 543.

[3] Там же.

«О положении на фронте Брест-Кобринского направления» в ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б) Белоруссии от 25 июня 1941 г.:

«Брестский обком КП(б)Б (так в тексте, хотя должно быть Белоруссии. — *А.М.*) считает необходимым информировать Вас о создавшемся положении на фронте Брест-Кобринского направления. Обком КП(б)Б считает, что руководство 4-й армии оказалось неподготовленным организовать и руководить военными действиями. Это подтверждается целым рядом фактов, в частности:

Вторжение немецких войск на нашу территорию произошло так легко потому, что ни одна часть и соединение не были готовы принять бой, поэтому вынуждены были или в беспорядке отступать, или погибнуть. В таком положении оказались 6-я и 42-я стрелковые дивизии в Бресте и 49-я сд — в Высоковском районе.

В Брестской крепости на самой границе держали две стрелковые дивизии, которым даже в мирных условиях требовалось много времени для того, чтобы выйти из этой крепости и развернуться для военных операций. Кроме того, несмотря на сигнал военной опасности, командный состав жил в городе на квартирах. Естественно, при первых выстрелах среди красноармейцев создалась паника, а мощный шквал огня немецкой артиллерии быстро уничтожил обе дивизии. По рассказам красноармейцев, которым удалось спастись, заслуживает внимания и тот факт, что не все части и соединения имели патроны, не было патронов у бойцов.

В 49-й сд после первых же выстрелов также произошло смятение. Разработанный заранее план действий на случай войны не был изучен командирами подразделений, и, как рассказывает секретарь Высоковского РК КП(б)Б т. Рябцев, командир 49-й сд только в его присутствии стал давать распоряжения подразделениям, но было уже поздно…

Можно было бы привести много примеров, подтверждающих, что командование 4-й армии, несмотря на то, что оно находилось в пограничной области, не подготовилось к военным действиям. Вследствие такого состояния с первых же дней военных действий в частях 4-й армии началась паника. Застигнутые внезапным нападением, командиры растерялись. Можно было наблюдать такую картину, когда тысячи командиров (начиная от майоров и полковников и кончая мл. командирами) и бойцов обращались в бегство. Опасно то, что эта паника и дезертирство не прекращаются до последнего времени, а военное руководство не принимает решительных мер. Работники обкома партии вместе с группой пограничников пробовали задерживать бегущих с фронта. На шоссе около Ивацевичи нам временно удалось приостановить это позорное бегство. Но здесь необходимо принять более серьезные и срочные меры борьбы со стороны командования.

Возмутительным фактом является и то, что штаб корпуса не установил связь с обкомом, выехал на командный пункт за город, потеряв связь со своими частями. Таким образом, многие командиры и политработники вместо организации эвакуации в панике бежали из города, в первую очередь спасая свои семьи, а красноармейцы бежали в беспорядке.

Обком и Горком КП(б)Б вместе с обл. управлениями НКВД и НКГБ пытались первое время навести порядок в городе, но эффективно ничего сделать не смогли, поскольку красноармейские части в панике отступали. Поэтому, не зная обстановки, не имея связи с военным командованием, не рассчитывая на боеспособность воинских частей, мы вынуждены были оставить г. Брест.

Обком КП(б)Б считает, что необходимо принять самые срочные и решительные меры по наведению порядка в 4-й армии и укрепить руководство 4-й армии»[1].

Следует учесть, что я привожу лишь разрозненные факты, которые скорее иллюстрируют положение, нежели показывают его размах, который был настолько велик, что военная контрразведка просто обязана была увидеть: происходит нечто неладное… Даже с завязанными глазами. Однако вся беда в том, что с 3 февраля

[1] Цит. по: Известия ЦК КПСС, 1990, № 6. С. 204—205.

1941 года военная контрразведка находилась в подчинении у Наркомата обороны. Едва ли военная контрразведка округа не пыталась проинформировать начальство о том, что происходит, свои доклады она слала прямиком в 3-е Управление Наркомата обороны, а следовательно, информация попадала все к тем же Тимошенко и Жукову…

Трагедия Западного фронта

Рано утром 22 июня генерал Блюментритт шел в наступление против 4-й армии ЗапОВО. Впоследствии он вспоминал в своих мемуарах: «В 3 часа 30 минут вся наша артиллерия открыла огонь… И затем случилось то, что показалось чудом: русская артиллерия не ответила… Через несколько часов дивизии первого эшелона были на том берегу р. Буг. Переправлялись танки (а переправляться они могли в первую очередь по уцелевшим мостам, которые остались невзорванными. — *А.М.*), наводились понтонные мосты, и все это почти без сопротивления со стороны противника… Не было никакого сомнения, что застали русских врасплох… Наши танки почти сразу же прорвали полосу приграничных укреплений русских и по ровной местности устремились на восток»[1].

Не он один из тех, кто оставили воспоминания о наступлении с немецкой стороны, изумлялся, обнаружив, что утром 22 июня 1941 года все мосты через белорусские реки разминированы. Это могло быть сделано только по приказу командующего ЗапОВО генерала Павлова, который, в свою очередь, мог отдать подобный приказ только в одном случае — если готовился к немедленному встречно-лобовому контрнаступлению.

И все же что-то здесь не сходится. О каком контрнаступлении можно было мечтать, когда в округ не было доставлено стрелковое оружие, практически отсутствовало топливо, не было средств связи и так далее? Трагический результат гитлеровского вторжения на этом участке границы был предопределен, чтоб не сказать подготовлен заранее.

Катастрофа, обрушившаяся на войска округа, была ужасной по любым меркам. За период с 22 июня по 9 июля 1941 года Западный фронт безвозвратно потерял около 70 процентов личного состава.[2] В целом потери в живой силе составляли 417 729 человек, из них безвозвратными — 341 012 солдатских жизней.[3]

Это нельзя назвать ни обороной, ни даже прикрытием. Войска оказались напрямую подставлены под истребление противником. Хуже того. Безвозвратные потери Западного фронта составили свыше 57 процентов всех безвозвратных потерь за тот же период пяти советских фронтов вместе взятых — Северного, Северо-Западного, Западного, Юго-Западного и Южного (имеются в виду только потери 18-й армии ЮФ) и Балтийского флота в придачу[4].

Любая воинская часть становится априори небоеспособной при безвозвратной потере уже 50 процентов личного состава. Фактически Западный фронт перестал существовать. Направление на Смоленск—Москву оказалось открытым: образовалась 400-километровая брешь, в которую и ринулись танки Гудериана и Гота.

---

[1] Роковые просчеты. М., 1958, цит. по: *Червов Н.Ф.* Провокации против России. М., 2003. С. 86.

[2] НВО. 2001. № 22; *Червов Н.Ф.* Провокации против России. М., 2003. С. 76.

[3] Там же.

[4] Там же.

Ошибка Сталина

Козлом отпущения стал генерал Павлов. Тимошенко и Жуков, не раздумывая, подставили под топор головы командующего ЗапОВО (а затем Западным фронтом) и подчиненных ему командиров. Не хочу сказать, что Павлов был безгрешен и не заслуживал наказания. Тут вопрос в другом. Свою личную ответственность за катастрофу Тимошенко и Жуков утопили в крови тех, кто стали виновными не без их помощи. Большинство своих прегрешений Павлов совершил, исполняя указания Генштаба и Народного комиссариата обороны...

Сталин не тронул Тимошенко и Жукова.

Тимошенко еще некоторое время оставался не только наркомом обороны СССР, но и был председателем Ставки Главного командования, то есть первым на войне главнокомандующим. 10 июля 1941 года он лишился этого поста, а чуть позже и поста наркома обороны, и главнокомандующего Западным направлением. В наши дни его имя мало кому известно — разве что историкам да еще оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной.

Что же до Жукова, то его Сталин отправил на фронт, и он к концу войны сделал тем, кем почитает его народная молва, — маршалом Победы. Не стану здесь разбирать, насколько заслужен этот титул.

По сути дела, оба вышли сухими из воды. Что бы ни думал о них Сталин, ситуация мало подходила для следствия и суда над двумя высшими советскими военачальниками.

Но вот что любопытно. В самый разгар трагического начала войны, 19 августа 1941 года, генерал армии Г.К.Жуков, месяц назад смещенный с поста начальника Генерального штаба РККА, представил Сталину весьма опасное по своей сути донесение, которое скорее следовало бы называть доносом: «Я считаю, что противник очень хорошо знает всю систему нашей обороны, всю оперативно-стратегическую группировку наших сил и знает наши ближайшие возможности. Видимо, у нас среди очень крупных работников, близко соприкасающихся с общей обстановкой, противник имеет своих людей»[1].

Слава богу, что Сталин не поддался на эту крайне опасную провокацию. Впрочем, не Жукову было играть с ним в подобные игры. Сталин прекрасно понимал, что генералы, озлобленные собственными неудачами на фронте и воспоминаниями о 1937 годе, реально могли бы повернуть оружие против центральной власти. А потому хотя репрессии против генералов и проводились, но они были преимущественно точечными, а не широкомасштабными. К тому же по отношению к генералитету в основном применялась не 58-я статья УК, а иные статьи Уголовного кодекса, которые предусматривали наказания за воинские преступления, а не за измену и предательство. Хотя и без этого тоже не обходилось...

Означает ли все сказанное выше, что Сталин ни в чем не виноват? Нет, не означает.

Главная вина Сталина в трагедии 22 июня 1941 года — в том, что в определенный момент он упустил из виду, что война слишком серьезное дело, чтобы полностью доверить подготовку к ней только военным. Блестяще реализовав стратегию вступления государства в войну, Сталин, доверившись генералам, фактически отдал им на откуп стратегию вступления в войну вооруженных сил государства. Причем настолько доверился генералам, что даже военную контрразведку отдал в подчинение наркомата обороны. И в результате лишился значительной части информации о том, как осуществляется подготовка к отражению агрессии.

---

[1] Русский архив. Великая Отечественная. Ставка ВГК. Документы и материалы, 1941 г. Т. 16. М., 1996. С. 361.

Спохватился уже после того, как полыхнула трагедия. И вынужден был принять на себя не только всю полноту государственной, но и военной власти. И как только Сталин лично возглавил отпор врагу, то буквально через пару дней в дневнике начальника генерального штаба сухопутных сил Германии Ф.Гальдера появились тревожные нотки — старый штабной волк мгновенно почуял опасность. А как ее было не почуять, если верховное командование в свои стальные руки взял Сталин?! И хотя немцам и удалось докатиться до Москвы, но именно под его руководством и благодаря невероятному героизму, мужеству, храбрости и стойкости простых солдат и офицеров, веривших своему Верховному, нацистский блицкриг был начисто сорван. Уже в конце лета 1941 года подавляющее большинство германских генералов поняли, что войну они проиграли. Из блицкрига она превратилась в затяжную, а таких войн Германия никогда не выигрывала.

Но потерпел крах не только блицкриг. Был сорван и заговор, направленный на осуществление государственного переворота на фоне военного поражения. Прямое упоминание об этом содержится в неправленой стенографической записи тоста Сталина за русский народ во время приема 24 мая 1945 года в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии: «У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941—42 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. *Какой-нибудь другой народ мог сказать: ну вас к черту, вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду* (курсив мой. — *А.М.*)».[1]

Даже в эйфории Победы Сталин не забыл и не простил генералам тайных замыслов, которые не удалось осуществить, но плоды которых и сейчас еще принято считать всего лишь военными просчетами.

[1] РГАСПИ. Фонд 82, оп. 2, д. 511, л. 112—113.

Юрий Каграманов

Китайский реверс

Но сходным сходное всегда живет,
И чуждым чуждое питаться может.

Ф.Петрарка. Сонет XLVIII

«Не будите спящего гиганта», — будто бы сказал Наполеон о Китае. И было чего опасаться: в начале XIX века Китай насчитывал 400 миллионов населения (вдесятеро больше, чем, например, Россия, не говоря уже о других европейских странах) и производил (это уже по современным подсчетам) почти треть мирового ВВП, в основном, конечно, за счет сельского хозяйства.

Прошло не так много времени и английские пушки все-таки «разбудили» Китай: так называемая Первая опиумная война (1840—1842) показала, сколь далеко отстал Китай от Европы в военно-техническом и в экономическом отношении. С этого момента начался для Китая, как пишут его историки, «век великих унижений»: европейские державы, а за ними и Соединенные Штаты решили, что это страна, о которую можно спокойно вытирать ноги.

Примечательно, что старейшина русской китаистики XIX века академик В.П.Васильев не разделял принятого на Западе высокомерного тона в отношении Китая. Конфуцианство, писал он, поощряет изучение материального мира, поэтому китайцы рано или поздно усвоят европейский позитивизм и даже могут опередить в этом отношении самих европейцев. А уже на пороге XX века не кто иной, как генерал (тогда еще подполковник) А.И.Деникин, в очерке «Русско-китайский вопрос» призывал воздержаться от опасной для наших отношений экспансии в сторону Китая, что выражалось в таких действиях, как аренда Ляодунского полуострова, строительство КВЖД и готовящаяся аннексия Маньчжурии (впрочем, все эти действия были вскоре пресечены нашим поражением в войне с Японией).

Коммунистическая революция середины XX века позволила Китаю «подняться с колен», но первые годы выпрямившийся во весь свой впечатляющий рост исполин смутно представлял себе, каким путем ему идти. Сначала казалось, что из Китая вырастает «второй СССР». Но затем стоявший у руля государственного корабля Мао Цзэдун стал совершать виражи, которые с любой точки зрения трудно было оправдать: сначала «большой скачок» (1958—1963), поставивший целью «догнать и перегнать» передовые страны, а затем «культурная революция» (1966—1976), которая на самом деле была революцией против культуры, едва не ввергли страну в состояние хаоса. Только со смертью Мао, последовавшей в 1976-м, практический ум, искони

Каграманов Юрий Михайлович — культуролог, публицист, постоянный автор «Дружбы народов». В числе последних его публикаций: «Европа и мировой Юг» (№ 4, 1997), «У нас это возможно» (№ 11, 1999), «О свастике, что завертелась в другую сторону» (№ 6, 2000), «Вперед к новой Византии?..» (№ 2, 2001), «"Афганец" крепчает» (№ 10, 2001), «Балканское предупреждение» (№ 7, 2002), «Снять с глаз привычные пелены» (№ 9, 2002), «Элита и инстинкты» (№ 5, 2004), «Почему они начали с Испании» (№ 8, 2004), «Понять Украину» (№ 1, 2006), «Еврабия: призрак или реальность?» (№ 5, 2006), «Был ли Гете мусульманином?» (№ 8, 2006), «Зеленый бык на зеленом поле» (№ 4, 2007), «Как уберечь луну от волков» (№ 11, 2007), «Мазепа и другие. Украина в поисках отцов-основателей» (№ 2, 2009); Вокруг «иранской идиомы» (№12, 2009).

свойственный Китаю, взял свое: новые руководители страны рассудили, что, если уж приходится равняться на «западных варваров», за образец следует взять не русских коммунистов, а еще более западных капиталистов, явно более удачливых.

Начиная с 1978-го экономика Китая сначала осторожно, потом все более уверенно стала развиваться по капиталистическому пути. «Дым поднялся над крышей этого дома», как говорит старая китайская пословица; и чем дальше шло время, тем гуще валил дым. Успехи Китая казались невероятными и тем больше раздражали западных наблюдателей, что политическая власть в стране оставалась в руках коммунистов или тех, кто продолжал называть себя коммунистами. С наступлением нового века усилились ожидания, что перегрев экономики приведет к скорому краху.[1]

Подобные ожидания до сих пор, по крайней мере, не оправдались: китайская экономика упорно шла и продолжает идти в рост. Ее очень мало коснулся азиатский финансовый кризис 2006 года и почти не коснулся мировой кризис 2008-го. Китай все больше превращается в новую «мастерскую мира», в то время как Соединенные Штаты трансформируются в перевалочный финансовый узел (как это ранее произошло с Англией, а еще ранее с Голландией).

Теперь преобладают прогнозы совсем иного рода: в ближайшие пятнадцать-двадцать лет Китай станет самой сильной державой в мире не только в экономическом, но и в научно-техническом, а также в военном плане (что естественно: «самый-самый» вправе выбрать себе «епанчу по своему плечу»).

Если эти прогнозы оправдаются, то в этом случае радикально поменяется расстановка сил в мире — в геополитическом и, возможно, также и в геоцивилизационном отношении, что еще важнее.

«Возрождение прилежания»

Американский экономист и социолог Дж.Арриги попытался объяснить феноменальный успех Китая в своей книге «Адам Смит в Пекине». Как считает Арриги, если Адам Смит оказался бы вдруг в современном Пекине, он в общем и целом одобрил бы ход китайских реформ. Потому как принцип государственного регулирования экономики считал не менее важным, чем принцип laissez-faire, иначе говоря, рыночного стихийного саморегулирования.

Это во-первых. А во-вторых, экономика, согласно Смиту, не должна формировать «под себя» тип личности; зато влияние в противоположном направлении может оказаться продуктивным: чем выше моральный уровень общества, чем больше заложено в нем трудолюбия, тем больше шансов на успешное развитие экономики. Китай может служить тому примером: в отличие от сталинского СССР, пишет Арриги, модернизация в этой стране «проводилась не путем уничтожения крестьянства, а путем его экономического и образовательного подъема». И дальше: «Китайская модернизация взяла себе за основание не только воспроизведение промышленной революции Запада, но возрождение собственной, имевшей крестьянские корни «революции прилежания».[2] Возможно, здесь не вполне точный перевод: по смыслу должно быть просто «возрождение прилежания» — после кратковременного (что важно подчеркнуть) маоистского экспериментирования по образцу нашей коллективизации.

Китайское крестьянство, до сих пор составляющее большинство населения, сохраняет свое необычайное трудолюбие, неизменную трезвость и практическую сообразительность, позволяющую легко менять род занятий при переселении в город. Последнее качество еще в XVIII веке было замечено одним русским путешественником: «Китайцы, — писал он, — ко всякому делу догадательны».

---

[1] См. *Chang G.* The Coming Collapse of China. N.Y., 2001; Stulwell J. The China Dream. N.Y., 2002. К 2002 году относятся и прогнозы P.Crugman'a, что «миф китайского чуда» вот-вот развеется.

[2] *Арриги Дж.* Адам Смит в Пекине. Что получил в наследство XXI век. М., 2009. С. 411, 412.

Считается, что все эти особенности — результат более чем двухтысячелетней дрессировки, которой подвергло китайский характер конфуцианство. Возможно, правда, допустить и обратную зависимость: конфуцианство просто «довело до кондиции» некоторые особенности становящегося китайского характера.

И не следует думать, что конфуцианство — это некое остаточное явление, владеющее умами и сердцами преимущественно земледельческого населения, а также недавних выходцев из деревни. За последние годы конфуцианство или, точнее, неоконфуцианство стало почти официальной идеологией в Китае. Правящая партия продолжает называть себя коммунистической и сохраняет внешний решпект по отношению к Марксу, Ленину и Мао, что легко объяснимо: если бы она от них отреклась, то поставила бы под вопрос собственную легитимность. Некоторые партийные идеологи продолжают утверждать, что конечной целью партии является построение социализма и коммунизма, но при этом возобновляют аргументацию немецких ревизионистов конца XIX века: чтобы прийти к цели, надо прежде построить высокоразвитый капитализм. Так, профессор Высшей партийной школы TianYingkui[1] пишет: «Как сказал Маркс, рост и всестороннее развитие производительных сил суть условия построения социализма».[2]

Впрочем, другой крупный партиец высказывается более откровенно: мы построим «правильное», «хорошее» общество, а как его назвать — будет видно. Сейчас, во всяком случае, ясно, что название будет соответствовать китайским традициям.

Китаисты утверждают, что нет другой страны, в которой политика до такой степени была бы увязана с историей — в смысле «пригвожденности к преданью» (воспользуюсь словами К.Бальмонта) — как в Китае. Стоило начаться «культурной революции», как в руководстве самой «передовой», казалось бы, партии произошел раскол. Нимало не колеблясь, Мао объявил своим предшественником императора Цинь Шихуанди (правил в 244—210 годах до Р.Х.), самого, вероятно, злого деспота в истории Китая, и призвал «сочетать Цинь Шихуанди и Маркса». Даже Сталин, при всем его влечении к Ивану Грозному, не отважился на то, чтобы официально «сочетать» его с Марксом. А Цинь Шихуанди был едва ли не лютее Грозного: он «срезал» почти всю китайскую верхушку, переселив сто двадцать тысяч семей сановников, феодалов и крупных торговцев на север, где они в значительной части были обречены на гибель; и он приказал закопать в землю живьем четыреста шестьдесят ученых-конфуцианцев, а все конфуцианские книги, находившиеся в частных библиотеках, сжечь без изъятия.

Со своей стороны, маршал Линь Бяо, официальный преемник Мао, выставил себя учеником Конфуция: только те, кто следует велениям добродетели, процветают, повторял он за Учителем, и гибнут те, кто прибегает к насилию. А Мао призвал «окончательно разделаться» со «старикашкой Куном» (Конфуций по-китайски — Кунцзы, или Кун Фу-цзы), бить его «как крысу, перебегающую улицу» (переадресовав Конфуцию его же сравнение: «совершенномудрый» говорил, что безнравственный человек подобен крысе и ему «лучше поскорее умереть»). Сам Конфуций физически оставался для Мао недосягаемым, но Линь Бяо и многие его единомышленники были уничтожены или посажены в тюрьмы.

Зато со смертью Мао развернулась «критика Цинь Шихуанди», а Конфуций в поле идеологии все больше вытеснял «классиков» марксизма. Обогатившаяся партийная верхушка, «новые мандарины» нуждались в системе взглядов, которая более соответствовала бы складывающемуся положению вещей; они нашли ее в конфуцианстве, в продолжение более чем двух тысячелетий остававшемся национальной философией Китая. Перед глазами у них был Сингапур, где за последние десятилетия было создано образцовое, как считают, конфуцианское государство, вырвавшееся далеко вперед в экономическом отношении (по объему ВВП на душу населения эта страна почти сравнялась с США). Да и такие передовики капиталистического хозяй-

---

[1] Не рискуя транскрибировать на русский некоторые китайские имена и фамилии, даю их в английской транскрипции.

[2] *Tian Yingkui*. China's Path. Beijing, 2008. P. 22.

ствования, как Япония и Южная Корея, исторически сформировались под сильным влиянием конфуцианства. Недаром все эти страны, как и некоторые другие, вместе с Китаем входят в зону, именуемую конфуцианской цивилизацией.

Но, может быть, границы этой зоны еще не установлены? Ведь и сам «совершенномудрый» адресовал свое учение «четырем морям», иначе говоря, всему свету. Такой же установки держатся и нынешние его последователи.

Что есть что в конфуцианстве

Уместно обратиться к одному эпизоду, относящемуся к концу Второй мировой войны. В апреле 45-го итальянские партизаны выдали американским военным властям их соотечественника поэта Эзру Паунда, с начала 20-х годов жившего в Италии, а в период войны постоянно выступавшего по римскому радио с призывами бить американцев и их союзников. Паунда перевезли в Америку и в ожидании суда посадили в тюрьму. Ему грозил смертный приговор — за «фашистские взгляды» и за «измену родине». На самом деле взгляды Паунда лишь очень частично совпадали с фашистскими, а вот считать его изменником родины действительно были основания. Хотя сам он называл изменниками родины «ростовщиков с Уолл-стрит», нарушивших заветы «отцов-основателей» и превративших Америку в «коммерческую цивилизацию».

В тюремную камеру Паунд взял с собой только две книги: «Лунь юй» Конфуция (главное произведение «совершенномудрого») в оригинале и китайско-английский словарь. Когда его вызвали в суд, он потребовал, чтобы его немедленно освободили, ибо он призван ни много ни мало перестроить мир «по Конфуцию» (подобно Велемиру Хлебникову Паунд истово верил в магическую силу поэтического слова).[1] Судьи сочли Паунда невменяемым и заменили ему смертную казнь пожизненной психушкой. Он провел там тринадцать лет и был вызволен усилиями собратьев по перу во главе с Т.Элиотом и Э.Хемингуэем, сумевших убедить власти, что нельзя держать взаперти гениального поэта, каковы бы ни были его взгляды, и что его антиамериканские выступления в годы войны были основаны на недоразумении. Выйдя на свободу, он уже окончательно уехал в Италию. Он простился с Америкой с борта парохода, вытянув руку в фашистском приветствии (в первый и последний раз в жизни, ибо никогда не состоял членом фашистской партии).

Теперь многие в Китае и на Западе считают Паунда пророком. Он предсказал не только возрождение конфуцианства в Поднебесной, но и продвижение его в остальном мире. Сейчас действительно за пределами Китая существуют сотни «институтов Конфуция», а в Соединенных Штатах даже возникли самостоятельные направления, или школы, неоконфуцианства — бостонское и колумбийское (с центрами соответственно в Гарвардском и Колумбийском университетах). Что обеспечило успех «совершенномудрому»? В первую очередь, очевидно, практические дела его последователей в Китае и иных краях, где ныне излучают оптимизм, не очень характерный для остального мира.

В отличие от европейских философов Конфуций не ставил вопросов о началах сущего, о принципах познания, об общественном устройстве etc. Он сам определил, что его не интересовало или, паче того, вызывало отвращение: «Я не говорю о сверхъестественном, о насилии, о смуте и о духах» (VII, 21).[2] (Запомним это высказывание.) Он не отрицал сверхъестественное и проявлял «уважение» к духам, но фактически поворачивался к ним спиной. Он был философом одной темы — человека в обществе. Не человек зависит от того, как устроено общество, а, наоборот, общество зависит от того, как устроен человек.

Этот взгляд, явно расходящийся с коммунистической догматикой, в конце концов переняла и правящая партия. На пленуме ЦК КПК в октябре 2004-го было декларировано, что необходимо «рассматривать человека в качестве корня-основы».

---

[1] Много лет спустя этот «проект» поддержал «апостол телевидения» Маршалл Маклюэн, назвавший Паунда «первым поэтом всемирной деревни».

[2] Здесь и далее я цитирую «Лунь юй».

С точки зрения Конфуция, космос — гармоничен, а так как человек порожден космосом, то и ему надлежит стремиться к тому, чтобы быть гармоничным. А это значит — быть добродетельным. В первую очередь такая задача стоит перед теми, кого Конфуций называет «благородными мужами». Это категория нравственная, а не социальная: каждый может стать «благородным мужем», если проявит к тому волю. «Благородный муж» великодушен, всегда готов прийти на помощь другим и в то же время скромен, даже застенчив, ибо всегда помнит о собственном несовершенстве. Он все время ставит себя в ситуацию, говоря языком сего дня, экзистенциального выбора: «Я не знаю, — говорит Конфуций, — как мне быть с тем, кто не спрашивает себя постоянно: "Как же быть? Как же быть?"» (XV,16). Иначе говоря, свою «линию поведения» «благородный муж» выбирает сознательно. То, что сегодня называется личным успехом, не имеет для него значения; он «человек дела», но не ради себя самого, а ради общего блага. Он принимает богатство и знатность, если они пришли к нему праведными путями, но он также умеет довольствоваться чашкой грубого риса и кувшином с водой, если не выпало на его долю ничего другого.

В отличие от «благородных», «малые» (в иных переводах — «простые» или «низкие»; и это опять-таки не социальная категория) корыстны и себялюбивы, заносчивы, там, где это возможно, и склонны применить силу в отношении тех, кто слабее. Но — вот важный момент в конфуцианстве! — они в принципе воспитуемы и переимчивы как в отношении дурного, так и в отношении хорошего. Последователь Конфуция философ Мэн-цзы (372—282 до Р.Х.) скорректировал в этом вопросе Учителя, приняв за аксиому, что человек по природе добр и легче перенимает хорошее, чем дурное.

Замечательна в конфуцианстве убежденность, что высокие моральные качества меньшинства могут и должны оказаться заразительными для большинства. История в определенной (пусть и в ограниченной) мере эту убежденность подтверждает.

Отцы-иезуиты, «открывшие» Китай для Европы в XVI веке, подметили определенную близость конфуцианской этики с христианством и сделали отсюда вывод, что китайцев легко будет окрестить. Вывод оказался ошибочным (так, по крайней мере, было до сих пор), и тем не менее близость действительно имеет место и в этом нет ничего удивительного: в различных религиях мира есть или предчувствие христианства (если они предшествовали ему), или переклички с ним. Применительно к таким случаям христианские богословы говорят о «подготовительных откровениях».

Исключительную роль играет в конфуцианстве культ семьи. Члены семьи обязаны заботиться друг о друге, детям надлежит проявлять почтительность в отношении родителей и т.п. — все это вещи, понятные христианину. Но в христианстве, наряду с твердым «да», адресованным семье, в определенных случаях звучит столь же твердое «нет». А вот это уже конфуцианству чуждо. Китайцам, когда они слушали христианских миссионеров, трудно было понять, как мог Авраам родного сына приносить в жертву какому-то абстрактному, ниоткуда не видимому Богу; и как мог Христос сказать, что «враги человеку — домашние его» (Мф. 10:36; см. также Мф. 12:47-50). Антиномизм христианства, как правило, оставался для китайцев чуждым и непонятным.

Столь же однозначно у Конфуция отношение к государству (которому, впрочем, он не отводил большого внимания, о чем ниже). Моделью его служит семья. В сущности государство — это одна большая семья. Роль всеобщего отца здесь играет монарх — Сын Неба.

Не менее важный, чем семья, институт — школа. Она призвана развивать добрые задатки, заложенные в семье, и «выпрямлять души», если они еще в этом нуждаются. С дифирамба школе начинается Конфуциев «Лунь юй»: «Учиться и постоянно повторять пройденное — это ли не радость!» (I,1). В другом и, как я подозреваю, более точном переводе процитированная фраза звучит так: «Учиться и постоянно применять свои знания — это ли не радость!» (читателя не должны удивлять расхождения: перевод китайских идеографических текстов местами сопряжен с огромными трудностями). У Конфуция упор делается на знания, имеющие практическое применение. О.Шпенглер имел основания прийти к выводу, что китайская цивилизация, и только

она, содержит роднящее ее с западной («фаустовской») цивилизацией стремление к преобразованию мира.

Конфуций считал, что право на получение образования должны иметь все китайцы, независимо от места жительства, сословной принадлежности и т.д. На деле осуществить это право далеко не всегда было просто, но то, что на протяжении всей последующей истории Китая (время правления Цинь Шихуанди — едва ли не единственное исключение) власти признавали его хотя бы номинально, тоже очень важно. Правящая бюрократия формировалась по результатам конкурсных экзаменов, что опять-таки было инициировано Конфуцием. А бюрократия имела в Китае огромную власть. Наверное, в продолжение Древних и Средних веков это была единственная страна, где «аристократия чернильницы» потеснила «аристократию меча».

Школа, таким образом, не только давала образование, она воспитывала, прививала вкус, приобщала к тому, что у Конфуция обозначается термином *ли* и что переводится и как «правило», и как «ритуал». Представление о «правильном», ритуализированном поведении подчиняло себе всю жизнь в старом Китае. Особо изощренные ритуалы практиковались, конечно, при императорском дворе, где этикет изобиловал такими сложными подробностями, что вызывал ироническое отношение у европейцев, для которых «китайские церемонии» стали притчей во языцех. Но даже простолюдины, какие-нибудь рикши, допустим, встречаясь на улице, обменивались учтивыми поклонами, справлялись о здоровье семей и все такое прочее. Случались, конечно, на улице и перебранки, и драки, но это были исключения из правил, которые все признавали и которым старались следовать.

Вежливость стала для китайцев второй природой. Выдающийся русский китаист академик В.М.Алексеев, в 1907 году изъездивший Китай вдоль и поперек, писал: «Китай — страна вежливости и, даже более того, — страна привета».

Конфуций, как уже было сказано, не уделял большого внимания вопросам государственной жизни. Он считал, что, если люди правильно воспитаны, все «образуется» в этом смысле наилучшим образом. Если же государство почему-то вдруг охватила смута — тогда беда (заметим, что Конфуцию довелось жить как раз в эпоху смуты, в так называемую эпоху Сражающихся царств[1], протянувшуюся с VII по III век до Р.Х.). Рецепта от нее Конфуций не знал и одно только советовал: «Царство в опасности — его не посещай, в царстве мятеж — там не живи. Когда под Небесами следуют Пути, будь на виду, а нет Пути — скрывайся» (VIII,3). Смуту можно только переждать, «перепрыгнув» через поколения, добродетели которых был нанесен ущерб.

Несколько разошелся с Учителем Мэн-цзы, считавший, что в исключительных случаях смута допустима: народ имеет право восстать против плохого императора. Вообще же концепция государства у конфуцианцев, поскольку она у них присутствует, имеет нечто родственное со славянофильской концепцией «общества, основанного на доверии».

Заметим, что кладка китайского характера не была делом одного только конфуцианства. В политико-юридическом плане определенную роль сыграло учение легизма, как его называют на Западе, основоположником которого считается Шан Ян (390—338 годы до Р.Х.). Легисты не разделяли мнения, что общество может быть основано на доверии, полагая, что человек зол по природе и только страх перед наказанием способен удержать его от дурных поступков. Сторонником легистов был император Цинь Шихуанди, которого привлекал у них также антиинтеллектуализм, враждебное отношение к образованию и образованным людям. Но после Цинь Шихуанди конфуцианство вернуло себе господствующие позиции ценою некоторых уступок легистам — без упорядоченного судопроизводства и без карательной системы государство и вправду не могло обойтись.

В мировоззренческом плане с конфуцианством в Китае всегда сожительствовал даосизм, а с некоторых пор и буддизм. Даосизм — китайское традиционное учение, включающее элементы религии, мистики, гаданий, шаманизма, медитационной практики, науки. Его основателем считается мудрец Лао-цзы, автор «Дао дэ цзина» («Трак-

[1] Китай в те времена был поделен на несколько царств.

тата о Пути и благодати»), основополагающего источника учения и одного из выдающихся памятников китайской мысли, оказавшего большое влияние на культуру Китая и всего мира. Буддизм нашел в Китае последователей в лице отшельников, которые уходили от мира в горы или бамбуковые рощи и коротали там дни в молитвах и в ожидании, когда лопнет для них этот «нарыв, именуемый жизнью». Сам Конфуций их «уважал»: «Лучший, — говорил он, — удаляется от мира» (XIV,37). Но в «народном» употреблении, как полагают некоторые исследователи, буддизм был окитаизирован и лишился изначальной своей остроты и высоты, сблизившись с «фольклорным» даосизмом. Конфуцианство не конфликтовало ни с даосизмом, ни с буддизмом (был лишь кратковременный период гонений на буддистов), потому что вся его тематика была другая — посюсторонняя; Конфуций говорил не о том, о чем говорил Лао-цзы («Я не говорю о сверхъестественном... и о духах»).

Касания потустороннего мы находим в китайской поэзии. Почти вся она пейзажная и почти вся грустная. Уединившись по примеру отшельника, в бамбуковой роще, подале от человеческого копошения, поэт слушает шум дождя, таинственные звуки цитры, ловит отражения луны в струящемся ручье...

И что «работает» сегодня

В начале XX века писатель Лу Синь, прозванный «китайским Горьким», охарактеризовал конфуцианство как «духовный сифилис», от которого обществу надлежит поскорее излечиться. А в начале XXI столетия Конфуций снова официально признан и ему возвращен его прежний громкий титул — «Учитель для десяти тысяч поколений». С 1983 года уроки конфуцианской этики в обязательном порядке преподаются в школах; более того, считаются первым по значению предметом.

Сама школа занимает исключительное место в китайской жизни. Китайцы будто захотели наверстать упущенное в годы «культурной революции», когда пустующие здания школ стояли с разбитыми окнами, а учителя «перевоспитывались» на сельскохозяйственных работах. Сейчас и в городе, и на селе школьные здания строятся в первую очередь; удивительно ли — Китай расходует на образование, в абсолютных цифрах, в 40 раз (!) больше, чем Россия. Учительство вновь стало почетной профессией, книга вернула благоговейное отношение к себе. Читальные залы ломятся от читателей — как в СССР периода первоначального накопления знаний.

Успехами может похвалиться и высшая школа. В список ста лучших университетов мира, составленный на Западе, входят несколько китайских (и только один российский). В гуманитарной их части тон задает неоконфуцианство, хотя широко изучаются произведения западных философов, включая современных: без чего, как полагают китайские профессора, невозможно «обновление» конфуцианства. Впрочем, современные западные философы не удостаиваются сколько-нибудь высокой оценки; по замечанию профессора Тан Цзюньи, их труды — «мелкая рыбешка со множеством костей, но с малым количеством съедобной плоти». Меткое, на мой взгляд, замечание.

Но вот с продвижением конфуцианства в жизнь дело обстоит не так просто. Крестьянство, по-прежнему, повторю, составляющее большинство населения, до сих пор не вышло из его силового поля; по крайней мере, культ семьи, занимающий (наряду с культом образования) центральное место в конфуцианстве, в значительной мере сохраняется. С другой стороны, носителем неоконфуцианства становится интеллектуальная верхушка, с которой чем дальше, тем больше считается партийно-государственная власть. А вот основная часть городского населения находится на распутье. Бурное развитие капитализма привело к тем же результатам, что и в России — социальному расслоению и выделению группы сверхбогатых, к сопутствующему этому процессу росту коррупции и другим преступлениям. Учитель Кун ничего не имел против богатства, нажитого честным путем, но осуждал жадность и погоню за наслаждениями. Я не нашел у него осуждения ссудного процента, на чем энергично настаивал Паунд, и, не будучи экономистом, не могу судить, возможна ли вообще современная экономика без ссудного процента (надеюсь, постоянно растущее в

объеме *китайское* паундоведение сумеет ответить на этот вопрос). Но «власть денег» вызывала у Конфуция не просто осуждение, но брезгливость; даже употреблять слово «деньги» он находил «неприличным». Выражая его позицию, поэт VII века Чэнь Цзыан писал:

Гордятся люди рынка ловкостью и смекалкой
Но жизни путь проходит, словно в неведенье детском...

Укоризна — достаточна ли для «приведения в чувство» зарвавшихся скоробогачей? Власти так не думают и показывают, что они неплохо усвоили уроки легистов: за первые десять лет нового века за коррупцию, распространение наркотиков и некоторые другие преступления казнены десять тысяч человек и еще сто двадцать тысяч (!) приговорены к пожизненному заключению.[1] По телевидению и в Интернете можно видеть, как идут на казнь мужчины и женщины со спокойными лицами (так на Востоке встречают смерть!), как они становятся на колени и офицер в темных очках стреляет им в голову. И потом еще показывают крупным планом их окровавленные лица — для всеобщего назидания.

Результат есть: уровень преступности в Китае значительно ниже, чем, например, в России или в США. Но нельзя воспитывать народ посредством одного только наказания или угрозы наказанием — в неоконфуцианском Китае это сегодня понимают лучше, чем где-либо. Закон говорит о том, чего *не* следует делать, но ничего не говорит о том, как именно следует вести себя по отношению к ближнему, а равно и дальнему. Сам учитель Кун (который вообще-то недооценивал право) показал, что решающую роль здесь играет сила доброго примера. «В ваших руках, — обращался он к одному из власть имущих, — бразды правления, зачем же вам казнить? Вам стоит лишь увлечься самому хорошими делами, а весь народ тотчас же устремится ко всему хорошему. У благородного мужа добродетель — ветер, у малых же людей она — трава; склоняется трава вслед ветру» (XII,19). И далее: «Если поставить честных над бесчестными, то можно всех бесчестных сделать честными» (XII,22).

Конфуций знал то, о чем много веков спустя писал Кант: слово закона можно «уважать» (и бояться его), но только образ можно любить и следовать ему. Иначе говоря, хорошие *примеры* заразительны — надо только иметь их перед глазами.

Для неоконфуцианского Китая это вопрос первостепенной важности. «Чтобы государство успешно развивалось и служило интересам народа, — пишет пекинский профессор Wang Keping, — надо уметь сочетать управление посредством закона с управлением посредством добродетели (virtue)». И добавляет: «Как это замечено нашими средствами массовой информации, широкое продвижение принципа управления посредством добродетели представляет собою уникальную особенность политического ландшафта Китая».[2] Это не значит, конечно, что в других странах добродетельное поведение, хотя бы и в политической сфере, такая уж большая редкость, но уже тот факт, что в границах евроамериканского мира само слово «добродетель» звучит чуть-чуть архаично и весьма часто вызывает спонтанно ироническую реакцию, кое о чем говорит.

Другой китайский профессор, политолог, пишет: закон и добродетель — два крыла, на которых омолодившийся Китай воспаряет в будущее.

Власти стремятся насытить экраны телевидения, кино и т.д. примерами добродетельного поведения. Беда, однако, в том, что и дурные примеры заразительны, а их тоже хватает — в самой жизни и на тех же экранах. Особый вред неоконфуцианцы усматривают в американских фильмах, считая их безнравственными (что верно не на все сто, но процентов на восемьдесят-девяносто).[3]

---

[1] http: /www.newsland.ru/News/Defoul/id/386602/cat/42/

[2] *Wang Keping*. Ethos of Chinese Culture. Beijing. 2007. P.78—79.

[3] Того же мнения, между прочим, придерживается большинство американского народа. По данным последних опросов, от 60 до 65 процентов американцев считают, что Голливуд разрушает в стране религию и мораль.

Самая «неустойчивая» часть населения — городская молодежь. Люди, посещающие китайские города, выносят оттуда разные впечатления. Говорят, что молодые люди много работают или учатся, заботятся о родителях, не пьют и не курят и рано ложатся спать, то есть более или менее следуют неоконфуцианским «правилам». Но говорят также, что есть и другие молодые люди, ищущие легкого заработка, не лишенные цинизма и посещающие ночные клубы, где они «прожигают жизнь» на западный манер. В городах, таким образом, сталкиваются два «ветра и потока» (термин, идущий от времен Шести династий, то есть от III до VI веков) и от того, который из них возьмет верх, зависит будущее Китая. Припомним, однако, что у неоконфуцианства есть еще и мощный крестьянский «ресурс».

В политическом плане неоконфуцианцы заявляют себя демократами, хотя их понимание демократии от современного западного далековато. Оно еще близко к тому, какое мы находим у французов в начальный период их «великой» революции: в основе демократии — идея суверенитета «народной воли», представлявшейся существенно единой. Последующая либеральная «детализация» этого понятия, предполагавшая, в частности, четкое разделение властей и конкуренцию политических партий, остается для неоконфуцианцев неприемлемой. В духе наставлений Учителя конкуренции они противопоставляют согласие. Демократию, которую они считают приемлемой для себя, называют «демократией участия»: все политические силы должны иметь право высказываться, но затем лишь, чтобы в итоге прийти к единому мнению, в основу которого будет положено мнение господствующей политической силы. Западные наблюдатели называют такую систему авторитарной, что трудно оспорить. Замечу, однако, что даже наиболее последовательные либералы в Китае не возражают против сильной «вертикали власти», полагая, что без нее страна просто рассыпалась бы. Историк Э.Фунг пишет о них: «Причина, по которой наши либералы не являются либертарианцами и не верят в экономику, основанную на принципе laisserfaire, не в том, что им не хватает понимания норм либерализма, а в том, что они отдают себе отчет в китайских реальностях. Таким образом, даже либерализм в Китае находится под сильным влиянием конфуцианства».[1]

Но и те западные наблюдатели, которые критически относятся к китайской системе, находят в ней и позитивные моменты. Указывают, например, что культ семьи в Китае всегда бросал некоторый вызов государственному авторитаризму. Этим Китай отличается от Японии, тоже испытавшей сильное влияние конфуцианства. Суть дела можно передать так: в Китае родной отец всегда был важнее императора, а в Японии наоборот. Некоторые аналитики высоко оценивают постановку школьного дела в Китае, равно как и традицию конкурсных экзаменов при замещении чиновничьих должностей. В сущности, мы видим возобновление старых споров — времен Просвещения, когда Монтескье заключил, что Китай представляет собою образец восточной деспотии, а Вольтер, будучи сторонником просвещенной монархии, восхитился тем, с каким уважением Конфуций и его последователи относятся к уму и образованию («Лунь юй» впервые был переведен на латинский язык в 1687 году отцом-иезуитом Просперо Инторчета), но также и тем, сколь далеки они от религии.

Сегодня из конфуцианства извлекается еще и экософия, дефицит которой остро ощущается в мире. Как и подобает истинным конфуцианцам, китайцы не просто размышляют на данную тему, но осуществляют конкретные проекты, сокращающие вредные промышленные и иные выбросы в атмосферу; некоторые из этих проектов уже признаны образцовыми. Пока еще Китай остается самой загрязненной страной в мире — но озабоченной своей экологией больше всех других.

Большинство аналитиков считает, что Китай сохранит свою инаковость по отношению к Западу; многие видят в этом угрозу: сочетание экономического, а в перспективе и военного могущества с авторитарным режимом может превратить его в полюс притяжения для стран Третьего мира и обратить вспять дело распространения либерализма на планете. Ввиду очевидной невозможности унять китайский рост, некоторые американские авторы, такие как Роберт Каплан и Пол Вулфовиц, предсказывают

[1] *Fung E.* The Intellectual Foundatins of Chinese Modernity. Cambridge, 2010. P.259.

длительное, на долгие десятилетия, состояние «холодной войны» между Соединенными Штатами и Китаем и не исключают того, что в определенный момент она может перерасти в войну «горячую». Говорят о «врожденном коварстве» китайцев, в подтверждение чего цитируют знаменитого Сунь-цзы.[1]

Но стратагемы Сунь-цзы (V век до Р.Х.) трудно совместимы с конфуцианством, требующим проявлять «человечность» и «чистосердечность» также и в отношениях с «варварами», то есть всеми некитайцами. От варваров надо защищаться, но не следует на них нападать; также незачем стремиться к захвату чужих земель. Потому, в частности, следует, что расширение территории увеличивает риск хаоса, а война «портит армию» (последняя, кажущаяся парадоксальной мысль много веков спустя была буквально повторена не знакомым с сочинениями «совершенномудрого» Павлом I).

Следует признать, что из всех мировых империй, существовавших до сих пор, Китай — наименее воинственная и агрессивная. Данное обстоятельство должно несколько снизить распространившуюся у нас за последние годы тревогу по поводу того, что в будущем Китай попытается отнять у нас Сибирь и Дальний Восток. Маловероятной остается и перспектива мирного заселения их китайцами. Они вообще-то не очень склонны эмигрировать. И резкий перепад плотности расселения по разные стороны российско-китайской границы сам по себе никаких таких роковых последствий не влечет. В Китае (как и во многих других странах Востока) привыкли жить тесно. К тому же принятые суровые меры по сокращению рождаемости ведут к тому, что численность населения страны вот-вот стабилизируется, а значит, и постареет; может статься, что уже в близком будущем самому Китаю будет не хватать молодых рук.

Другое дело, если во главе Китая явится очередное (после Мао) кармическое перевоплощение Цинь Шихуанди. В этом случае не исключено, что от эпохи российской экспансии на Дальнем Востоке только и останутся, что песня о «гордом «Варяге» и вальс «На сопках Маньчжурии».

Но в плане мировой истории важнее все-таки другое: какие *цивилизационные* последствия будет иметь возвышение Китая?

«Все устроится само собой»

Китайская цивилизация уникальна: древнейшая из всех, существующих на планете, по-своему великая, своеобразно утонченная, она еще в недавние времена сохраняла, а отчасти и сейчас еще сохраняет архаичные черты. Главная из них, как представляется, в том, что китайцы продолжают мыслить мифически.

Слово «миф» я употребляю в нейтральном смысле, берущем начало, по крайней мере, от В.Вундта и получившем развитие в работах А.Ф.Лосева («Диалектика мифа», «Греческая мифология» и других). Миф есть свод первоначальных интуиций, художественно выраженных и характерных для определенного племени или определенного культурного ареала. *Над* мифом, в чем-то усваивая его, а в чем-то отрицая, надстраиваются религия в ее развитых формах, философия, идеология. Но в Китае миф как был, так и остался верхним слоем сознания: непосредственные жизненные пережи-

[1] Для читателя, незнакомого с этим автором, приведу отрывок из его главного сочинения: «Великий стратег Сунь-цзы наставлял: «Если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты далеко; хотя бы ты и был далеко, показывай, будто ты близко; заманивай его выгодой; приведи его в расстройство и бери его; если у него все полно, будь наготове; если он силен, уклоняйся от него; вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства; приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение; если его силы свежи, утоми его; если его ряды дружны, разъедини; нападай на него, когда он не готов; выступай, когда он не ожидает» (*Конрад Н.И.* Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве. М.-Л., 1950. С. 37). См. также: *Зингер фон Х.* Стратагемы о китайском искусстве жить и выживать. М., 1988.

вания, прочувствованные мифически, для китайца важнее сколько-нибудь отвлеченных формул и схем.

Надо отдать должное Эзре Паунду: кажется, он был первым, кто это понял. Весной 1945-го в Риме вышел небольшой сборник его стихов, названный по-итальянски «lAssechenovacilla», «Неколебимая ось». Цензоры сразу же запретили его, усмотрев в названии намек на только что рухнувшую «ось Берлин—Рим». Намек, может быть, и вправду имел место, хотя у Паунда речь идет о совершенно другой оси: Греция (мифотворческая) — Китай. Вокруг которой, согласно Паунду, вращается мир человеческой истории.

Обе мифологии, греческая и китайская, исходят от представления о Хаосе. Что это такое, на греческом примере блестяще описано Лосевым: раннюю греческую мифологию пронизывает «идея *жизненной кипучести, напряженной перегруженности*... Хаоса. Он не просто покоится в себе, но он все время бурлит, кипит... рвется вперед, набухает, вращается в себе, даже издает вопль и рыдает... Еще нет никого и ничего, но эта бездна уже зреет, созревает, бродит, зачинает, беременеет, мучится родами». Эта бездна «одновременно и нарождается, и умирает, сама себя создает и уничтожает, сама мучительно наслаждается от этой нерасчлененности жизни и смерти, сама противоборствует с собою».

Этой впечатляющей картине соответствуют и древние божества. В европейском сознании они заслонены позднейшими их, облагороженными версиями: прекрасная Афродита, рождающаяся из морской пены, «сребролукий» Аполлон, воплощение цветущей юности и красоты, целомудренная девственница Артемида и т.д. Но на архаической стадии Афродита — дикое, зверино-сексуальное существо, Аполлон — многорукое страшилище, сеющее вокруг себя смерть, Артемида за трапезой не брезгует человечиной и все прочие боги выглядят и ведут себя так, что позднейшему греку могут привидеться разве что в страшном сне. Впрочем, и боги классического периода сплошь и рядом холодны и жестоки: Аполлон, например, приканчивает стариков, если они слишком долго живут, вдвоем с сестренкой Артемидой они убивают детей несчастной Ниобы и т.п.

С точки зрения Паунда это как раз хорошо: жестокий нрав и горячий темперамент — признаки подъема культуры (с этой стороны Паунд действительно близок культуре фашизма). Необходимо «доверие к жизненной силе как таковой». Оно есть и в христианстве, но «затемнено в нем хмурым пугалом, именуемым богом».[1]

Что стало причиной «эпидемии сентиментальности» и «напускной стыдливости».

Плохо (опять-таки с точки зрения Паунда) другое: греки «предали» свою мифологию и ударились в отвлеченное, вербально-логическое мышление, тем самым породив раскол — между духом и материей, физическим и метафизическим, истинным и ложным. Отдушиной от этой «сумасшедшей логомахии» стали мистерии, подобные элевсинской: они возвращали безумие Хаоса, носителем которого становился Дионис — его экстатический культ, требовавший предельного напряжения всех душевных и физических сил, знаменовал высшее торжество жизни, уже неотличимой от смерти (здесь Ницше кивает Паунду из своего недалекого прошлого).

Китайцы пошли другим путем: они «выгородили» в пространстве Хаоса очеловеченный мир, замкнутую в себе и самодовлеющую Сферу (искусствоведы давно подметили характерную искривленность изображений в китайском искусстве: впечатление такое, что на них давит и сжимает их Сфера). Хаос остался за «оградой», постоянно напоминая о себе образами демонов, чьи физиономии искажены какой-нибудь страшной гримасой. Характерно, что похороны в Китае сопровождаются очень необычной (на взгляд европейцев) для столь печальной церемонии музыкой: оглушительно грохочут барабаны и литавры, пронзительно воют трубы (так, по крайней мере, было в традиционном Китае) — это Хаос приветствует мертвецов, принимая их в свое лоно. (Для сравнения: можем ли мы вообразить, чтобы в нашей стороне на

[1] *Паунд Э.* Путеводитель по культуре. М., 2000. С. 63. См. также: *Чухрукидзе К.* Pound & L. М., 1999.

похоронах звучал, допустим, heavymetal?). Но внутри «ограды» — по крайней мере, в модусе долженствования — тишь, гладь да божья благодать. Это царство Конфуция. «Совершенномудрый» не выстроил его «из ветра главы своея»; пусть даже глава у него была премудрая. Ко времени его появления цивилизация Китая насчитывала уже полторы тысячи лет и ему оставалось только «выкроить» из накопленного ею опыта китайский миф и закрепить его в сознании соотечественников.

В этом смысл паундовской «оси»: в сопряжении безумия Элевсина (не только оправдываемого им, но и увлекающего его) с «райской тишиной» конфуцианского мира, в которой драма истории находит периодическое разрешение:

Ласточка,
Которая в бурю летает иначе,
Чем в тихую погоду,
Несет послание райскому миру,
В котором дикие экстазы Элевсина
Находят гармонический финал
В гармоническом царстве Куна.

Еще один крупный поэт первой половины XX века Готфрид Бенн (по неслучайному совпадению тоже внесший некоторый вклад в культуру фашизма) называл китайский миф «золотой сферой» и «талантливой имитацией рая», а самый Китай — «местом, где жизнь не предана Духом».

Как просто достичь райской тишины! Надо только, по совету Конфуция, избегать «тяжелых мыслей» и подавлять «тайные помыслы» — значит, забыть о «вечных», «проклятых» вопросах, все равно, говорят нам, не имеющих разрешения. Есть земля и люди на ней и если стоит за чем наблюдать, так это за тем,

Как, весь уйдя в свой муравейник,
Хлопочет человек-затейник.

(Это, правда, слова из «Фауста» Гете, но произносит их Мефистофель). Есть еще и небо над головой, но это пустое, безличное небо; выше бегущих по нему облаков воображение конфуцианства не поднимается. И если оно вызывает у него «почитание», то это пустое «почитание». «В китайской картине мира, — пишет известный китаист В.В.Малявин, — нет чистых сущностей, нет принципов, превосходящих уникальность каждой вещи, нет умственных или зрительных «точек отсчета», нет даже нормы красоты».[1] (Это, конечно, не означает, что нет красоты.) И нет Бога — Творца и Вседержителя.

Есть — слитность всего со всем, в которой вещи объясняют себя друг через друга. Нет внеположных им времени и пространства, а есть Дао. Это корневое понятие китайской мифологии обычно переводят как «Путь», хотя Паунд предлагает иной перевод — Vortex (английское слово, означающее «водоворот», «вихрь»). А Поль Клодель (в отличие от Паунда, знакомого с Китаем только по литературе, французский поэт провел в этой стране многие годы на дипломатической службе) усмотрел в этом понятии «тихий круговорот вещей», который заворожил даже его, никогда не расставшегося с «Суммой теологии» Фомы Аквинского.

Здесь нет или, точнее, не должно быть неистовых страстей, которыми изобилуют европейское искусство и литература. То есть страсти, конечно, никуда не делись, но они подчинены ритуалу, хочется сказать: облечены в ритуал, связывающий по рукам и ногам и не допускающий резких и непредвиденных движений. Демонстрация страстей не отвечает хорошему тону. Неожиданно для европейцев (как и многое в Китае) позитивный смысл несет эпитет «пресный». Музыка (не похоронная), например, должна быть «строго пресной». Европейская музыка еще в недавние времена шокировала китайцев; кого-то, наверное, и сейчас шокирует. Громокипящий симфо-

[1] *Малявин В.В.* Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового времени. М., 2000. С.112.

низм немецких романтиков или страстные рулады мастеров belcanto воспринимаются как «неприличные»; более того, по убеждению китайцев, они «ведут к резне» (!).

Мифомышление предъявляет определенные требования к языку (верно, должно быть, и обратное: язык до некоторой степени предопределяет способ мышления). Иероглиф — это не знак вещи, а, как говорят, след ее или даже сама вещь. Чураясь общих понятий, китайцы мыслят конкретно-образно. Wang Keping полагает, что китаец, в терминах Э.Кассирера, — не homo sapiens, а скорее homo symbolicus.

Китаисты утверждают, что западные идеологии, в их числе коммунистическая, никогда не овладевали китайскими умами в такой же степени, как в Европе (не исключая, конечно, России). После того как в стране разрешена была свобода дискуссий, то есть в 80-е годы, первое время еще происходили столкновения различных «измов», но потом оппоненты по большей части стали возвращаться к привычному символическому языку. К этому языку прибегают теперь и облеченные властью. Когда, например, кто-то из них хочет сказать о важности сохранения в стране стабильности, то говорит, что «бледнеет при виде тигра», и все понимают, что это значит.

Малявин пишет, что китайский миф — это мечта о жизни, в которой «все само собой устроится наилучшим образом». Сегодня скажем — без участия каких бы то ни было западных «измов».

И без предварительного рассмотрения далеко идущих проектов и без выстраивания утопий, добавил бы Паунд. По его словам, «Фонтенель заметил, что ни один, даже неумный тиран не дал бы Платону ни акра земли, где бы тот мог построить свою республику. И наоборот, мы узнаем, что когда бы и где бы ни устанавливался порядок в Китае, где бы ни проводилась замечательная реформа или конструктивное национальное предприятие, вы обязательно найдете за ними или в их центре какую-то группу конфуцианцев».[1] Потому что в каждом конкретном случае они находят правильное решение «на ощупь».

Историк Fang Dongmei нынешний оптимизм китайцев объясняет тем, что они вновь обрели «императорский путь», который им указал Конфуций. Правда, облитый золотом императорский трон в Большом тронном зале Запретного города давно пустует, но, может быть (это уже мой домысел), китайцы прозревают то, что другим недоступно, а именно, что на троне восседает невидимый Истинный господин — наподобие Невидимого имама у шиитов.

Мир и бамбуковая роща

Выдержит ли китайская «Золотая сфера» превратности времени? И если да, то как этот факт отразится на ходе мировой истории?

Попытаемся ответить сначала на первый вопрос. Запад обрушил на китайцев, как и на весь остальной мир, свой технический разум, который они, с их изначально «осязательным» отношением к материальному миру, сравнительно легко переняли и даже более того, едва ли не превзошли в этой части учителей. Но технический разум в наши дни во многом зависит от развития науки, а наука требует отвлеченного мышления, до недавних пор китайцам чуждого. Отчего им сильно не хватало большой науки. Похоже, однако, что в последние годы это отставание преодолевается; не исключено даже, что и на «фронте науки» китайцы вырвутся вперед.

В этом случае им придется жить «на два ума», один из которых — родной идеографический, а второй — заимствованный формально-логический.

Но Запад обрушил на китайцев не только свой ум, но и свое безумие. Культурная революция 1968 года, начавшаяся во Франции и США, знаменовала «возвращение Диониса», которого еще Ницше призвал из глубины веков. А Дионис проявляет свою власть не только в рамках определенного культурного ареала; это знал еще Овидий, который, обращаясь к нему, писал так:

---

[1] Цит. по: *Motsch M*. Ezra Pound und China. Heidelberg — Munchen, 1976. S.159.

...Ты Восток победил до пределов
Тех, где, телом смугла, омывается Индия Гангом.

(Что дальше Ганга, Овидию просто не было ведомо.) Паунд был прав, когда назвал дионисийским «африканский крик». Именно африканские ритмы вместе с наркотиками способствовали «освобождению» молодых поколений от скреп «дневного» сознания. Теперь дело дошло до Китая. В китайском подсознании идет схватка драконов (согласно здешней мифологии драконы бывают «хорошие» и «плохие»), которая неведомо чем кончится. Если «плохие» драконы возьмут верх, это будет означать усугубление, в планетарном масштабе, наступающего со всех сторон Хаоса. Но если верх возьмут «хорошие» драконы, тогда, может быть, «царство Конфуция» вновь обретет хотя бы очень относительную безмятежность? Значит ли это, что в таком случае мир сможет «поручить» свое будущее Китаю?

Знаменитый английский историк Арнольд Тойнби еще в середине 70-х высказал мнение (в беседе с японским профессором Д.Икедой), что будущим «объединителем мира» может стать не западная или ориентированная на Запад страна, а Китай. Удивляет прозорливость Тойнби: в середине 70-х Китай еще находился в состоянии глубокого развала. Но удивляет и другое: Тойнби всегда оставался на позиции христианской эсхатологии — как с этой позиции допустить, что ключи мировых судеб могут попасть в китайские руки? Разве что на время: в продолжение какого-то промежуточного акта трагедии, каковою является всемирная история.

В романе Германа Гессе «Игра в бисер» один из его персонажей, Старший брат, живущий в созданной для него обители Бамбуковой рощи и окитаизированный до мозга костей, делает знаменательное признание: «Вместить в мир бамбуковую рощицу можно. Но удастся ли садовнику вместить весь мир в свою бамбуковую рощу, это, по-моему, сомнительно». Хотя такая попытка, добавлю от себя, возможна, никаких долговременных результатов она принести не в состоянии.

История есть трагедия, и от этого факта никуда не уйти. Его прочувствовали уже древние греки: *мойра*, слепая судьба идет наперекор человеческим желаниям и человеческой воле. Христианство разглядело за бесформенным образом *мойры* Божью волю, а с другой стороны, наделило человека свободой, позволяющей ему хотеть не того, чего хочет и чего ждет от него Бог; тем более что в иных случаях Божья воля остается таинственно-неартикулированной. Поэтому трагизм, так сказать, изначально заложен в христианском понимании истории. При всем том человечество, конечно, должно ставить перед собой задачи позитивного характера и стремиться к их осуществлению, но и быть готовым к тому, что в любой момент все пойдет не так, как хотелось и как можно было надеяться.

Трудно понять английского публициста Марка Леонарда, когда он пишет о современных китайских интеллектуалах неоконфуцианского направления: «Очень скоро мы почувствуем, что наш мир изменяется под влиянием их идей».[1] Чему могут они научить мир? Ну, пожалуй, они могут напомнить Западу о том, что человеческие отношения сложнее правовых отношений; точнее, напомнить об этом тем на Западе, кто об этом забыл. Но если забывчивые пороются в своей христианской памяти, они вспомнят, что высшим принципом человеческих отношений, заповеданным свыше, является любовь. А в Китае теплота человеческих отношений, поскольку она еще сохраняется, имеет опытно-интуитивное происхождение и не имеет, в глазах китайцев, «оснований в Бытии» (воспользуюсь выражением М.Фуко).

Полезно напомнить Западу о важности и даже первостепенности символического мышления (которое может быть религиозным и художественным) в сравнении с формально-логическим. Когда Wang Keping пишет, что европейцы настолько углубились в научное познание, что потонули в нем и уже не могут выплыть, то ему, как я полагаю, очень нелегко возразить. Наука все больше дробит мир на исследуемые ею

[1] *Леонард М.* О чем думают в Китае? М., 2009. С. 35.

частности, которые все меньше складываются в общую картину. Но стремление западных «неоархаистов» (Паунд среди них — далеко не единственный) вернуться к дограмматическому (иероглифическому) мышлению как средству борьбы с «логомахией» — другая и едва ли не худшая крайность. Мир не есть нечто слитное (как это представляет китайский миф), он изначально расколот, и различные его части вступают друг с другом в противоречия, которые могут быть выражены только посредством понятийного языка; другое дело, что понятия не должны быть «высушены», но должны сохранять свою глубину (так, по крайней мере, в религиозно-философских и художественных текстах).

Хорошо изучивший китайцев Поль Клодель писал о них: «Подобно морю, неспособная предвидеть свои волнения, эта нация, спасающаяся от гибели лишь благодаря своей гибкости, во всем являет свою древнюю и бренную природу, ветхую, ненадежную, полную зияний».[1] Замечу, что это пишет человек, *влюбленный* в Китай (о чем свидетельствует сборник его замечательных стихотворений в прозе, откуда взята приведенная цитата), но тем ценнее его нелицеприятное суждение о «природе» китайской нации, вряд ли существенно устаревшее за минувшее столетие, несмотря на все перемены, с нею произошедшие, и несмотря на все достигнутые ею внешние успехи.

Мир, и в первую очередь Запад, действительно может сильно измениться под влиянием Китая, но только не под влиянием его идей. Потому что «наивный реализм» китайцев может способствовать решению каких-то частных позитивных задач, но не более того; никакой новой перспективы в человеческой истории он не открывает. Мир может измениться под влиянием растущего материального (экономического и военного) могущества Китая, что до сих пор считалось прерогативой Запада, его «судьбой», которую в свое время предначертал ему Шпенглер.

В цивилизаторской воле к мировому господству Шпенглер усмотрел последнее превращение «фаустовской души», за которым может последовать только смерть. Шпенглеру осталось чуждым христианское понимание мировой истории, поэтому он не в состоянии был представить, что «фаустовскую душу», если уж так ее называть, могут еще ждать впереди какие-то новые приключения.

Шпенглер, кроме того, недооценил «желтую опасность», о которой писали некоторые его современники. Так, Д.С.Мережковский предвидел возможность, что «Китай победит Европу» — при условии, что «в ней самой не совершится великий духовный переворот, который не опрокинет вверх дном последние метафизические основы ее культуры и позволит противопоставить пушкам позитивного Востока не одни пушки позитивного Запада, а кое-что более реальное и истинное». Предвидение остается в высокой степени актуальным (хотя пушки следует заменить более широким ассортиментом не столько даже военного, сколько экономического арсенала), только духовный переворот, о котором говорит Мережковский, может явиться как раз следствием того, что «желтолицые позитивисты» возьмут верх в хозяйственном и научно-техническом состязании. В этом случае Запад, во-первых, начнет испытывать экономические трудности, за которыми может воспоследовать понижение уровня жизни, а во-вторых и в главных, будет глубоко уязвлен и потрясен психологически, что возымеет труднопредставимые сейчас последствия.

И еще одно, кажущееся почти фантастическим умозаключение.

Никто из «пророков» начала XX века не предвидел возрождения ислама. Тот факт, что это сейчас происходит, может существенно повлиять на картину мировых противостояний. Вполне может статься, что в будущем врагом номер один для мусульман окажется Китай. Я, конечно, не имею в виду такой скромный по значению вопрос, как мусульманский сепаратизм в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (кстати, мусульмане живут в Китае не только в Синьцзяне; а в провинции Юньнань в XIX веке на протяжении нескольких десятилетий даже существовало полунезависи-

[1] *Клодель П.* Познание Востока. М., 2010. С. 219.

мое мусульманское государство). Речь о глобальном противоборстве исламского проекта с китайским.

Запад отталкивает мусульман, главным образом, своей секулярной культурой, за которой они провидят, не без некоторых на то оснований, приближение Хаоса; ну и кое-какие старые счеты тут играют роль. Но на Западе существует хотя бы остаточное влияние христианства, религии, родственной исламу. А конфуцианский Китай являет собою секуляризм в чистом виде; его принципом является «жизнь-в-себе», фактически игнорирующая существование внешней по отношению к ней духовной силы. Этот самоопорный мир мусульманские богословы считают порождением Иблиса (дьявола) и относятся к нему соответственно.

В той мере, в какой духовные брани будут определять расстановку сил на планете (но также в той мере, в какой будут повышаться материальные фонды Китая), конфликт между исламом и конфуцианством может выйти на первый план. В такой позиции ислам сможет даже «предстательствовать» за весь «иудео-христиано-исламский мир».[1] В этом случае не только Россия, но и остальная Европа будет отодвигаться на периферию мировой событийной истории, а в более отдаленном (но не слишком далеком) будущем туда могут попасть и Соединенные Штаты, которым некоторые авторитетные прогнозисты прочат постепенный упадок и даже распад.

Что станет с европейцами? Им (нам) придется заново оправдывать свою этимологию: по-гречески Еугоре изначально значило «широкоглазая», все охватывающая взором; в другом толковании — «широкогласная», звучащая на большие расстояния.

Вероятно, это будет по-своему интересное время.

[1] Этот термин, с недавних пор употребляемый некоторыми западными авторами, звучит столь же непривычно, как непривычно звучал, еще столетие назад, термин «иудео-христианская цивилизация». К новому термину стоит привыкать — между тремя великими религиями существует большая близость и существует огромная историческая зависимость ислама от иудаизма и христианства.

СТРАНА РОССИЯ

Анатолий Цирульников

Тамань до большого взрыва

Почему так происходит? Как какой-нибудь редкий, реликтовый райский угол, так мы его непременно уничтожим. Арал, Байкал, последняя стройка коммунизма на Южном Урале в заповеднике Шульган-Таш... Теперь вот Тамань. Места, что ли, не хватает? Или уничтожение райских кущей — модельная ситуация, эксперимент, проверка на прочность?

Сизоворонка

Это было несколько лет назад...

— Неловко сказать, — доверительно сообщили мне про главу местной администрации, — не берет взяток.

Я засмеялся. Первое лицо Тамани, Геннадий Григорьевич Майков, был вообще человеком уникальным в своем роде. На рабочем столе — литературный журнал. И сам вроде писателя. С седоватой бородкой, в легкой белой куртке наподобие парусиновой блузы, какую носили интеллигенты в позапрошлом веке.

Работал в Харькове в институте радиофизики, вдруг заболела жившая в Тамани мама, переехали, а работать негде, два года был без дела. А тут освобождается место главы администрации. Двенадцать претендентов, а выбирают его. Как в сказке. Нетипичный глава, нетипичная история, будто выброшенная на берег морем. «Промысел божий, — считает Майков. — Или наказание, — смеется, — за прошлую жизнь».

Засучиваем штаны, шлепаем босиком по проливу, в котором пролетело его детство и по которому теперь проходит граница, разделяющая два государства. На той стороне — Крым, белеет Керчь. А тут — фиолетовый чертополох, и голубая с перламутровым брюшком сизоворонка — большая Синяя птица — взлетает на расстоянии протянутой руки.

Есть две Тамани. Одна — «скверный городишко», как при Лермонтове, и даже хуже, ничтожнее, уже не город — станица. «Что же вы тут делаете, в нашей дыре? — спрашивала меня продавщица с севера, в Тамани четыре года и не может привыкнуть. — Что тут есть? Одни камни. Летом все блеклое, в огороде короста, сорняк прет, программы по телевизору одни украинские, молодежи деваться некуда. Дыра и есть...».

А другая Тамань, о которой рассказывает Майков, крутя баранку старенького «Жигуленка», — южные ворота России. Ворота, через которые пришло православие. Еще раньше Андрей Первозванный, Кирилл и Мефодий, Борис и Глеб... Исторический перекресток, крест: с юга на север и с востока на запад. В десятом веке Тамань оспаривает у Киева статус духовного центра. Преподобный Никон несет отсюда «духовность заквашенную» и, как Сергий Радонежский, «заквашивает» всю Россию. Потом духовный центр перемещается, уходит из Тамани, но центр физический...

Крутой обрывистый берег. Синева. Застывшие в море корабли.

— Я, знаете, — говорит мне Майков, — не задумывался об этом раньше, и только теперь чиновное мое положение и встречи со многими людьми, которые сюда приезжают и исследуют, наводят меня на мысль, что все здесь происходящее имеет

особый смысл. Не случайно сюда казаки переместились из Киева, первая казачья столица тут. И на геральдическом знаке Тамани, в левом верхнем углу, — шапка Мономаха. А в «Слове о полку Игореве» говорится о Тмутаракани как о вечном городе. Вечном...

Столкновение интересов, замечает он, на разных культурных пластах... Недаром так много замечательных людей тут побывало. Вторая после Пушкина дуэль, окончившаяся смертью, — Лермонтов. Как роковой знак. И в первом русском романе отдельная глава, повесть, названа именем этого места. Это не случайно. Лермонтов мог ничего не знать, «тмутараканский камень» обнаружили в Тамани в 1792 году, то есть совсем свежая была история, еще не уложенная в классику, раскопки начнутся с середины девятнадцатого века, и тогда станет обнаруживаться слой за слоем — до античных городов-колоний и глубже... Две тысячи лет жизни не в хаосе, а в государственном образовании. Четырнадцать метров культурного слоя. Это потрясает. Какой же мощный слой культуры, какая потенция, рождающая на этой почве все новое и новое.

Я слушал Майкова и думал: все это, конечно, хорошо, все эти древности, раскопки, но сегодня-то что тут есть, в Тамани? Затрапезный базарчик у постамента танка на площади? Рыбколхоз? Средняя, прямо скажем, школа имени Лермонтова?

И что Лермонтов? Странная история: в 1837 году пишет «На смерть поэта», сослали на Кавказ, по дороге простыл, схватил «ревматизм», лечится на водах, все о нем пекутся, дядя-генерал, начальник штаба у командующего Вельяминова, хлопочет, чтобы попал в «экспедицию» и был прощен, сам шеф Бенкендорф дважды просит царя за юного корнета. А этот корнет неизвестно чем занят — гуляет на водах, странствует по Кубани, заезжает зачем-то в Тамань (дважды) и делает карандашный рисунок; во время ночлега оказывается обворованным — в общем, болтается в водах обыденности, как парус одинокий, и из всего этого непонятно как выходит шедевр.

Куры, гуси, провинция, захолустье, а у главы местной администрации — куча дел. И люди очень интересные — чудаки разные, собиратели, много, говорят, народу занимается стихотворчеством. Как говорится, среда брожения мысли. Раз в пятьдесят-семьдесят лет она выплескивает какую-нибудь незаурядную личность. Вот, говорит Майков, мальчик тут у нас один пишет музыку, сведущий человек смотрел — говорит, необычайно интересно. Что это? Воздух, море, ландшафт или дух, исходящий из глубин?

Мы мотались с Майковым вокруг Тамани, и он показывал мне моря — их тут два, Черное и Азовское — обрывы, лиманы, таинственно мерцающие корабли... «Жизнь среди синего? — спросил я его. — Особое состояние, когда живешь среди синего?» — «Да, — отвечал он, — голубое и зеленое, как у Казакова».

Недавно высаженный (радость и гордость Майкова!) лес, ковыльные степи, сопки, вулканы... Кто бы мог подумать, что на Тамани есть действующие вулканы! «Гомер описывал царство пекла отсюда», — замечает Майков.

«Эти жерла, уходящие под землю — почему они здесь? Совершенно непонятно, — размышляет он. — А с другой стороны, понятно: зло и добро должны быть рядышком — конфликт, лежащий в основе мироздания. Где-то здесь, среди синевы, таятся и мощные черные силы. Просто, — улыбается мой провожатый, чтобы я сильно уж не пугался, — добро побеждает. Хотя кто знает, может быть, это большая игра, и зло рядом с добром выжидает момент его минутной усталости, чтобы пересилить? Возьмите то, что у нас с терминалом происходит», — добавляет он.

Коса

«Члены общественного совета... при администрации, правление хуторского казачества, единодушно поддерживают таманцев в их борьбе против строительства терминалов».

Пока я изучаю листовки, обращения, газетные вырезки, наклеенные на стене таманской администрации, над зданием укрепляют российский флаг. «А ну,

правей», — говорит один рабочий. «А ну, левей», — поправляет другой. «Шатается». — «Да он всегда шатается».

Открытое письмо главы администрации таманского сельского округа Г.Г.Майкова тогдашнему президенту РФ можно переадресовать нынешнему без поправок: «Над нами нависла угроза превращения в отстойник анчарного дыхания. Строительство терминалов по перевалке сжиженных углеводородов и аммиака через Тамань навсегда уничтожит ее первозданное, первозванное предназначение в судьбе России...»

А знают ли за пределами Тамани про это ее предназначение?

«Гермонасса-Тмутаракань-Тамань»[1]. 2600-летие этой триады было отмечено в 2008 году по инициативе местных депутатов. Тогда этот исторический юбилей даже в Краснодаре оказался неожиданностью, а уж в Москве о нем и слыхом не слыхивали.

— А ведь можно было провести на мировом уровне, — говорит мне Майков теперь, в 2011 году. — Из Израиля, Индии, Китая, Монголии, Норвегии хотели делегации прислать — это же тот самый путь из варягов в греки, историческое для всей мировой культуры место, тут памятный знак должен стоять. Мировой резонанс мог быть, — вздыхает Майков. — А вышел кубанский праздник. И за последние годы ничего не изменилось. В свое время мы обращались во все ветви власти по поводу угрозы утраты Россией таманской косы Тузла, пять депутатов Госдумы в Тамани побывали. И что? Потеряли и косу Тузла, и Керченский пролив, и Керчь-Еникальский фарватер...

Вчерашняя история с косой — предтеча сегодняшней, с терминалом.

Вот она, хорошо видная с этого берега родная коса, верней, теперь — гряда чужеземных островов в Керченском проливе. Кому принадлежит коса, тому принадлежат и пролив, и проход в иные моря и земли. Отсюда, с этой далеко выдающейся в море косы, начиналось освоение Кубани. Сколько исторических сражений было за косу Тузла! Об этом напоминают крепостные валы, воздвигнутые Суворовым. И памятный камень адмиралу Ушакову, чьи героические фрегаты сражались за косу и ее отстояли. Есть причины и чисто экономические, пролив — это порты, нефть, газ, рыбные запасы.

В 1925 году, чтобы рыбакам из колхоза не делать крюк, в середине косы прорыли искусственную промоину. После шторма косу размыло, и незадолго до начала войны ставшая уже островом Средняя коса, как теперь ее называли, была передана внутренним Указом Президиума Верховного Совета РСФСР из Темрюкского района Краснодарского края в Крымскую АССР. Ну а уж после войны Хрущев подарил ее вместе с Крымом Украине.

Все это не имело особого значения, пока существовала одна страна. Но когда она распалась, коса Тузла оказалась камнем преткновения. Украина считала остров, который Россия называла косой, для себя потерянным. Границу собрались было проводить по фарватеру, но тогдашний губернатор края, известный борец с жидомасонами и пламенный патриот России батько Кондрат возопил: «Не ссорьте меня с Украиной!», и последней неожиданно привалило счастье. Украинские газеты запестрели аршинными заголовками: «Считавшийся потерянным для нас остров в Керченском проливе способен принести стране миллионы долларов».

Глава Тамани Майков часть жизни отдал за эту косу, здесь был организован комитет борьбы, писали во все газеты, выступали по телевидению, обращались к президенту, в правительство — все напрасно.

Теперь всякое иностранное судно, в том числе российское, платит за проход по Керченскому проливу канальный и лоцманский сборы, движение наших пограничных катеров в районе Тамани ограничено, рыбаки рискуют скоро остаться без работы. Из-за пересмотра госграницы едва ли не две трети акватории Азовского моря попа-

---

[1] Гермонасса — древний греко-синдский город на Таманском полуострове, входивший в состав Боспорского царства. Был расположен на месте современной станицы Тамань и являлся вторым по значению богатым торговым городом на восточном берегу Босфора. В X в. н.э. на его месте возник древнерусский город Тмутаракань.

дают в экономическую зону Украины, да и само море из внутреннего для России становится внешним.

Не говоря уж о том, что теперь в проливе зарыт острейший геополитический конфликт для будущих поколений, который, возможно, чреват взрывами...

Промзона

И вот стоим мы у последней черты — аммиачного терминала. Прислушайтесь, даже звучит, как шварценеггеровский «терминатор» — орудие уничтожения. Тамань — ступень, перевалочный пункт. 2,2 миллиона тонн аммиака в год собираются переваливать тут на экспорт. Принимать аммиак на склад-терминал намереваются по железной дороге из города Россошь Воронежской области — это 600 километров. Из железнодорожных цистерн его будут перегружать в терминал, а оттуда — перекачивать на причал, в огромные морские танкеры, для чего понадобится протянуть в глубь открытого моря трехкилометровую эстакаду.

Строительство чудовищного терминала — я видел это собственными глазами и тогда, и недавно — идет полным ходом неподалеку... от действующего вулкана. Его глухой рык, рев, огненный выброс наблюдали на Тамани не раз. Казалось бы, какое еще надо предупреждение? Но его мало кто слышит, все заглушает грохот стройки.

По древним городищам идут тяжелые самосвалы, грейдеры, все разворочено. Гора, на которую ходили с молебном, крестились еще до официального принятия христианства на Руси, грубо срезана, как голова вместе с шапкой Мономаха. На ее месте вырастает другая гора — вывороченной земли, шлака, отходов. Яма под хранилище аммиака пахнет большими деньгами и большой бедой.

Перспектива — большая свалка, промзона, место, куда людей вообще нельзя допускать, надо будет выделять зону отчуждения. С Таманью будет покончено. Но вполне может статься — не с ней одной, если учесть здешние быстрые течения и шквальные ветры. Представим себе на миг: сотни тысяч тонн аммиака в условиях геологии, кишащей вулканами и оползнями, непрекращающегося кавказского непокоя, разгула терроризма.

Это же самоубийство!

Начиная кампанию против строительства терминала, полагаю, Майков понимал, что этот бой может стать для него последним, — темные силы скрыты за этим терминалом.

— Что это, — спросил я Майкова, — государственный проект? Ведомственный?

— Нет, — ответил он, — это частная корпорация. Некая «Тольяттиазот». И решение принято всего-то на уровне края. Без всякой независимой экспертизы, нет даже технико-экономического обоснования.

А какое может быть у этих сил обоснование? На то они и темные... Зато у них есть тяжелая техника, бульдозеры, железнодорожные войска.

«Разрушен культурный слой античного поселения в районе горы Зеленской на площади 2000 кв. м., гусеницами и колесами давили античную керамику, коверкали городище... — писал «Вестник Тамани» еще в начале двухтысячных годов. — При прокладке железной дороги разрушены 11 курганов и античные поселения. Комитетом по охране историко-культурных ценностей Краснодарского края предъявлен судебный иск по нанесенному ущербу на сумму свыше 3 млрд рублей».

Плевать они хотели на миллиарды, сколько это в «зеленых»? Тем более — на открытые письма, подписанные нобелевским лауреатом, всемирно известной балериной, знаменитым русским писателем...

Пишите письма.

Это в Америке катастрофы. А у нас все стало стабильно, спокойно, уезжаешь на дачу в июле и знаешь наверняка, что ничего не случится в августе. Уже все случилось. Мы живем в ситуации случившегося со страной. На кого жаловаться? Кому?

Из открытого письма Г.Г.Майкова президенту: «Россия — самая холодная страна в мире, она потеряла Крым, Одесскую область, Прибалтийское взморье, Николаевскую и Херсонскую области, Черноморское побережье Грузии. Осталась маленькая

полоска черноморской земли, которая может принять на отдых и оздоровление небогатых российских граждан».

Вот в чем суть дела, поясняет мне Майков. Существовала большая территория со своими заповедными местами. Был Крым, где отдыхали государь император, советские вожди. И простой люд пускали. Грузия... И вдруг — раз и исчезло все в одночасье для огромной холодной страны.

А маленький клочок — Тамань — Господь нам сберег. И возникла альтернатива — чем быть Тамани: промзоной или курортом? С государственной точки зрения, считает Майков, понятно, что это единственное для России место, где могут отдыхать простые люди со всего огромного холодного российского пространства. И в то же время хочется портов, промзоны.

Но если сюда придет промзона, вся эта жизнь среди синего, вся эта библейская красота накроются. Здесь должен быть общенациональный и мировой курорт, центр отдыха для здоровых и инвалидов. В этом суть проекта под названием «Тамань — Новый Крым». Если чуть поддержать его на государственном уровне, считают вместе с Майковым многие видные деятели бизнеса и культуры, чудесный город-курорт может возникнуть на этом месте за каких-то несколько лет.

Открытое письмо Майкова президенту России заканчивалось словами: «Храни вас Бог!». А бульдозеры между тем давили городище.

Вулкан подо мною

Под занавес этой, можно сказать, античной трагедии живописую еще одну сцену. Про местный Везувий. Вулканы на Тамани, как говорят здесь, «плюются» систематически. Глуховатый раскат, клубы пара, потом столб грязи — мощный выброс, бывает до ста метров и выше, а в конце — обожженная глина, красная, кипящая. Залез, рассказывал один знакомый, в жерло, встал, а оно дышит, вибрирует, сейчас, думаю, без парашюта катапультируюсь.

Под вулканом — глубина несколько километров.

Едем с Майковым в сопровождении телевизионной съемочной группы на Карапетову сопку к действующему вулкану. Панорама — крутой коктейль из фантастики и обыденности. Вулканов много, разного размера, есть — будто из песочницы (вспоминается Маленький принц, каждое утро чистивший свой вулкан), а есть — величиной с гору. Взрываются так, что на пять километров от Тамани разлетаются камни.

Спускаемся к самому большому, не действующему. Но что это? Что-то шипит из-под потрескавшейся земли. Вдруг выплеснуло.

— Может, мы присутствуем при зарождении нового вулкана, — говорит Майков.

— Или вулканчика. Пошипел, пошипел и перестал, — вздыхает наш провожатый.

Земля, как старая-старая мостовая, вся в трещинах. Вот еще один забулькал, родился вулканчик. А тот — прекратил свою деятельность. Умер.

Повстречались с одним жителем из поселка Прогресс, приехал на велосипеде — посмотреть. Исколесил, говорит, все горы. Поговорили о вулканах. Вот тот, над сопкой, когда-то после войны выбрасывал шары огня, а потом затух, зарево стояло три дня. А до революции там вон была лечебница, вулканические грязи — самые целебные.

Сейчас лиманное грязевое озеро бездействует, но сюда, на гору, ведет по траве свежая колея — видно, кто-то смышленый ездит, черпает грязь из вулкана.

Отношение к строительству терминала вблизи вулканов характерное. Конечно, говорит прохожий, надо где-то строить. Но у нас ведь как: какой-нибудь Ванька, Гришка забудет закрыть задвижку — и бабахнет. А так что ж, цивилизация, рабочие места...

Ветер на сопке клонит ковыль-траву. Бежит ковыль, волна за волной, волнуется. Безмолвная величественная музыка звучит на Карапетовой сопке, на вулканах, окруженных со всех сторон морем.

Тамань — дыра? Если и дыра, то с двойным дном-смыслом.

А может быть, думаю я, собрать тут, на вулканах, всю общественность, деятелей науки и культуры, международные организации, Гринпис, Фонд дикой природы, приковать себя к вулкану, выразить таким образом протест против уничтожения Тамани? Впрочем, вулкан может начать действовать, и общественность провалится сквозь землю.

Когда-то, в романтические времена, мерещилось, что и у нас — чем мы хуже? — могут прийти другие, новые люди, вот хоть мы сами, и власть с нашим собственным лицом сможет сделать что-то положительное.

Шанс был, но — не вышло. Остались единицы вроде Майкова. Максимум, что можно пожелать остальным: «Не ройте! Не срезайте горы! Не будоражьте вулканы!»

Турецкий фонтан

Старая тема: школа, параллельная жизни. Фонтан жизни бьет, а ученье засохло. Жалуемся, что учить в школе некому, а только выйдешь за стены...

Толстой писал, правда, не о России — о Франции: «Если бы кто-нибудь каким-нибудь чудом видел все эти заведения *(«учебные» — вставлено в скобках небезызвестным педагогом, С.Т.Шацким*), не видев народа на улицах, в мастерских, в кафе, в домашней жизни, то какое бы мнение он себе составил о народе, воспитанном таким образом? Он, верно, подумал бы, что этот народ невоспитанный, грубый, лицемерный, исполненный предрассудков и почти дикий. Но стоит войти в сношение, поговорить с кем-нибудь из простолюдинов, чтобы убедиться, что, напротив, французский народ... понятливый, умный, общительный, вольнодумный и действительно цивилизованный... Где же он приобрел все это?

Я невольно, — говорит Лев Толстой, — нашел этот ответ...»

Фонтанировал, струился из-под земли источник, вдруг иссяк. Александр Петрович стал искать причину. Ходил с рамкой по котловану и чувствовал, что внизу много воды. Очень много. Пришел к главе администрации Тамани и говорит: что-то тут не так. Колодец пуст, а вода есть. Стали копать трактором, потом вручную, втроем — глава, замглавы — бывший директор школы и Александр Петрович. И докопались... до древнего водопровода протяженностью четверть километра. Трубы из керамики и терракоты, шахтные — вертикальные и горизонтальные — водозаборы, шестиметровые колодцы. Если взять справочник и сравнить, всю водно-инженерную мысль можно найти в этом древнем сооружении, объясняет мне Александр Петрович, или «лозоходец А.П.Меташоп», как подписывается он в отчетах.

Выше среднего роста, гибкий как лоза, очень спокойный. Таким человек бывает, когда занимается своим делом, оно запечатлевается в облике достоинством.

Знание — сила, а умение — достоинство.

Мы сидим с Александром Петровичем, таманским жителем, в скверике на набережной Лермонтова, и он чертит на земле прутиком, объясняя устройство открытого им водопровода. Таманский полуостров, говорит он, это маленькие Курилы между Европой и Азией.

— Какой Азией? — не понимаю я.

— А мы в Азии находимся, — не удивляется моему незнанию Меташоп. — Географически мы в Азии. Платформы как таковой нет, а есть складки в коре. Они, как меха гармони, сжимаются-разжимаются. Мы живем на этих складках. Тут синие понтийские глины на глубине от трех до пяти тысяч метров имеют водоем, как чашу. А поскольку мы связаны с вулканами, то тектонические процессы идут, выдавливают из донышка газ, и он выносит на поверхность воду.

Таким образом, по Меташопу, образуется источник, колодец этот, турецкий фонтан. С древних времен его по-всякому огораживали, обустраивали, а лет четыреста назад, чтобы больше получить пресной воды, додумались до подземного водопровода, который и был откопан Меташопом.

Признаться, я в этом мало что понимаю. Меташоп интересует меня с другой

стороны. Таких, как он, по-моему, самих надо «раскапывать». Без них Тамань — дыра. Растрескавшаяся от жары земля, сущий ад. И неутолимая жажда воды.

В гостинице, где ночую, слабая струйка течет из крана, да и то несколько часов в сутки. Водовоз перед Таманью летом часами сторожат, чуть не на коленях упрашивают, чтобы заехал в огород. Кругом полуострова вода, а воды нет. Народу куча, а людей нет — обычная наша ситуация. Вопрос в том, что искать раньше — воду или человека?

— Педагогика, — заметил другой искатель воды, Евгений Бондарь, в прошлом директор школы, — не то, что мы говорим. И даже не то, чему учим. А как мы живем. Нашу жизнь повторяют дети. По их облику, повадкам можно узнать учителей и родителей. Та вон поплевывает семечками сквозь дырку в зубах. А этот ищет затонувшее Боспорское царство. Греция, Рим, Византия, Тмутаракань — чего только тут нет. Под землей — высохшее русло реки, ему десять миллионов лет, геоморфолог-академик сказал о нем: «водоносная память».

Была вода — жили люди. И, как считает еще один водоискатель, Геннадий Майков, жили в основном счастливо. Культурные слои, один под другим, говорят о том, что человеку хотелось здесь жить. То, что человек к нынешней ситуации никак приспособиться не может, наталкивает Александра Петровича Меташопа на мысль, что люди чего-то не знают. Ученые, геологи здешними местами особенно не интересуются, для них они, может быть, не важны, а для людей, которые тут живут, — очень важны, но они не знают, что под ними, а незнание рождает вымыслы, и Александр Петрович пытается объяснить людям, что здесь есть на самом деле.

Он давно занимается биолокацией, еще с Дальнего Востока. Там строили поселки, и геодезисты часто ошибались: поставят здание, а лед его поднимает, называется «вскипают ключи». Чтобы не напороться на ключ, надо знать, есть вода или нет. Попробовали выяснять с помощью рамки, и у Александра Петровича стало получаться. Биолокация, говорит он, это вещь тонкая. Два металлических прутика и ты — единое целое. Ты чувствуешь не только, где находится вода, но и сколько ее, когда заканчивается и почему.

Вот как вышло с этим подземным водопроводом: Александр Петрович стал искать причину, почему иссякает источник, и оказалось, что причину мы сотворили сами. Прокладывали над древними трубами дорогу, и две трубы раздавили.

Ну, тут по незнанию, хотя это не оправдывает. А вот с одним из искателей ездили мы в урочище Писки. Там среди курганов Меташоп с коллегами раскопал старые засыпанные колодцы — казаков Карельских и Филатовых. Собрали народ, освятили, праздник устроили, а не прошло и года — в колодцах помойка.

В нас причина.

Александр Петрович выяснил, что во времена Суворова здесь было двенадцать источников. И этот фонтан турецкий перехватывает лишь часть подземной воды, остальная уходит в море. Тогда его заинтересовало: если водоносный слой расположен под наклоном к морю, не размывает ли он берега? Стал исследовать и пришел к выводу, что именно эта вода унесла Тмутараканское городище, центральная часть которого находится теперь под водой.

Вода смыла царство, легендарную Тмутаракань. И этот процесс продолжается.

— На перекрестке улиц Карла Маркса и Соседского, — сообщает Меташоп, — в огороде у одного мужика источник не пробился на поверхность, а прошел под землей, вымыл берег и за два года унес участок земли, вот такой, как от нас с вами до памятника Лермонтова, — показывает он мне. — И никто не может дать гарантии, что мы вот сидим тут у Михаила Юрьевича, а в один день вместе с ним не окажемся под водой. Вопрос все тот же, — повторяет вслед за Майковым Меташоп: — чего мы хотим: чудесного курорта или конца света?

Суть поразительного открытия, которое Александр Петрович сделал еще в прошлом веке, но никто им до сих пор не воспользовался: водоносные горы, окружающие Тамань, сливают в Таманскую котловину слишком много воды. И она, не находя выхода наверх, пробивается к морю, подмывает таманские берега. Надо дать воде выход, надо поднять ее к людям! Нужны фонтаны, гостиницы, пляжи — нужны люди.

Тамань нужно срочно очеловечивать, сама природа голосует за это. А как она

«проголосует», когда в активной сейсмической зоне появится склад сжиженного аммиака, лучше не представлять.

Относительно «безопасности» терминала (после ввоза в страну ядерных отходов — последнего слова «отечественной науки») Меташоп говорит так: пытались тут дважды через Керченский пролив строить мост. Первый раз во время войны Рузвельт с Черчиллем на Ялтинской конференции по нему проехали. Через три месяца мост рухнул. Второй раз после войны строили по чужому проекту, используя трофейные конструкции (немцы тоже хотели построить мост, но не успели, а наши — быстро-быстро, с двух сторон, из Тамани и Керчи, поставили). Результат тот же.

Рыбзавод ушел под воду, поплыл пионерлагерь... Это только то, что сам видел, говорит Меташоп. Конечно, понимаю, Тамань — выход России в море. Но проектировщики не учитывают, что мы не на материке. Тут надо просчитывать, как в космосе. Любая инженерная оплошность может стоить огромного числа жизней.

Как-то отдыхали в Тамани гидроморфологи, известный профессор из Академии наук заинтересовался раскопками Меташопа и говорит: на кой мы тянем сюда плохую воду, когда тут хорошая? Пригласил главного гидролога России, краевого гидролога, они проехались и подтвердили, что да, воды много, хотя на картах она не обозначена. «А как подтвердили?» — спрашиваю. «А взяли, — говорит, — с собой рамку, у них в подразделениях тоже есть биолокация, хотя мало используется в жизни».

Стали здешние лозоискатели допытывать тамошних: объясните нам природу этой воды. Те только руками разводят. Тогда Александр Петрович сам стал думать. Изучал книги по геологии, грязе-вулканизму, анализировал, сопоставляя со своими ощущениями. «Я понимаю, почему у нас так, — говорит он. — Потому что «мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь». Вы придите в школу, в любой населенный пункт, там про то, что я вам рассказываю, никто слыхом не слыхивал. Отсюда все наши шишки».

Я нарочно зашел в ближнюю школу. Там про Меташопа и его изыскания действительно не слышали. Обычное дело: школа параллельна жизни, но не соприкасается. Как быть?

Вернемся к Толстому, искавшему ответ на вопрос: как это может быть, что, если судить по школе, — народ дикий, а поговоришь с кем-нибудь на улице, видишь — цивилизованный.

«Я невольно, — продолжает Толстой, — нашел этот ответ в Марсели, начав после школы бродить по улицам... музеумам, мастерским, пристаням и книжным лавкам. По самому беглому подсчету, на 250 000 жителей пятая часть изустно поучается ежедневно в этих народных школах. Даже в маленьких кафе даются маленькие комедийки, сцены, декламируются стихи. То самое, что я видел в Марсели, — и во всех других странах... там, где жизнь поучительна... народ образован, а там, где жизнь не поучительна...».

Отчет Александра Петровича по турецкому фонтану, с выкладками и чертежами — готовая, уж поверьте мне, доктору наук, диссертация. Но Меташоп ее никогда не защитит, потому что формально у него нет высшего образования. Да никакого нет, если формально.

Кто же он?

Когда-то был агрономом, потом слесарем в газпромовском пансионате «Факел».

А вода, колодцы, фонтаны?!

Начальник газового управления, где Меташоп работал слесарем, прослышав о его необыкновенных способностях, спросил, откуда тут берется вода. Меташоп сказал ему, что вода — результат вулканизации, а начальник: чепуха, навыдумали себе! И слесарь, чтобы объяснить людям истинное положение дел, написал просвещенческую статью, что-то вроде путеводителя по здешним местам — «Карабетова сопка».

Сижу, говорит, зимними вечерами и записываю.

Конечно, ему, как всякому нормальному человеку, хочется, чтобы его знание

было людьми использовано. Космос, говорит Меташоп, исследуем, а что у нас под ногами — не знаем.

Оверкиль

«Это надо быть на борту, наблюдать, что там с ним происходит, — сказал Быковский и задумался, не зная, как объяснить мне, что происходит в открытом море с юным человеком, юнгой, когда он на «Луче» остается один. — Что он чувствует, пытаясь справиться со шквалом? Как один выполняет переворот? Никто, кроме него, не знает. Но он же справляется, преодолевает себя, страх, стихию. Это же есть!»

В лермонтовские времена в море можно было увидеть одинокий парус. А тридцать с лишним лет назад, когда Владимир Петрович приехал в Тамань, уже не было ни одного. Первые гребные ялы, шести-, десятивесельные, подарил командующий черноморским флотом. Тогда был общий флот, и в Темрюке при районо — клуб юных моряков. Быковскому выделили ставку руководителя кружка, и он начал работу с простенького яла, на который сажают с четырнадцати лет, чтобы у капитана был какой-то вес, в буквальном смысле слова: лодкой управлять — вес нужен. Изучали основы управления парусным судном и делали первые погружения с аквалангом у берега. Так постепенно вырос детско-юношеский клуб «Тамань» с кружками, секциями радиолюбителей и судостроения, с кинофотостудией, запечатлявшей историю клуба и общую — если не со времен викингов, то двухсотлетнюю, со времен высадки казаков на Кубань, — оживавшую в парусных экспедициях по местам славы и трагедий русского флота. Во время одной из них на яхте «Парсек» ребята Быковского прошли через Босфор и Дарданеллы в Эгейское море, в Италию, до Туниса и обратно. Даже умудрились подорвать киль на рифе и сами его отремонтировали.

Всякое дело, если оно настоящее, обрастает со всех сторон жизнью. Школу жизни, вот что строил Быковский.

До этого, в обычной школе, он преподавал физику. А с географией возникла проблема.

— Вам уже говорили про косу Тузла? — спрашивает Быковский. Последние походы его ребят были туда, с ночевкой на «рикошетах» — судах пяти с половиной метров длиной. — Вот коса, — показывает мне Владимир Петрович на карте, хотя ее и так видно, — а вот Тамань. От берега до косы мелями пешком дойти можно. Обычно в мировой практике граница проходит по фарватеру, вот здесь она должна быть. Но косу вместе с проливом отдали, теперь с наших судов берут за проход и за лоцию, — повторяет он уже известное мне, но больное для каждого таманца. — По живому разрезали.

В Керчи, хорошо видной из Тамани в ясную погоду, раньше оканчивали школу, институт, оттуда брали невест. Теплоходик ходил шесть раз в сутки, билет стоил рубль двадцать. А сейчас родители здесь, дети там. Или, наоборот, с той стороны пролива присылают к бабушкам детей в Тамань, они ходят тут в школу. С русским языком происходит там что-то несусветное, считает Быковский, с украинским раньше такого не было. Кто как хотел, так и разговаривал.

— Ну, уж, — сомневаюсь я, — прямо уж как хотел.

— Ну да, — говорит он, — моя тетка до войны училась в Тамани на украинском, «Кобзаря» в подлиннике читала. И я читал в детстве книги на украинском, которые дядя привозил. Да вы послушайте наши казачьи песни, половина же на украинском. Поэтому зря, я вам скажу, эта история нагнетается. Паны дерутся, а у мужиков чубы трещат.

Хочешь построить школу жизни, думаю я, сам выучись, как Быковский.

Служил на Северном флоте. По образованию радиофизик, закончил в Саратове университет. Женился, вернулся домой и здесь проходил дальше школу жизни — был в Тамани одним из первых лиц, еще до перестройки его «ушли», и он стал в школе учительствовать.

— Сами знаете, — говорит он, — что сегодня в школе делается. Подражают тамошним схемам...

Он лично против.

— Капица, — говорит, — кончал *наш* университет. Мало ли ребят, у кого светлая голова, умные руки, но необходимы образование, широкий кругозор. Специальность — это понятно, но нужно и писать, и говорить правильно по-русски. Я не ханжа, флот прошел. Но когда берешь иную книгу... Я при женщинах не матерюсь, воспитание такое, дед у меня сам не матерился и другим не позволял. Помню его аргумент: ты ведь этим же ртом говоришь — «хлеб», «бог»...

Ну так вот, не сразу получается у мальчишек на море, — продолжает Быковский. — Замерзают иной раз, синеют, а гоняют, пока не начнут им с берега флагом размахивать. Активное времяпрепровождение. Что воспитывается? Прежде всего уверенность в себе. Понимаете, когда лодка под мотором, она идет, куда вы правите. А под парусом — ветер дует в одну сторону, а тебе надо в противоположную. Как туда попасть? В лодке с веслами — грести, упираться. А на парусе стихии можно противопоставить умение. Человек на парусе — это преодоление элементарного страха, боязни перевернуться. Есть два поворота: носом к ветру или кормой. А есть «оверкиль» — это значит: перевернулся. Так вот, ребята не должны этого бояться. Обязаны встать на «шверт» — такая доска в корпусе, которая в воду выдвигается, — открепить, поставить на ровный киль, опять поймать ветер и продолжать движение.

Так же и в жизни, говорит Быковский про своих воспитанников, а я думаю... ну, не про всю страну, а хотя бы про тех молодых, несогласных. Их и в омоновские автобусы затаскивают, и запугивают, чтобы не выходили на площадь, а они все равно выходят, подавляя элементарный страх. Не боятся перевернуться и встать на место. Как мальчишки и девчонки Быковского — кстати, в клубе много девчонок.

Раз трое на «рикошете» пошли с его сыном посмотреть, что под водой делается, — в смысле археологических изысканий. Налетел сильный ветер, их опрокинуло. Быковский увидел в бинокль, побежал к моторке, но не понадобилось. И он испытал гордость за сына и ребят: они поставили судно на киль, взяли на рифы, поменяли направление движения и галсами, галсами прошли против ветра.

Сейчас парус в Тамани уже далеко не одинокий. И работают в клубе не только с местными, приезжают ребята из Москвы, Курска, Екатеринбурга. Из Германии были. Клуб проводит экологические экспедиции. Собираются создать, как во Франции, крейсерскую школу. Занимаются с детьми бесплатно — новые русские в Тамани большая редкость. Им бы спонсора какого-нибудь, который взял бы над ними шефство. Ведь бросить дело легко, а восстановить будет невозможно.

Профессия — дельфинер

Вообще-то официально такой профессии нет, специально не готовят. Но если решил посвятить этому жизнь, будешь, как выражаются в их компании, «ходить кругами» — проситься, чтобы взяли. Чему-то научат. Но главное зависит от тебя самого: станешь или не станешь дельфинером — так на профессиональном сленге именуется человек, работающий с дельфинами. В каком смысле — работающий? А во всех. Это за бугром одни ловят, другие дрессируют, третьи показывают шоу, четвертые изучают, а пятые лечат — дельфинов или с их помощью людей. А у нас все делают одни и те же.

Народ колоритный. Романтики. Флибустьеры-авантюристы. Белые брюки, бритый череп. Обветренные, загорелые физиономии, что неудивительно, если одиннадцать месяцев в году дует морской бриз.

У одного — усы, как у Чарли Чаплина, тонкая сигара «Блэк кэптэн». На арабском востоке, где приходится работать с дельфинами, сигареты как веник, пришлось перейти на сигару, объясняет свое пристрастие Евгений Абрамов, Джон, с которым, оказывается, мы давно знакомы. Со времен «Маяка» — гениального пионерского лагеря Олега Семеновича Газмана, где я года два числился воспитателем, а Джон — воспитанником в отряде на самоуправлении, под названием «Обыкновенное чудо».

К этому «чуду» мы еще вернемся, а пока отправимся с братьями Абрамовыми, Джоном и Андреем, на отлов дельфинов в Тамань — здесь начинается работа.

Лагерь на берегу Керченского пролива. Пара вагончиков, палатка, грузовик. К стойке крепится бинокль, время от времени кто-нибудь посматривает вдаль. Если на горизонте ничего не наблюдается, тогда — медленно текущая жизнь, пекло или непогода, хриплые песни под гитару, «мужская еда»: большая ракушка, жареный рапан, под «фанагорийскую лозу». Вина тут много, самого разного, и рыбы много. Дальневосточная кефаль под названием «пеленгас» размножилась страшно и жрет все подряд, даже прокисшее вино — однажды, рассказывали рыбаки, винзавод слил его в море, так вода была красной от вина и черной от рыбы.

Но если наблюдатель кричит: «Появилась группа! Гоняют рыбу!» — вот тут все закручивается со страшной скоростью.

Заводят мотор, в лодке трое. Андрей на носу, для противовеса, Джон выпрыгивает с якорем и «сыплет сеть» — разматывает вокруг дельфинов. А Сергей Гейко, бывший замполит, загоняет зверя, он охотник, единственный, кто умеет подкрасться, окружить.

Если удача, сеть вокруг стаи заметана, — считай, половина дела сделана: дельфины, хотя это не составило бы им никакого труда, сети не перепрыгивают, преграда действует на них странным образом. Тогда тройка ловцов возвращается на берег, забирает остальных, и вшестером, на двух лодках, едут брать зверя — афалину, или «бутылконоса», как называли этого дельфина в семнадцатом веке моряки. Внутри большого круга заметывают меньший и берут дельфинов по одному, втаскивая на брезенте в лодку животное весом килограммов двести пятьдесят. Снаряжение особое — сеть сделана так, что, если дельфин в нее попал, она не мешает ему всплыть на поверхность для вздоха, а замет таков, что можно контролировать каждое животное. При сильном ветре не ловят: возрастает риск гибели дельфина. В общем, все закручивается, но часто заканчивается ничем — стая уходит. Тогда ловцы, возвращаясь на берег, кричат коллегам: «Дельфины просили передать привет».

И опять вагончик, ожидание, можно поболтать о жизни и разузнать подробности профессии дельфинера.

Джон из «Обыкновенного чуда»

К дельфинам он пришел благодаря отцу. В свободное время тот увлекался подводным плаванием, объездил все моря, вначале северные, а когда дети чуть подросли, переориентировался ради них на юг. Добывал рапана в рыбколхозе, исследовал для института океанологии рост морской капусты, а с 70-х работал в крымской экспедиции по изучению диких дельфинов. Дети все лето вертелись рядом…

Евгению Абрамову повезло дважды: в детстве у него были и дельфины, и «Маяк» — уникальное явление советской педагогики. Расскажу в двух словах, что это такое, для понимания логики профессиональной судьбы моего собеседника.

В «Маяке» никакой логики не было, была игра.

Дом начальника лагеря назывался «Замок покаяния», лужайка перед столовой — «Вкусная площадь», в домике Айболита какое-нибудь будущее светило медицины рисовало зеленкой ребенку на содранной коленке зайчика. Были потрясающие игры, которые придумывались взрослыми и детьми вместе. «Охота на мамонтов», «Эпоха Екатерины Второй», «Бородино»… Поэтому понятно, что из «Маяка» без всякой натуги выходили педагоги, психологи, детские врачи и тележурналисты — тоже детские. «Дельфины из той же оперы?» — спрашиваю я Джона, имея в виду педагогику и лицедейство.

— Не знаю, как ответить, — говорит он. — Конечно, когда выступаешь на тысячной публике, да еще за границей, да еще пять раз в день, приходится играть. Но демонстрировать — не самое интересное. Самое интересное — придумывать.

Человек, который готовит номер с дельфином, во всем мире называется тренером, а не дрессировщиком. Евгений Абрамов, в прошлом детский тренер, с этим согласен.

Какие для этого необходимы качества? Образование, желательно, с биологи-

ческим уклоном. Физическая подготовка, умение плавать, не случайно ведущие тренеры дельфинов — спортсмены. Само собой, желание, мотивация... Много людей приходит, но очень много отсеивается. Трудно объяснить, почему из одного тренер выходит, а из другого нет.

И еще одно, это в работе с любым животным необходимо — терпение. Нужно не меньше года, чтобы подготовить программу.

— У дрессировщиков есть какая-то дифференциация способностей? — спрашиваю я. — Почему одни дрессируют собак, другие тигров, а третьи дельфинов?

— Средний тренер, — отвечает Абрамов, — может работать с любым животным. Но у нас не как в цирке. Как научить петуха под дудочку плясать? Можно привязать к сковородке, поставить на огонь — и начнет «плясать». А можно коснуться ноги и дать зернышко. Сегодня коснуться, завтра, потом само пойдет. А можно еще так: месяц просто сидеть и смотреть. Когда поднимет ногу — дать зернышко. С дельфинами часто только так и можно. Тут не проходит метод «кнута и пряника». Наказанный дельфин отворачивается, уходит в сторону и отказывается работать.

В сущности, дельфинеры остались «мэнээсами», если понимать под этим образ жизни, духовный настрой — когда многое еще хочется и кажется, что все впереди. Иначе зачем бы все это, если тот же Джон мог бы спокойно сидеть где-нибудь на ближневосточном курорте и за полторы-две тысячи долларов проводить шоу. И зачем было бы заместителю директора питерского дельфинария Олегу Васильеву в заливе жариться? А затем, что настоящему дельфинеру нужно все пройти самому. Зверь проходит с нуля — и ты с ним. Ты взял его в этом заливе, ты пережил с ним стресс, ты выхаживал, кормил, учил... То есть вы прошли вместе все, от А до Я. Он — твой, ты сам его выбрал.

Доктор Лена и дельфин Паша

Когда только что отловленных дельфинов привезли в Утриш, стояла ночь, и не было видно ничего, кроме звезд, висевших, как яблоки, между ветвей. Домики биостанции, уникальной, единственной в стране станции адаптации дельфинов, разбросаны на горе, в реликтовой роще. Блики, тени, шум моря... Елена Розанова, Леночка, как все ее тут называют, говорит, что человеческий голос для дельфина — шепот. Но этот наш шепот может выражать угрозу, страх, боль, а может успокаивать и лечить.

Леночка Розанова — доктор от бога, дельфиний доктор.

А до этого была детским. Здесь, на биостанции, много педиатров — они умеют выхаживать. А именно это нужно животному, которое, лишившись свободы, испытывает стресс от сетей, погрузки, разгрузки, вырванности из среды обитания, от ошеломления, тоски, непривычной пищи. Все это надо преодолеть, и кто-то должен помочь. Леночка Розанова помогает, выхаживает.

Ну, как это бывает и с людьми — привезли в полусознательном состоянии, положили на койку, а утром появляется доктор и начинается обследование: температура тела, анализ крови, мочи. У дельфина та же физиология, что у человека. Болеет теми же человеческими болезнями: простуда, воспаление легких, инфаркт... Люди дают дельфину имя, но — мало ли что — на всякий случай еще метят его специальной «ложкой Фольтмана» — вырезают кусочек кожи в виде, положим, знака «V». С этого начинается утро у вновь прибывших.

Адаптация — процесс сложный и болезненный. Дельфин — это вечное движение (даже в бассейне он проходит сто восемьдесят километров в день), а здесь, в неволе, он в движении стеснен. Нужно примириться, научиться брать мертвую рыбу. Уже обученные дельфины покажут, что в этом нет ничего страшного. В неволе дельфины живут около тридцати лет, даже дольше, чем на воле. Рассказывают разные истории про «адаптированных». С базы военно-морского флота в Севастополе ушел дельфин. И сам вернулся. Других выпустили на свободу не в том месте, где поймали, и они не ушли.

Зоопсихологов на биостанции нет, но необходимость изучать и учитывать пси-

хику животных, различающихся по характеру, способностям, сообразительности, есть.

— У меня, — рассказывает Елена Розанова, — был дельфин Паша, громадный такой зверь, у него болел живот. И он уже на второй раз, завидев зонд, стал открывать рот. Сам подходил, выкладывал хвост, чтобы взяли кровь. Я не знаю аналога, чтобы зверь понимал разумом, что ему это поможет.

Я не удержался от вопроса: дельфин — это животное или нечто большее? Спрашивал многих, но только доктор Розанова ответила, что на ее взгляд — нечто большее.

Тот, кто не калечит, а выхаживает, наверное, и должен так думать.

Доктор Розанова говорит, что всегда хотела работать с животными, но в ветеринарный институт принимали ребят из сельской местности, а она была москвичкой. Пошла на педиатрию. После закончила ветеринарный колледж, лечила собак, кошек, потом встретилась с дельфином. «И поняли, что это ваше?» — «Да, это мое. Ни одна собака сама вам рот не откроет, чтобы зонд взять».

К доктору Розановой дельфины поступают с разными проблемами. Последнее время на теле дельфинов все чаще находят рубцы, раны неестественного происхождения — в море много мусора. Немало животных с аллергией — из-за выбросов сернистой нефти в море: неподалеку тянут нефтепровод.

Невольно думаешь о своем месте обитания. Лена говорит, что в Москве уже жить не может, побудет недельки три — и скорее назад. Однажды в метро потеряла сознание. Джон тоже плохо себя в городе чувствует, а его слабым не назовешь. У многих столица вызывает кожные заболевания. Да, мы все — как дезадаптированные дельфины.

Двоих из последнего отлова решили перевезти в морские вольеры. Подошел грузовик, дельфинов на брезентовых носилках перевалили через кузов и поехали. Приехали на место. Отгороженный от моря плитами водоем, немного заросший, с останками трибун — когда-то здесь показывали представления — напоминает римские развалины. Садимся на трибуны и наблюдаем, как Джон и Андрей выпускают дельфинов на «большую воду». Основная задача — поддержать животное, чтобы оно сделало первый самостоятельный вдох и увидело своих сородичей. Без поддержки после пережитого дельфин может запросто утонуть, захлебнуться. «Лена, я его не вижу», — говорит Джон из вольера. «И я не вижу». — «Да вон он, с красной меткой, — кричат с грузовика, — вынырнул!»

Считается, что «корабль спущен на воду», если дельфин-новичок присоединяется к сородичам, ныряя и выныривая вместе с ними. Мы дожидаемся этого счастливого момента. На трибунах аплодисменты. «Всем спасибо», — говорят ребята.

А я думаю: как было бы хорошо здесь пожить, не дельфину — человеку. Да он и жил здесь издавна — под ногами большой античный город. Иллюзия, быть может, но завораживает: у самого синего моря живут мужественные мужчины и нежные женщины — люди, объединенные дельфином. Здесь царит его культ, всюду встречаются изображения: подвеска в форме дельфина на шее, татуировка на плече, смешные рисунки и фотографии в столовой. Благодаря дельфину люди становятся добрее. Даже простые рабочие, шоферы на биостанции кажутся какими-то особенными. Может быть, море, горы, самшитовая роща и дельфины отбирают людей, а может, на биостанцию приходят люди определенного склада. «Я вам завидую», — на прощанье сказал я Леночке, с которой хотел встретиться промозглой поздней осенью в Москве, куда она приезжает на пару недель доложиться шефу. «Я сама себе завидую», — улыбнулась она.

Признаюсь, я влюбился в Утриш с первого взгляда. Место такое, располагающее к любви. Кажется, что этим чувством переполнены все: молоденькие аспирантки и солидные профессора, хранитель маяка — очень выразительной внешности бородач, бывший физик из Харькова, и повар с необычными глазами, в которых чувство, кажется, переливается через край. «Почему у вас так вкусно?» — «Так для своих же готовлю. Я их люблю».

Старьевщик

«Ночь придет — выспишься», — говорит он, имея в виду: пока день — двигайся, делай что-то полезное, не ленись. Не опускай руки, житель всемирно известной лермонтовской Тамани и других, пока еще населенных пунктов. Владельцы корпорации «Тольятти-азот», видно, очень хотят, чтобы «пункты» стали ненаселенными. А кто этому противостоит? Как мы видели, бывший глава местной администрации, его заместитель, лозоходец — искатель подземных вод, руководитель юношеского яхт-клуба. И еще один уникальный человек, собиратель народной жизни…

«Приходите ко мне в любое время года, здесь стоит прекрасная погода!» — написано на табличке. Во дворе беленого, вроде мазанки, домика, под сенью винограда — всякие чудные вещи: амфора, колесо от телеги, игрушечная лошадка, якоря и рыбачьи сети…

— Откуда это? — спрашиваю я хозяина, Юрия Федоровича Лиманского.

— Да так, — говорит, — море выкидывает, а я собираю.

Он — собиратель.

— Собираю все. Вот экскаватор котлован копал, а в нем старинные пузырьки — я подобрал. Мальчишки пришли: купите, говорят, у нас старые фотографии? Куплю, вот вам на мороженое, отвечает им Лиманский (а мне шепотом на ухо: «Надо только, чтобы жинка не знала»). Вот грамота, выбросили из сельсовета. Номер от старого дома…

Дом Лиманского полон никому не нужных вещей. Он их зачем-то собирает.

— Это, — показывает мне какой-то закопченный котелок, — я на Кавказе у армянки купил. «Сурку» в нем варил — курдючий овечий жир кладется, лапша, картошка. Один такой отдал в музей Лермонтова, другой себе оставил. Женщину встретил на базаре, говорю: у тебя ничего старого нет? Есть, утюг. Видите, с петушком? Вот вымпел переходящий, с Лениным — не выкинешь, это же наша история. Захожу сюда, — показывает Лиманский свой закуток, — и у меня боли в сердце проходят. Легчает. Радуюсь.

Счастливый человек мой собеседник, всему радуется. Какой-нибудь бутылке суворовских времен. Горбачевскому купону 1991 года, по нему в Тамани выдавали мыло. А потом, вспоминает Юрий Федорович, мыла не стало, решил сохранить купон.

— «Программа и Устав КПСС» вот, больше же не напечатают. Смотри, подписано нашему главврачу. А я ж не читал. Думаю, дождь пойдет — почитаю. Я такой суетной, наверное, в деда, у меня дед шустрый был. Я вот 800 стихов написал, все примитивные. Каждый день пишу. Сегодня написал про лампаду. А завтра детей веду в поход, километров восемь, на Черное море, потом берегом на Бугас, разведем костер, пожарим картошку — и назад. Это у меня кружок при казачьем музее. Мы только начинаем, — говорит дед Лиманский, которому пошел семьдесят шестой год, а человек — в самом расцвете творчества.

— А это кто, — спрашиваю, — на фотографии?

— Иван Максимович Поддубный, знаменитый борец, родился в 1871 году, а умер в 1949-м.

— Вы его знали?

— А як же ж. Раз иду за керосином — стоит. Я у него банку взял, говорю продавщице: налейте Поддубному без очереди. Она отпустила, я ему банку отдал. А отец меня еще ругал, что не отнес до двора самому Поддубному. Он уже старик был, на костылях.

— А усы у него были?

— Усы были. Но сам — худой такой, грязный. Раз захожу к родным, он там сидит. Моей тетки муж починил ему обувь, говорит: Иван Максимович, я принес вам чувяки. Тот: сколько я вам обязан? — Ничего. — Ну, я вам премно-ого благо-да-рен — так вот,

по слогам, скрипя, говорил, как старик. Хотел уйти — его за стол посадили. Он был голодный. Я бы, говорит, килограмм за раз съел, а эти сукины дети дают полкило. Хочу Ворошилову пожаловаться, неужели не могут записать меня в военную часть, чтобы я там питался?

Не запиши все это Лиманский, думаю, великий русский борец остался бы для потомков одной легендой. Я сам был уверен, что он умер до революции. А оказывается, Иван Максимович Поддубный жил в советское время в городе Ейске, в двухэтажном доме. Во время Второй мировой, когда в город пришли немцы, открыл в доме биллиардную. Мальчишка Лиманский забегал туда погреться у буржуйки. Поддубный сидел в подтяжках, с черными усами. Ему было уже за семьдесят, рассказывает Лиманский, а тут такое пятно — открыть при оккупантах биллиардную. Когда наши пришли, ее закрыли. И в этом же доме, в матросском клубе, Поддубного хоронили. У него, говорит очевидец Лиманский, даже костюма не было, пришлось покупать на похороны. Поставили простую ограду, суриком написали: «Иван Поддубный». И все, травой поросло… А потом вдруг Би-би-си передает: «В городе Ейске похоронен Иван Поддубный, которого ни один борец не положил на лопатки». Ну, тут сразу нашлись средства, рассказывает Лиманский, на могильной плите по указанию из ЦК выбили заказные стихи про русского богатыря.

— Вчера был посетитель, приехал с сыном Тамань посмотреть, — сообщил Лиманский, поправляя картуз, на котором ручкой написано: «Тамань». — Что за Тамань такая? Большинство ведь не знает. Иной человек, вон, отпуск получил — и сидит у себя на пороге. А у меня ни одного отпуска не прошло, чтобы так сидел. Сказал дочке и ее подружке: давай, девчата, посмотрим свет. И поехали на теплоходе «Грузия». Потом в Крым повез — Мариуполь, Керчь, Ялта, Севастополь… Мои сверстники поумирали, а я, — говорит, — бегаю, как пацан. Вот наблюдаю за родственниками: то ему кабана кормить, то пристраивать комнату седьмую, девятую, а она ему нужна? А я, — говорит Лиманский, — утром встал, берег обежал, в музей зашел, поехал куда-то, у меня много друзей хороших, пускают переночевать. И я тоже, разговорюсь с кем-нибудь на море и приглашаю, а жена — ни слова, потому что она добрый человек.

Зашла внучка Сашенька, четырнадцати лет. Лиманский ей говорит: давай-ка Пушкину сделаем праздник. Нарядили во дворе яблоню, как дуб. Цепь, кот ходит по цепи, русалка, избушка на курьих ножках — все сделали из картона, разукрасили.

— А народ приходит смотреть ваш музей?

— Да у меня всегда народ.

Рассматриваем семейные фотографии.

— Это я на могилке Анны Петровны Керн, километров семь от Торжка, на лыжах ходил. Это я до войны. А это мать.

— Красивая.

— Молодые все красивые. Это брат матери в 1918 году. Он был и белым, и красным. Ты чего, спрашиваю, бегал? А жить-то, говорит, охота. Как «Хождение по мукам». Эх, — смеется Юрий Федорович, — когда помру, наверное, все в печку выкинут.

Во время войны мама ему сон рассказала: будто явился ей дед Лиманский и звал зимовать на кладбище. А через десять дней маму с сестренкой убьют. Они выйдут из дома, а он чуть задержится у калитки — знакомый паренек угостит семечками. Бомба разорвется от него в тридцати шагах, а от мамы с сестрой — в семи.

Все это он записывал, зарисовывал в тетрадку что помнил. Как во время войны ел кисель с «жердем», от которого «пекла изжога». Как мерз в «опорках».

— Нам всем выдали брезентовые кули на ноги, и вот я рисую, как выглядели наши ноги.

Ему тогда было шестнадцать лет, послали работать на лесоповал. Голова кружилась, изо рта тек желудочный сок, скользкий, горький. Когда мать и сестру убили, комендант написал за него своей рукой: «Здравствуй, дорогой папочка. Сообщаю, что я жив и здоров…»

— Вот, — показывает фотографию: — отец и двоюродный брат. Не виделись всю войну, а встретились в парикмахерской в Чехословакии. Да, пройдет лет сто, скажут: вон, дед какой-то написал, интересно. Как нам интересен 1812 год, — замечает Лиманский, показывая мне находки двухсотлетней давности: кивер, курительную трубку, медный таз.

Раз, рассказывает, идет по улице, гуси купаются в тазу. Он мужику: что за таз, продай. Тот говорит: жена в огород уйдет — за десятку дам. Оказался такой вот таз, 1812 года. Лампу австрийскую у мясника купил. Кружку бабушка подарила, сделана из артиллерийской гильзы начала прошлого века. Коромысло, смотрите какое интересное, раньше их в доме по пять штук висело. Отнес три в казачий музей. Весы 1881 года, бутылка суворовского времени, трубка турецкая, разбитая, ступка с Днепра...

— Я это собирал, — говорит Лиманский, — чтобы меньше драки было, чтоб люди рассматривали. А кому неинтересно — пожалуйста, иди, пиво попей.

И он мог бы пить. Но тогда ничего этого не было бы. Трех великолепных музеев, которые он собрал: в Тамани, в Ейске и в городе Чимкенте — в Казахстане. Не было бы памяти, которую он свернул в рулон, чтобы было сподручнее передать другим.

— Не знаю, — говорит он, — может, я чудной, дурной, но я хочу *сохранить.*

Моя амфора

Существуют неписаные законы и права, из которых первое и последнее — право человека на жизнь. Тамань — подтверждение того, что жизнь эта висит на волоске. Что некто господин Махлай и компания могут осуществить проект конца света для одной из его немалых частей. И это не страшилка, не сказка. Как бы прелюдия близящейся трагедии — разыгравшаяся в Краснодарском крае стихия, невиданные наводнения, захватившие уже Темрюк, совсем рядом с Таманью. Геннадий Григорьевич Майков пишет: «Никак не справятся с Кубанью, вернее, с теми последствиями от рук человеческих, что называются искусственными морями и водохранилищами. Природа по-своему протестует и скатывает свое горе на людей.

Обыкновенно до потомков доходят мифы да черепки — свидетельства факта гибели цивилизации. А сама тайна катастрофы остается за семью печатями, под многометровым слоем вулканической лавы. Но вулкан только завершает то, что спровоцировано людьми. Возможно, последний день легендарной Помпеи — подтверждение не безжалостности природы, а легкомыслия человека. В случае с Таманью мы имеем уникальную возможность показать скрытые пружины планируемой, можно сказать теперь, на государственном уровне, катастрофы, показать, как это происходит на самом деле, как жадность одних, равнодушие других, нерешительность третьих, глухота четвертых шаг за шагом приводят к трагедии. Она все ближе и ближе.

Но пока мы еще не пепел и не груда черепков, есть надежда. Надежда на жителей Тамани, ее защитников и помощников. Надежда на страну, у которой проявится инстинкт самосохранения, хотя бы за мгновение до непоправимого, того, что может случиться с женщинами и мужчинами, стариками и юношами. Надежда на юношей...».

С тем же успехом среднюю школу в Тамани можно было назвать именем не Лермонтова, а древних греков, скифов или печенегов, к которым она тоже не имеет никакого отношения. Школа учила себе чему-то. Гуляли дети. На набережной Лермонтова, условно набережной — просто вода, огороженная плитами, — резвились после уроков ученики. Каждый возраст по-своему. Двое малышей в трусах залезли на памятник Лермонтову, вот здорово, встаньте-ка ему на плечи, попросил я ребят для фотоснимка. Но тут появилась учительница и закричала: «А ну слезьте немедленно! Чтобы я вас больше никогда здесь не видела!» (Никак не удается следующим поколениям встать на плечи предшествующих).

Другие, сжав кулаки, считали: раз, два, три — и выбрасывали пальцы. Девчушки на деревянном настиле, усевшись в кружок, играли во что-то свое. Кто-то купался. Кто-то бегал по узкому бордюру, как по канату.

Этого молодого человека звали Никитой. Учился он в десятом классе той же школы. Очень приятное, умное, взрослое лицо. Я возвращался с раскопа, а он как будто ждал меня, прогуливая на поводке большущего пса по кличке Гунн. «От гуннов?» — «Да, германские племена, воинственные... Он очень активный, второй раз вывожу, а так по вольеру бегает». — «Ему сколько?». — «Год».

Между тем парня интересовали тысячелетия.

— Тут что интересно: мусорную яму копаешь, на поверхности наш век — кирзачи, консервные банки находишь, а внизу — античность. А было такое, что нашли копейку 1961 года, а под ней — монету древней Эллады, вот так срослось. А вы на суворовском валу бывали? — спросил он, имея в виду всамделишный, построенный Александром Васильевичем Суворовым оборонительный вал в Тамани.

Никита с пятого класса копает. Копал Боспорское царство в поселке Ильич. Там, говорит, все так оставлено, как будто их вмиг накрыло волной огненной. Осталась утварь. Чашки. Разбитая посуда. В ней — рыбные кости, зерно. Зерно здесь находят даже в пифосах — древнегреческих сосудах объемом от сотни литров до полутора тонн. Сюда экспортировали из Греции вино, а отсюда — живых осетров, — рассказывает Никита так, будто сам возил. — На больших галерах выложены бассейны из мрамора. Здесь были греческие колонии, шла постоянная торговля. Река Кубань-Гипанес текла в Черное море — пока казаки русло не повернули.

— Правда?

— Конечно. Сейчас же в Азовское течет.

Есть легенда, рассказывает мне Никита: жили два помещика, один торговал пушниной, другой — рыбой. Что-то не поделили, и один сказал: ах так, больше у тебя рыбы не будет. Нагнал крестьян и повернул реку.

Да, подумал я, правдоподобно.

Отец Никиты плавал с трубкой неподалеку от затопленного городища и нашел цепочку, а плетение цепочки — из шестнадцати волосков. То есть, делает вывод сын, ценилось не столько золото, сколько работа.

— А какую вещь вы нашли самую интересную? — спрашиваю его на «вы» (на «ты» как-то неудобно — такого, как он, и взрослого-то редко сыщешь).

— Амфору, — отвечает, — первого века. Хотите посмотреть?

В Тамани много чего находят. Монету нашли, аналога которой нет в мире. Останки животных. У Никиты дома лежит позвонок весом три килограмма. Он точно не знает — чей. Но если позвонок столько весит, можно представить, что это было за животное. Обычно, говорит, находишь окаменелое, то, что море выбрасывает, а понюхаешь — запах сероводорода.

— На исторический поступать будете?

Ответ, достойный представителя нового поколения:

— Нет. Я посмотрел на археологов — заросшие, грязные, бедные — и подумал: пусть это будет моим хобби. А когда я стану богатым, заработаю деньги и снаряжу экспедицию. Как Шлиман, знаете такого? Он не был историком, но археология была мечтой его жизни. И он нашел сокровища Приама. Когда уже руки опускались и его стали покидать рабочие, он нашел! Так и я хочу. А жить, не имея гроша за душой, — это просто потерять свою жизнь.

Новое поколение выбирает... Что там оно выбирает? Пепси? Трою? Ничего я о них не знаю, не понимаю.

Словом, он собирается заняться курортным бизнесом. Как мама, которая, кстати, тоже увлекается историей. Этот бизнес дает возможность повидать мир, завязать связи. Никита постоянно сидит в Интернете. Одна девчонка ему написала из Германии, что всем надоел Кипр, в Тамань с удовольствием бы приехали.

А как тут, в Тамани, спрашиваю Никиту, народ относится к тому, что под ногами? Ответил пословицей: что имеем, не храним. Рассказывает: на огороде копали туа-

лет, нашли пятнадцать пифосов для вина, литров на двести-триста. И разбили кувалдой. А разбили потому, что боятся мертвецов. И еще боятся, что музей исторический захотят построить на этом огороде. Им по фигу история, им важно, чтобы туалет стоял.

В школе, говорит, то же самое.

Я вспомнил результаты социологического опроса школьников одного из черноморских ареалов. Ребят спросили: кем хотите быть? Ответили: отдыхающими.

Хотя историю в классе Никиты ведет очень хорошая учительница, Евгения Валентиновна. Я побывал на ее уроке. Очень понравилось. Написал ей записку, что благодарен за Никиту. Хотя, возможно, он был бы таким же, независимо от того, есть в школе Евгения Валентиновна или нет. Учительница, мама, небритые археологи на раскопе... Или связь все-таки есть?

— Приходите ко мне домой, — приглашает Никита, — я могу поделиться с вами каким-нибудь артефактом.

К вечеру погода испортилась, и Тамань стала похожа на лермонтовскую. Шквальный колючий ветер, серое, как сталь клинка, море, Керчи не видно. Стихия...

Делать нечего. Я читал рефераты учеников. Одна девочка написала про амазонок на Тамани. Были тут такие, с длинными, до плеч, волосами, перехваченными лентой. Одевались в короткие подпоясанные хитоны, ниспадавшие волнистыми складками. Разводили сады, охотились верхом. Имели железное оружие, в то время как у всех вокруг еще было каменное. Были очень эмансипированные. С мужчинами из соседних племен вступали в «брачный союз», а после отправляли мужей «на историческую родину». Если рождались мальчики, отсылали отцам, а девочек оставляли себе и воспитывали из них женщин-воительниц. Чтобы было удобней стрелять из лука и метать копье, выжигали себе правую грудь. Этого, правда, на рельефах с амазонками, найденными в Тамани, не видно. Да и вообще, как считали греки, это были не женщины, а мужчины-варвары, вроде наших панков. «Тема, — пишет ученица, — до конца не исследована».

Береговая полоса — сплошь ушедшие под воду города, водолазы говорят — с каменными стенами, пересекающимися под углом прямыми улицами, вымощенными булыжником, с водостоками и колодцами...

Почему ушли под воду? Как распалось могучее Боспорское царство? У другого ученика прочел: «Подрыв хлебной торговли. Массовое сокрытие кладов. Гибель сельских усадеб. Переименование городов... Что-то знакомое? Надо копать глубже».

— Нет, — возражает Никита (пришел за мной утром и повел-таки вместо уроков к себе в гости), — копать нельзя, берег может упасть. У Лысой горы обрушился берег, и одну семью завалило. В другом месте археолог разбился, упал с осыпавшегося обрыва.

— Так как же исследовать?

— А вместо того чтобы копать, можно использовать ультразвук, геолокацию. Создают компьютерную базу, находку дополняют, раскрашивают и получают виртуальный портрет того, что находится в земле. Правда, предполагают, — помолчав, добавляет Никита, — что в России эти методы внедрят не скоро. У нашего музея нет денег даже чтобы стекла протирать.

Одна надежда, думаю я, — на богатого Никиту, будущего Шлимана. Признаюсь, он мне интересен. А как, спрашиваю, у вас изначально возник интерес к археологии? А шел по берегу моря и нашел кусочек отесанной ручки амфоры. «Это была такая радость, — говорит, — я чуть сознание не потерял».

Для того чтобы человек ощутил: это *моя* амфора, ее самому надо найти. Не всем дано. И 2000 лет назад были люди, которые не просто жили, а чем-то увлекались. Никита вот нашел кремниевый нож в пласте эпохи бронзы и железа. Таких ножей, говорит, в те времена уже не делали. Кто-то, значит, еще тогда, в бронзовом веке, его нашел и удивился: смотрите, что раньше было...

Пришли с Никитой на самый конец Тамани. Кругом виноградники.

— Вы летом сюда приезжайте, — говорит Никита. — Летом тут красиво. Вон там сплошь черешня и вишня — рви и ешь. А осенью — виноград. Не надо ничего покупать. Бесплатно все, — вздыхает будущий богач. — Ну, вот и мой дом.

Дом в меру роскошный. Во дворе — обложенный камешками прудик с рыбками, большой зал занят Никитиными коллекциями.

Гвозди, чтобы сбивать мебель, без шляпок, — из Фанагории. Белая глина — из Византии. Звезда Давида. На многих находках — виноградная лоза, распаханная земля, вода.

— Чем жили, то и рисовали, — замечает Никита.

— А кто атрибутировал?

— И специалисты, и сам уже понимаешь, когда находишь, — по форме горлышка, по текстуре, цвету. Самое красивое — вот, вот и вот. Очень богатая посуда. Настолько богатая, что, если разбивали, не выбрасывали, а скрепляли свинцовыми скобами. Видите дырочки? А это красный лак, а вот черный, секрет которого до сих пор не разгадан. Ну, какая бы из нынешних вещей так блестела? Смотрите, — показывает на свет.

— Это был ширпотреб или индивидуальные заказы?

— Индивидуальные. Мастер ставил свое клеймо. На амфоре — на изгибе ручки. Вот клеймо мастера, похожее на перо павлина.

— А это что?

— Донышко, — обводит руками в воздухе: — Вот такая ваза была, изящная.

— А вам попадалось что-нибудь цельное?

— Нет. Тут кочевники-варвары были, они не признавали такую посуду, били.

Вроде тех, вспоминаю я, что копали уборную в огороде. Возможно, варвары являются всегда, когда чувствуют распад, слабость.

По этим кусочкам, показывает Никита, можно представить, какая была красота. Двенадцать метров культурного слоя в огороде. А под двенадцатым — еще один: древляне. И все уживается.

Фотография у меня не вышла. Пленка кончилась, жаль, не смог запечатлеть Никиту Кумейко, будущего Шлимана, на фоне его амфоры. «Вот моя амфора, — сказал он. — Я ее из осколков склеил. Такой амфоры нет даже в музее в Тамани».

Да и вообще нигде такой нет, думаю я. Она уникальна. Не потому даже, что существует в единственном экземпляре. А потому, что это *его* амфора. Его миг и его вечность. Он нашел ее осколок...

С тех пор как я побывал в Тамани, утекло много воды. Майков — уже не глава администрации, его уволили за отказ подчиниться корпорации. Но он не сдался. Судился с администрацией района, и процесс выиграл, хотя далее работать не стал, понимая, что это будет хуже для Тамани.

Впрочем, когда изменился закон «О местном самоуправлении...», опять пошел на выборы главы местной администрации и с большим преимуществом выиграл. Снова стал главой Тамани и проработал на этом месте до недавнего времени. Потом обстоятельства снова вынудили его уйти, и новый глава Темрюкского района предложил Геннадию Григорьевичу стать его заместителем. В этом качестве Майков трудится сегодня.

Занимается стратегией развития Тамани как историко-культурного центра — России и шире. «В основном, теоретически, к сожалению...» — вздыхает Майков, разговаривая со мной по телефону.

Что сказать? Прошла международная конференция по экологии и географии — тут, в Тамани, где проходит соединительная материковая линия Европа—Азия. Провели съезд старейших исторических городов России — тоже в Тамани. Но статус города она так и не получила, хотя Майков встречался по этому поводу даже с советниками президента. Тамань так и осталась станицей, захолустьем.

А что с ударной стройкой, «проектом века»? Один из крупнейших портов России,

сооружаемый для развоза сжиженных углеводородов и нефтепродуктов, собирались закончить в три-четыре года. Но, удивительное дело («Как будто господь им не дает», — говорит Майков), строительству перегрузочного терминала в бухте у мыса Железный Рог пошел 14-й год, а «жизненно важный проект» до сих пор не завершен, здания и сооружения, механизмы, эстакады, причалы и железнодорожные пути ржавеют, уже пятьсот миллионов долларов вылетели в трубу (надо признать, это тот редкий случай, когда бюрократической неразберихе следует порадоваться).

Но не стоит обольщаться. Приостанавливаемая усилиями общественности, эта стройка уже не раз возобновлялась с новой силой.

Вот и сейчас она снова идет.

Воздвигается смертельно опасный терминал. Вот не самый страшный фрагмент из заключения Госкомэкологии: «При авариях в зоны поражения могут попасть Тамань, Волна и другие поселки. Возможен летальный исход для жителей... Расчетное время подхода облака аммиака к этим пунктам — несколько минут».

Летальный исход! Конечно, не для владельца непотопляемой корпорации «Тольяттиазот» и стоящих за ним чиновников!

«Этот терминал будет лакомым куском для всех бенладенов мира. И никакая охрана не поможет! Достаточно мины со спичечный коробок величиной — и мы получим крупнейшую катастрофу века! Ведь это — пролив, — напоминает Геннадий Майков, — и если случится хотя бы малейшая авария — очень быстро погибнут рыба, водоросли, все живое. А рядом Украина, Болгария, Румыния, Турция, Абхазия... Господа махлаи взяли в заложники не только Таманский полуостров!».

Майков и его единомышленники продолжают титаническую борьбу за то, чтобы не допустить катастрофы. Неужели нам мало взорванного аэропорта, пожара, охватившего всю страну, вырубки Химкинского леса?.. Нужна еще аммиачная Тамань?

В свое время в открытом письме тогдашнему президенту России Майков писал то, что можно адресовать и нынешнему: «Господин президент, Вы готовы защищать нас от всемирного терроризма, но защитите сначала нашу Родину от самых страшных террористов — наших собственных! От расхитителей и уничтожителей России!»

Простим ему понятные эмоции.

На самом деле надо сделать совсем немного: объявить Таманский полуостров Всероссийским природно-культурным заповедником. Придать станице Таманской статус города, чтобы она могла развиваться и развивать свою инфраструктуру. Придать проекту «Тамань — Новый Крым» статус национального проекта. И таким образом подарить людям надежду.

Тамань — вечный парус, который не должен потерпеть крушение. Нельзя, чтобы она в мгновение ока исчезла с лица земли, ушла под воду, как древние города, стоявшие на ее месте. Если мы не хотим, чтобы от нас остались лишь датированные кем-то осколки: «Тамань. Фрагменты. Первый век до большого взрыва».

Илья Фаликов

Прозапростихи

Три этюда

До красной строки, до упора

Мифы неизбежны. Поэта без мифа не бывает. Не важно, кто больше приложил к этому руку: сам поэт или его читатель. Это совместное творчество чаще всего.

В случае Геннадия Лысенко эту работу проделала сама жизнь. Рожденье в уссурийско-таежной глубинке, неясное полусиротство, захолустный интернат, две (а может быть, и три) ходки на зону, первые публикации в краевой комсомольской газете еще до окончательного освобождения, школа-вечерка, обустройство в гремучем портовом городе, женитьба, профессия обрубщика литья на судоремонтном заводе, профессиональная болезнь (вибрационная — что-то вроде Паркинсона), другая болезнь, больше, возможно, генетическая, чем благоприобретенная, с тяжелейшим синдромом, леченым лишь стихами, лишь стихами. Драки, дебоши, уходы из дому, возвращения. Уходы отовсюду. С завода тоже ушел. Приютили в помещении местного отделения СП СССР. Там, накануне тридцатишестилетия (1978), на крюке раздевалочной вешалки, с помощью шнура от электрочайника, — произошло. Ушел окончательно.

Это не миф. Это анкета.

Он не высасывал стихи из пальца. Придумывать ничего не надо было. Никакого разгула воображения, более того — некоторая скованность, если не закованность в стих. Страх оглушительной полной свободы стерег его слово. Он боялся себя, тех глубин, куда запихнул прошлое — и не только свое: стихи об отце — свидетельство нелегкой наследственности: «...и после было стыдно за отца, / не на войне погибшего, / а так вот». Поэтика исподволь вырабатывалась чуть ли не из чувства самосохранения. Брюсова он не знал, Лермонтова читал: *железный стих, облитый горечью и злостью,* стал целью и условием выживания. Дело не в обличительстве и прочих бичеваниях. Не призрак перезаорганизованности, но идеал сильного, жесткого, напряженного стиха, оплетенного дисциплинарным синтаксисом.

Но был и другой полюс — Есенин. То есть песня. Да и сам этот образ — забубенный певец из народа. Самосожжение на миру. Предчувствие худшего: «а жизни все равно не хватит / на главное, / хоть знаю сам: / не я — / она меня растратит, / и в основном — по пустякам».

Нет, жизнь складывалась отнюдь не по есенинской мифологической колодке. Обрубка стали — нечто другое. Всенародная слава не грозила Лысенко, но быстрый взлет дальневосточного масштаба ему был обеспечен. Выходили книжки на месте и в Москве. Владивосток знал его в лицо. И это лицо не было личиком Леля. Он походил на фабричного парня из поэзии калмыколикого Бориса Корнилова. На эти корнилов-

---

[1] Продолжение прежних публикаций под этим же заголовком. См. ДН № 9, 2002; № 3, 2010.

ские стихи из раздела «Неоконченное»: «Вы меня теперь не трогте — / мне не петь, / не плясать — / мне осталось только ногти / кусать <...> Пиво горькое на солоде / затопило мой покой... / Все хорошие, веселые, — один я плохой».

Мне не кажется удачной его декларация «Я поэт не от бога — / от себя, / от России», тем более что она отдает соколовским «Все у меня о России, / даже когда о себе». Это тот случай, когда поэт изменяет типу своей речи, органически чуждой пафосу. Но по сути Лысенко действительно очень русский поэт. А в этой книге[1] — так она сложилась — ясно видно, сколько в нем деревенского, природного, почвенно-корневого. Это — вздох: «Еще в одной деревне / забудут про меня». Когда он говорит «И у меня есть город», это факт обретения города выходцем из деревни, а не просто регионального патриотизма. Тем острей он видел ту жизнь, в которой оказался после всех своих прежних мытарств. «А сердце сдавит и отпустит, / и снова сдавит, / как тогда, / когда впервые / захолустье / я променял на города».

На самом деле Лысенко и несколько его сверстников были по-настоящему последними поэтами деревни (по Есенину), это важно как в социологическом, так и в поэтическом планах. Лысенко родился в 1942-м. Это не просто цифра. Разве что Иван Жданов — из тех, кто родился несколько позже, — время от времени глухо поминал свою глухоманную Усть-Тулатинку.

Таких больше не будет, это факт. Интернет вбил последний гвоздь в гроб той глуши. Не будет уже и тех рецепторов восприятия первозданного, натурального мира, того словаря, той психологии горожанина-неофита. Свежесть глаза, бескожесть естественного человека — вот Лысенко.

Ни тени ксенофобии. Ничего квасного. При том, что на малой родине «тешит слух казачья речь». Лютое любопытство к географии и истории отечества — со временем в стихи густо вломились топонимы, далекие от родимой Барановки. В этом был и некий перебор. Думаю, от изумления. Но и от рискованной установки на командировочную скоропись: наступал литераторский профессионализм как образ жизни.

«"Видно, что дальневосточник", — / говорили в Костроме». То есть он, конечно, похвалялся нерядовой родиной, но не эксплуатировал ее экзотику. Если что-то такое возникало, то по делу и честно: «...я в завидном положенье / и, хоть не видел отродясь, / могу представить лист женьшеня, / когда он тигром вдавлен в грязь». А ведь мог бы и соврать про тигра-то. Кстати, странно, что он не видел этого листа в тех таежных местах, где рос промеж тигра и женьшеня. «Но в тех местах и хлебом не корми. / Там каждый куст и камешек — наука: / не все, что к нам врывается без стука, / нас покидая, / хлопает дверьми».

У Лысенко был наставник — Юрий Кашук, теперь покойный. Там сложились сложные отношения по древнейшей восточной схеме: увидишь учителя — убей его. Но поначалу Лысенко слушался Кашука во всем, усердно читал рекомендованную мэтром литературу, выбирал у себя те акценты и свойства, на которые с похвалой показывал ему Кашук.

Так вот. Пара книжек в Москве. Последнюю — «Зовется любовью» — он хотел назвать «До красной строки, до упора». В редакции издательства «Современник» решили, что это слишком, остановились на любви. Автора уже не было в живых.

«Зовется любовью» не прозвучала. Книжка утонула в шуме иного времени — шел 85-й год. Наступало иное. В том числе — другая поэзия. Герои прежних времен свергались, в лучшем случае становились неинтересными. На переправе меняли лошадей.

Пролетарский поэт из Владивостока? Кому это нужно?

---

[1] *Геннадий Лысенко*. Счастье наизнанку. Избранные стихотворения. — Владивосток: Альманах «Рубеж» (Серия «Линия прилива»), 2010. Спонсор издания: Иван Иванович Шепета. Много подробностей о творчестве и личности Г.Лысенко можно найти на сервере Стихи.ру в материале «Мемориал Геннадия Лысенко».

Инерция отрицания — тяжелая, твердокаменная вещь. Я недавно коснулся имени Ярослава Смелякова[1], дабы хоть как-то постоять за поэта, пренебрегаемого нашей славной современностью. И что? В дружественном отзыве[2] — то же неприятие, если не неприязнь. В принципе это понятно: минувшее время исторически мгновенно и еще не породило примирительно-восхитительную патину, от которой и сочинения графа Д.И.Хвостова теперь кажутся чуть не шедеврами. Грустно другое: пара великолепных цитат из вспоминаемого поэта не убедили критика, вполне доброжелательного. Звук сузился. Требуются децибелы.

Кашук напечатал в «Литучебе» статью, пафос которой состоял в разоблачении люмпенства, погубившего поэта Лысенко[3]. Это было влагоиспусканием против ветра. Время как раз извлекало из сумерек полунебытия аутсайдеров, подпольщиков, кочегаров и сторожей — люмпенов. Они еще не выплеснулись на печатные страницы в полной мере, но давно ходили по рукам и передавались из уст в уста. Повесть поколения оказалась совсем не такой, крайне тяжелой, разметавшей вдребезги схему литературоведческого советизма.

Казалось бы, вот она — жертва прошлой эпохи, нужно лишь определенное усилие, чтобы вписать погибшего поэта в новое время. Не произошло. Пролетарский типаж, над которым потрудился и он сам, ушел в никуда.

Это непростое дело — писать стихи о серпе и молоте, когда вокруг море гноя и гнили. О добросердечии народа, которому ты до лампочки. Что это — вранье, самообман? Способ зацепиться за социум, застолбить местечко в системе? Или — вызов всеобщему цинизму, сбережение детских иллюзий?

То и другое.

Помимо прочего, утверждение себя в качестве рабочего было видом разрыва с деревней, осуществившейся мечтой сельского мальчишки о большом, далеком мире за горизонтом.

Не надо приукрашивать, отбеливать ризы — врать. Сейчас-то — зачем? «Тюрьма ли по мне плачет?» Многовековой рассейский криминал сопутствовал всем нам, как жалостливые бабьи слезы верижному звону колодников на Владимирке. На зоне ему помогал «кум», устроил на работу в библиотеке, вернул отнятый уркой, конкурентом по музе, учебник стихосложения. Сразу после зоны ему помогал мент, земляк из деревни, устроил на работу, в общагу, познакомил с той, которая стала его женой. Закончив десятилетку, он сдал экзамены в университет — не куда-нибудь, а на юрфак: не зачислили по причине судимости.

Так когда же он «первый раз подумал о народе, / как о себе, / в единственном числе?» Не параллельно ли посещало его это чувство: «И вдруг, / как волка, / в лес потянет»?

Волк волком, лес лесом, а тяга к людям была искренней, не раз возникает мотив кровного родства: «во мне чудачит кровь чужая <…> чудачит в ком-то кровь моя». Или: «Побледнеет рассвет, как донор, / безвозмездно отдавший кровь». С природой у него происходит постоянный взаимообмен: ты — мне, я — тебе. Рассвет становится донором: мной, Геннадием Лысенко.

С самого начала его центральным персонажем, фоном жизни и состоянием души была — осень. Чуть не на каждой странице — она. «Осень лебединым эхолотом / промеряет синь октябрьских луж», «Осень ждет», «вот так же в осень уходило лето, / растратив горсть последнего тепла», «Как сентябрит!», «Наследила осень, улетела / за моря — / другие гнезда вить», «Осень ощущается далеко, / как наличье золота в рубле», «уходит осень, / а избыток чувства / проходит по рукам гусиной кожей». И так далее.

---

[1] *Илья Фаликов*. Знать грамоте. — Арион № 3 / 2010.

[2] *Борис Кутенков*. От «Юности» к «Звезде» и обратно. — Мегалит. Евразийский журнальный портал. Там сказано: «…<Фаликов> уверяет в "огромности дарования" Ярослава Смелякова, что в моих глазах представляется весьма спорным…»

[3] *Юрий Кашук*. Что посею, того не пожну. — Литературная учеба № 1 / 1982.

Было в этом что-то романсово-романтическое, его тянуло к надрыву, к перебо-рам деревенской гармошки и вообще к той музыкальной среде, где «мужик / здоро-вый, как сарай, / мне объяснял устройство мира». Он поймал себя на осенней ноте еще и потому, что стихи стал писать исключительно поздно — где-то в 25. Обычно в этом возрасте с этим делом завязывают.

Тема труда в осеннем антураже. Тут заложена мина.

На пути к песне он чаще всего прибегал к хорею. Удивительней другое: он умел справляться с ямбом, о котором еще Мандельштам (в письме к Вяч. Иванову) говорил как о препятствии лирическому высказыванию. В стихе, вроде бы рассчитанном на монументальность, Лысенко схватывал, фиксировал неуловимое, нюансовое, лету-чее и необъяснимое.

Его нынешние сторонники-дальневосточники отметают наличие каких-либо вли-яний, следов литучебы и проч. Нужна оговорка: сторонников немного, и это люди возрастные — отношение новой поэтической поросли к Лысенко мне неизвестно. Так вот. И Смеляков, и Соколов, и Рубцов — имена можно множить — совершенно очевид-но остались в лысенковском слове. Он ревниво читал многих, выхватывая свое. Тем не менее его чтение стихов мне представляется больше мировоззренческим, чем чисто стиховым. Из чужих поэтических обликов он складывал самого себя, опираясь на опыт тех, кого любил. Вот почему в его стих внешним образом не вошел Маяковс-кий — тот, с которого у него все начиналось. То же самое — Есенин, на сторонний взгляд лишь поверху овеявший его стихи. Эти две фигуры измлада стали внутренним остовом, костяком лысенковского миропонимания. Прежде всего: так надо жить. И умирать.

С одной стороны: «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс». С другой: «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». Это единый комок, одно не противоречит другому. Коллапс неизбежен.

«Что может еще приключиться? / Случалась безлунная ночь, / и пса уводила волчица — / я сам бы поплакать не прочь. / Случались дорожные сборы. / Работалось, / пелось, / пилось / до красной строки, до упора, / до снега, летящего вкось». Последняя строчка — редкая у Лысенко цитата: «Москва. Мороз. Россия. / Да снег, летящий вкось» — Межиров.

Он чтил поэтов-фронтовиков, часто заглядывал в них. Лысенковское внимание к фронтовикам лишний раз подчеркивает доминирующее положение той формации в стихотворстве 70-х. Это сказывалось: «Листва осенняя редела, / как список роты на войне. / Я уходил за грань предела, / туда, / где с сердца спрос вдвойне. / И остава-лись в стороне / такие ужасы и страхи, / как гром, / как пятна на луне. / И ближе собственной рубахи / ночное небо было мне». Опять детство — и перевод милитарной метафоры в область своего рода метафизики.

По этому поводу он сказал: «Пришла потребность — / справив юбилей / раскре-пощенных дерзостью вопросов, / почтить стихами всех учителей. / Их было много. / Я — не Ломоносов». А все-таки — Ломоносов, то есть самородок. От него веяло подлинностью.

Репликой на межировское же «Артиллерия бьет по своим» («Недолет. Перелет. Недолет») стала одна из самых пронзительных вещей его растянувшейся во времени предсмертной записки: «Все чаще, как ртуть на морозе, / сжимается сердце в комок / и ноет на полном серьезе / о том, что я мог, / да не смог. Еще не приспело покамест, / еще недолет-перелет, / но так я однажды покаюсь — / аж небо слеза прошибет».

Не многовато ли армейской лексики для человека, в свое время откосившего от армии? Он словно бы устыдился этого нехорошего обстоятельства, отрабатывая «священный долг» вне рядов вооруженных сил. «Стандарт и благо. / Не вполне / меня устроит эта тема — / я нестандартный, / и по мне / купить костюм — уже проблема. / Но даже в слове "ширпотреб" / есть справедливость в высшей форме, / как свет, / как музыка, / как хлеб, / солдатам выданный по норме». Сказано несколько по-слуцки.

Можно говорить об абсолютизации нормы. Все нормально. Живописец Евгений

Корж у Лысенко выглядит так: «Художник рыж и коренаст. / Прикрыта шея бородою, / похожей издали на пласт / земли, — / с железною рудою. <…> Как в раковине, в мастерской / сквозь шум привычный, городской, / услышу море. / Это — память. / Художник молод и влюблен. / Весна. / Все в норме, скажет он, / лишь денег нет, / чтоб свадьбу справить». Все в норме.

Не перегружен ли мой отклик на лысенковскую книжку цитатами из нее? Не просядет ли сам текст отклика? Это волнует меня в последнюю очередь. Геннадия Лысенко в большой России не знают. Я хочу показать поэта не за счет комментариев к нему — пусть говорят сами стихи.

Он писал коротко. Сжимался, группировался, отталкивался, прыгал. Это было дыханием на лету, похожим на отсутствие дыхания. Стихотворение, даже длинное (для него), походило на одну строфу. Он пытался увязать строки в единую фразу, выдохнуть ее враз. Пробелы между частями стихотворения — чуть не редкость. «Жизнь слагалась из дней и ночей, / из вечерней и утренней влаги / в удивительно чистый ручей, / недоступный перу и бумаге. / Только помню — палатка была. / Только помню — тайга голубела. / Только слышу, как бензопила / что-то очень веселое пела. / Чую тонкие запахи гор / и еще, / в удэгейском поселке, / глажу пальцами смутный узор, / четко врезанный в ложе двустволки». Спето на одном дыхании. Воздух вобран в грудь перед началом говорения и выдохнут в качестве стиха. Посвящено *И.Ф.* Почему — не знаю. Он не оповещал адресатов о своих намерениях. Это вообще свойственно ему: уход в свой угол, раковинный эгоцентризм, связанный с некоторой неуверенностью в необходимости диалога, в том, что его услышат и поймут. Молчаливый по жизни, он и в стихах разговаривал в основном сам с собой.

Впрочем, природа лирики именно такова. Саморассмотрение, самовосхваление, самоосуждение — тут все «само». Он называл себя лириком в надежде на то, что так оно и есть, потому что лирика — соль поэзии, ее сердцевина и вершина. В самоаттестации «я — лирик» просматривалась помесь смущения и вызова.

Может быть, это поэтика дайджеста, выжимки, сухого остатка? Так, да не так. Лаконизм входил в сложные отношения с авторским «я». Все о себе, чистейший эгопупизм, но так сжато, что излучается энергия чего-то всеобщего. Народ в единственном числе.

Гиперлаконизм лишает стихи эволюционной сырости, звуковой волны, цвета и запаха. По огрызкам и ошметкам проследить путь поэта невозможно. Лысенко, не вдаваясь в излишние подробности, пишет обширную картину своей жизни. В одном из достаточно комплиментарных стишков на «дальзаводскую» тему, посвященных «Ольге, мастеру ОТК», он роняет: «Может, ветер перемен? / Может, ветер. / Но едва ли». Он отмахивается от этой мысли, прячет ее, уходит от разговора. Но ведь видно: она в нем сидит.

Когда он говорит «и все же больше было правды, / чем умолчания и лжи», он не только копается в нравственной проблематике, чуждой нынешней словесности, но и невольно налагает запрет и на наше теперешнее, задним числом вполне возможное делание из него «чистого лирика» путем отсечения стихов про завод и прочее производство. Если топорно проделать такой фокус, исчезнет болевой узел, серьезная проблема этой личности, изымется важная краска времени из жизни генерации. Удачи в этой группе текстов случались, хотя и крайне редко.

Однако. Эта книжка — *избранное*. Все-таки надо было ужесточить отбор. Зачем так много рабочей тематики? Стишков на случай? Намеренной газетчины? Да, они есть в его природе, и у них есть свое место в его мире, однако можно было спокойно обойтись без большинства «дальзаводских» экзерсисов. Это может отпугнуть нового читателя. Боюсь — уже отпугивает.

Что же до молчаливости, этого мало — он был скрытен. Мы вместе (1972) побывали в поселке Гродеково, на советско-китайской границе, — там на тюремном полу умер Арсений Несмелов, но я не о том. Бродя со мной по пыльным гродековским улочкам, Лысенко ни словом не обмолвился о том, что здесь он жил-учился в интер-

нате. Затем мы посетили Лучегорск — это рядом с его деревней Барановка, и об этом факте — ни звука. Видимо, перегруженный накатившей памятью, из Лучегорска он внезапно исчез. Приблизительно то же самое происходило в стихах. Он многое недоговаривал, комкал, проглатывал. Скрытная лирика? Бывает. Как ни странно.

Страх полной свободы, упомянутый выше, можно и приравнять к Божиему страху, но в случае Лысенко это было не так. Гипотеза Бога его не очень волновала: «я верую — большое дело случай, / а вместе с тем и темное, как бог». Он коснулся ее в стихах о матери, умершей рано. «Рукой отливку свеженькую трону: / тепла еще. Другую вспомню медь. / Мать перед смертью бросит в печь икону — / тогда б и мне такого не посметь. / Тогда и мне ночь показалась длинной. / Потом длиннее не было ночей. / Мать умерла. / Я с дерзостью наивной / винил во всем не бога, а врачей». Это форма глухого, неназойливого богоборчества, предполагающего некоторую приобщенность прежнего ребенка к вере.

Да, он стремился к норме. Без оглядки на библейские заповеди. Простой советский человек? Допустим. Этика или эстетика — те пространства, где все должно быть нормально? Но те глубины в самом себе, куда он предпочитал не заглядывать, выхватывали его из правил поведения и рамок правильного стихописания. Бытовой дебош в этом смысле равен синтаксической накрутке, усложненности высказывания.

Невинная эротика, почти всегда внезапная и чуть ли не беспричинная: «лист упавший скользит вдоль ствола, / как вдоль тела ладонь при прощанье», «мне лето все еще в обузу, / как на свиданьях первых — плоть», «а женщина справляет торжество, / свалив к ногам веселые лохмотья», а вот и любовь на сеновале: «Мне тоже снилась сласть измены, / когда с востока, в синеву / вплавлялась медь / и пахло сено / уже почти что наяву / такой сомнительною смесью / весенних дней, / осенних дней, / что одинаково — / хоть смейся / над женщиной, / хоть слезы лей», — впрочем, это больше пейзажная, так сказать, лирика с некоей мечтательно-воспоминательной грезой. Хмурый интроверт, он тянулся к песне, нередко, повторяю, к романсу, вплоть до самого простейшего, на грани осознанного банала: «Только ты уже не такая. / Только я уже не такой».

На последнем году жизни его постигла страсть. Он ощущал ее как любовь красиво-мучительную, живописал много и бурно, словно спохватясь и сожалея о скудности написанного на сей счет до того, к адресату обращался на «вы», в этом безоглядном актерски-игровом потоке пробрезжило опамятование с переходом на «ты»: «И этой линии в судьбе / не сможет выразить прямая; / я нужен все-таки тебе, / а вот зачем — / не понимаю. / И сам не против уж, / не за, / лишь верится неутомимо, / что и фальшивая слеза / смывает со щеки часть грима».

Он тщился скрыть, что он вечный пацан. Огромность тяжкого опыта давила на совершенно детскую душу. Старик Фрейд тут ни при чем — детство не кончалось. Все менялось — и все повторялось: «и дождь когда-то был уже водой».

Опасность шла как раз со стороны зрелости. Вдруг оказалось, что он — профессиональный литератор, член СП, и с этим надо что-то делать. И деньги зарабатывать, и писать как-то по-другому. Начались пробы в прозе, и стихи заторопились к доступности, то есть облегченке. В какой-то мере он отшатнулся к самым ранним, отправным точкам пути. «Пройди опасные года. / Тебя подстерегают всюду» (Блок). Он сделал шаг в сторону, и это оказалось окончательным выходом.

«Приснилось: / молодость прошла. / Подумалось: / такие годы, / такие скверные дела, / такие мутные погоды.../ Я столько выдумать могу! / Но вместе с музыкой восхода / почувствовалось на бегу, / как оглушительна свобода! / Когда единственный успех / возносит ввысь, / крыла не пряча, / и вам, / первейшему из всех, / как тень, сопутствует удача». Кто-кто, а он-то знал ту конфигурацию положений, «когда причина неуспеха / вдруг станет следствием удач».

Поразительно, но ему по временам казалось, что эхо его стиха слышит чуть не все мировое пространство. Ситуация желаемого и действительного в таком само-

ощущении не в счет. Жизнь и смерть на миру — вот его вожделенная мера. «Когда уйдем по одному, / все будет так, как жили-были — / нас не исправить и в могиле. / И может, только потому / однажды / в зеркало взгляну / и с откровенностью урода / вдруг замолчу на всю страну, / необъяснимо для народа». Блеснуло есенинско-ходасевичевское зеркало. Но дело не в этом. Народ — вот субъект этих рефлексий, народ, которому не объяснить то, что случилось с его поэтом.

Что же будет с этим наследием? Трудно сказать. Масштаб явления определяется будущим, иногда очень далеким. Одно ясно: он был настоящий, он был лирик, он достоин своего мифа.

Работа со светом

Похоже, добрая половина современной русской поэзии родилась из влюбленности в Игоря Волгина.

Музы-ученицы влюбчивы. Речь не только о поэтессах, да и ту влюбленность можно назвать детской. Не важно, надолго ли. Но по факту выходит так, что навсегда: вся проза этой книги[1] (мини-мемуары после стиховых подборок) — сплошное признание в пожизненной приязни к педагогу, мэтру, мастеру, учителю, наставнику etc.

Вообще говоря, чаще всего путь поэта начинается с противоположного — с бунта против предшественников. Каковые, по обыкновению, сливаются в нечто единое и конкретное, да еще так, чтоб далеко не ходить. Проще всего — нагрубить классруку. Пропустить уроки, отмочить что-нибудь этакое. Бросить или поменять школу тоже можно, хотя и крайне сложно.

Что-то в этом роде наверняка творилось-варилось и в волгинской студии. Кое-кто из экс-студийцев сдержанно вспоминает и о прогулах, и об уходах. Были, были обиды. На учителя? Об этом сейчас не говорят. Наоборот — он-то как раз стоял не то чтобы над схваткой, но над всяческими страстями, это уж точно. Более того, поддерживал или в какой-то форме хвалил чуть не всех.

Происходило другое. Мальчики и девочки вырастали и уходили по своим делам. Кто в «Московское время», кто в студию Кирилла Ковальджи, кто к себе на огород, а то и в никуда.

К Волгину заглядывали и волки-одиночки, и представители другой фауны, в частности смогисты. Было много любопытных и бездомных. Было много кружков, литобъединений, неформальных семинаров, сходбищ и сборищ. Сидели по домам, по кухням, по бульварным скамейкам, по лестничным пролетам. Некоторые — по тюрьмам.

Чем был «Луч», как это видится сейчас и со стороны? Да тем и был — школой. Школой стиха, школой литповедения, поэтического и человеческого общения. Школой любви — тоже. В прямом смысле — тоже. Появлялись дети, отнюдь не литературные. По крайней мере, не те, о которых во взрослых литкругах говорилось «писдетки» (писательские детки).

Последнее важно. Там не было уроков барства, иждивенчества на слове, спецкурсов по халтуре, инструктажа по приспособленчеству. Нищая молодость, бедная семья, алчба знаний, жажда первенства, головокружение от неуспехов, воронка несчастий и провалов — нормальный набор положений, на которых произрастает поэт во все времена.

Сам Волгин — несомненный, откровенный счастливчик, или таков образ, в котором ему довелось просуществовать чуть не всю свою литературную жизнь. Я-то хорошо помню момент возникновения этого имени. Публикация в «Литературке»

---

[1] Alma mater. Литературная студия Игоря Волгина «Луч». Поэты МГУ. — М.: Фонд Достоевского; Зебра Е, 2010.

(1962) с благословением Антокольского, мгновенная слава, взрыв читательских восторгов, почти попутная дискуссия об ожидании нового Пушкина... ставлю отточие, поскольку дело не в точности прогнозов или наивности тогдашнего читателя — дело в том времени. Оно ждало не столько Пушкина, сколько Волгина. Вот такого — красивого, голосистого, умного, начитанного, благородного и бескорыстного. Ниша была уже готова — студенческая поэзия. Она была по нему, он — по ней. Студент-романтик, певший о «Ленинке» (библиотеке) и сибирской новостройке с равным волнением («Волнение» — название его первой книжки). Он потом, в перестроечные времена, скажет: мы были последними романтиками. Это правда. Другое дело, до каких пор.

В рассматриваемой книге только Д.Быков отважился поговорить о Волгине-поэте. Если редуцировать быковский анализ, главная мысль такова: волгинская поэзия — преодоление тайной, глубинной сумеречности (аналогия с Боратынским или: «...Волгин живет от "минуса", и минуса глубокого»). Возможно. Однако у этой мысли нет начала. Гипотетические сумерки — не причина, а следствие. Нынешние молодые ученики Волгина чуть не хором говорят о постигшей их поколение трагедии — катастрофе СССР. С ними это произошло в детстве, волгинская генерация прожила латентное разрушение идеальной державы в зрелые годы, внутри себя, вся эта нарастающая гниль пропитывала все на свете. Не во мраке, а в свете первоначального, бессмысленного счастья бытия надо искать исток той поэзии и тех поэтов. Там все началось, постепенно кончалось и кончается окончательно уже сейчас.

Надо бы сказать о поэтике, ибо в ней суть. Очень сузив обзор, назову два имени — Евтушенко и Антокольский. В ранних стихах Волгин восторженно шел по стопам первого (темы, ритмы, рифмы), но историческое дыхание всей русской поэзии — это уже Антокольский. Недаром юный стихотворец попал в магнитное поле именно Павла Григорьевича. Волгин вспоминает: «Он был моим крестным отцом. <...> Я не был его учеником. Но не был им лишь потому, что то благо, которое он изливал на нас, больше учительства: оно свидетельствует об отцовстве»[1].

Старик Антокольский приветствовал, напутствовал и защищал многих, но не все было так розово: я, напр., послав ему стихи, получил добросердечнейшую выволочку. Покойный Алеша Заурих мне рассказывал: они с Волгиным сговорились пойти к старику на пару, но Алеша запил, Игорь пошел, и вот так у них все сложилось. Такой сюжет, про счастье и злосчастье[2].

Так или иначе, поэтика, исповедуемая и проповедуемая Волгиным, означала непрерывность и целокупность всего русского стихотворства. Конечно же по ходу дела Волгин учился сам — у старых мастеров и молодых учеников. И то сказать, велика ли была разница в возрасте между ним и первыми студийцами. «Десять лет разницы — это пустяки» (Багрицкий), но там и десяти лет не было. Поначалу попросту отличник-вундеркинд подтягивал отстающих.

Встает вопрос: а что же такое современная поэзия? Откуда считать? Какова единица поэтического времени? Лет десять. Приблизительно. Не так ли? С какого же десятилетия начнем? С перестройки? Так принято. Но ее фавориты — как раз семидесятники, не говоря о фигурах андеграунда намного более ранних времен.

Дабы избежать лукавства в неответе на заданный вопрос, заглянем в книгу. Вот датировка ее трех частей: 1968—1970-е, 1980-е, 1991—2000-е. Это возраст самой студии, ее *три волны*. Но, может быть, это и есть время той поэзии, что существовала и существует сейчас. Одним словом — современной. Правда, куда деть патриархов (рожденных в 30-х, больше того — в 20-х), прекрасно пишущих поныне? В общем, вопрос и подвопросы имеют место.

В седовласых ветеранах ходят нынче те, кто когда-то заглянули к Волгину мальчиками. Парадокс той ситуации заключался в том, что имя студии и существо ее

[1] *Игорь Волгин*. Возвращение билета. — М., Грантъ, 2004.

[2] Историческое уточнение. Я пересказываю миф. На самом деле все было так, как описано самим Волгиным в книге «Возвращение билета» или: http://magazines.russ.ru/october/1999/5/volg.html

работы совершенно диссонировали с окраской и содержанием наступающего времени. Неизвестно, знал ли образованный Волгин в ту пору о *лучизме*, русском художественном течении начала XX века. Те художники работали со светом. Хорошее словцо из их лексикона: светопреломление.

В этом свете: случайно ли ранняя книжка Гандлевского называлась «Праздник»? Строго говоря, «москвовременцев» (ну и словечко, пардон, но другого не найду) назвать волгинскими учениками можно лишь с натяжкой, но «безграничная благодарность» (Кенжеев) на пустом месте не возникает. Была связка, и она состояла в том, о чем уже говорилось: в большом контексте, если угодно — в метатексте отечественной поэзии, познаваемой и осваиваемой целиком, без изъятий.

Насчет изъятий. Речь не только о географии, которую объединительно нарушал прежде всего Е.Витковский: русское зарубежье. Не о самиздатовском чтении. Речь о стилистике. Тот факт, что в недрах студии побывал, допустим, Степанцов, подтверждает общие параметры волгинского предприятия. Заметим, маньеристы — сугубые традиционалисты в стихе, вплоть до хокку и прочего. Это такая игра все на том же материале. Даром ли Волгин нежно любит волшебное творчество капитана Лебядкина?

По нашим временам просто удивительно встретить в стихах слово «мы», откудато из Павла Когана или самого Волгина («Мое поколение»). А оно есть. Скажем, у М.Ватутиной, и не у нее одной среди поэтов третьей части (волны). Наверно, это «мы» — из «Луча». Существует, однако, поколенческое мышление, вроде бы утерянное. Существует и ностальгический дух братства-сестринства, о котором вспоминает А.Аркатова, некогда получившая записку от той же Ватутиной: «Ты пишешь лучше меня!»

Читая книгу «Alma mater», изредка испытываешь глуховатое чувство то ли стыда, то ли вины за незнание или недооценку тех или иных поэтов. Изумительна подборка А.Шараповой, великолепен Витковский — почему я раньше этого не видел? Но в моих целях нет раздачи оценок, отбора лучших и худших. Посему и цитат тут не будет. Замечу попутно: вряд ли картина стихотворства той поры (семидесятых — восьмидесятых), нынче на вид стройная и полная, является таковой по существу.

Они называют себя «мы», и да будет так. Однако в мифологии «Луча» есть свои боги, богини, герои, титаны etc. А.Сопровский, А.Цветков, Е.Бунимович, И.Кабыш, С.Горшунова. Особенно первый, с его гомерическим хохотом и честностью мышления. Именно это качество — интеллектуальную этику — выделяет в покойном друге Гандлевский и сам говорит честно: стихи друг друга они взаимно не очень-то ценили. Раздолье для палеонтолога: по осколку прошлого можно восстановить целое — весь организм, воздух тех общений и отношений.

Времена меняются. Первые две волны пили портвейн, третья — уже коньяк. Но вот что интересно, и к этому я, пожалуй, клоню. Поэтика всей книги — как стихов, так и воспоминаний — в общем и целом принадлежит единой поэтической культуре. Порой это удручает, иные подборки можно перемешать и отнести к разным именам. Время от времени возникает ощущение одного авторства, одного автора, пишущего то блестяще, то тускло. Спасает знание (относительное, разумеется) этих поэтов поврозь, по отдельности, со своими книгами, интонациями и судьбами. Невооруженным глазом видишь, кто у кого учится, если иметь в виду межпоколенческие ступени. Сложнее — с ровесниками: кто тут первым сказал «а», неясно. Это ли не естественно?

Кто-то отошел от стихописания, кто-то угряз (!) в этом безнадежном деле с головой. Но есть уровень, планка, мерило, критерий. Культура? Она.

Волгин приводил гостей, не обязательно звездных. Мне тоже довелось пообщаться лет восемь-девять назад с волгинскими выкормышами в литинститутской аудитории, за тем самым просторным круглым столом старой постройки. Без цитаты все-таки не обойтись: «Мой одногодок — мы с сорок второго. / Да, нам пора. / Уже нам вышел срок». Это Волгин, начало 60-х, из книжки «Волнение». Сказано о стартовом сроке, теперь отдает финишем.

Смычки не произошло. Я был скушен им и себе. Слушали вежливо. Кажется, контакт иссяк, когда на вопрос «Как вы относитесь к Быкову?» я ответил в том духе,

что очень талантливый поэт Быков — нынешний Надсон. У Быкова незадолго до этого появилась где-то большая подборка — надрывная, многословная, пафосно-гражданственная. Сказав «Надсон», я не учел, что у моих визави в головах, видимо, отпечатано это имя как знак чего-то необратимо дурного. Надо было, может быть, подсказать студентам, что Надсон — первый студенческий поэт на Руси. То есть исходно — их поэт[1].

Но дело вряд ли только в этом. Мне показалось тогда, и сейчас я убедился воочию в том, что предпочтения стихотворцев, напечатанных в «Alma mater», идут по кругу, связанному с эстрадой, со стихом, рассчитанным на произнесение и тут же, на слух, с лету, усваиваемым. У поэтов первой части (волны) — явное отторжение от стиха этого толка. Евтушенковская плеяда была точкой яростного отталкивания. «Москвовременцы» выбрали стих несценичный, нюансовый, напряженный, принадлежащий самому себе. Но практика волгинских летучек и характер другого времени давали уже иные результаты. Студиец, идя на летучку, нес в себе тот продукт, реакция на который должна была последовать немедленно. Хотелось нравиться.

Когда умер Вознесенский, Волгин в интервью «Неделе» высказался в том смысле, что Вознесенский — опорный фактор многого в текущей поэзии, о чем не все догадываются. Это так. Время высказывания (девятый день по смерти поэта) не допускало трезвого анализа, но мне кажется, что Волгин и в любое другое время хранит нехладнокровное чувство к своей молодости и ее героям. В той его подборке, что он поместил в «Alma mater», ясно просматривается плодотворная связь с тем сегментом поэзии, который носил метку «фронтовое поколение». Это видно и не на письме: было дело, мы вместе махнули в Ханты-Мансийск, много разговаривали, читали наизусть кучу всяких-разных стихов, Бек и Алехин не страдали беспамятством, но емче всех оказалась память Волгина: того же Межирова он читал без запинки в немереных количествах.

Выше сказано: без изъятий. Не совсем так. Потому что эта книга — без Бродского. Поразительным образом представленные авторы никак не отреагировали на его стих, успех и фигуру — ни дифирамбом, ни подражанием, ни оппозицией. Или все это хорошо упрятано? Или попросту заболевание Бродским было да прошло?

Скажу рискованную вещь. Антология «Луча» несколько напоминает лучшие выпуски древнего «Дня поэзии». Это не хорошо и не плохо. Сходство определяется стилевым, общетематическим, даже в какой-то мере интонационным («лучисты» чуть не сплошь элегичны) единством. Медаль о двух сторонах. Причина — в Волгине, в той личности, которая собрала вокруг себя этих людей и эти стихи.

Что же тут странного? Он ли отказывается от прошлого? Он ли сжег все мосты, леса и города? Не он ли приводил в студийную комнатушку кумиров, потрясавших стадионы и площади? Не его ли ученики видели живьем Тарковского?

Так сказать, вопросы есть. Общий ответ — эта книга.

Внешне русские поэты после Есенина делились на «Есениных» и всех остальных. Бывали и «Блоки», но ничтожно мало. Я бы сказал так: Волгин — наш, прошу прощенья, Ален Делон, но выше ростом и без темного марсельского прошлого, — сказал бы, но вряд ли это корректно, хотя и похоже (отдаленно). Из 72 авторов книги почти половина — 34 — женщины. Это еще одна из его несомненных заслуг. Говоря посерьезней, волгинская антология свидетельствует тот уже не странный факт, что современная поэзия более чем политкорректна относительно полов. Не то чтобы мужиков выбило, как на войне, и за дело взялись бабы, однако женская составляющая во многом влияет на тональность текущей поэзии, даже в том случае, когда женщина отвергает звание «поэтесса» в пользу титла «поэт», усугубляя опасную операцию сгущением мужеподобия в самом творчестве, в лексике и жесте. Надо заметить, что воспитанницы Волгина — определенно поэтессы. Отчетливо, неискоренимо, натурально женственны. Разноголосица девического хора.

Снимаю шляпу.

---

[1] Кому интересно, может посмотреть на сей счет мой очерк «Рейнланд»: ДН, 2004, № 9. Кроме того, сам Быков схожим образом реагирует на явление Надсона — см. его работу об Окуджаве.

«Проект реорганизации полиции»

Об исторической драме Андрея Белого «Петербург»[1]

Драма Белого «Петербург» — чтение трудное: мешает грандиозный оригинал (роман). Как сказал П.Флоренский несколько по другому поводу: Белый пересказывает роман своими словами.

В романе самый говорливый персонаж — сам Автор. Так и здесь. Такого количества внедиалогического текста в нормированной пьесе не бывает. Пространнейшие ремарки Белого — уже режиссура, режиссерский план-проспект спектакля, вплоть до подробных разработок. Сценографические картины — работа за (вместо) художника спектакля. Цветовая гамма, им пастозно наложенная, вряд ли возможна где-то вне рамок врубелевского, если не экспрессионистического, холста. Вслед за Блоком он выхватывает из Врубеля доминанту лилового. Но и сколько там еще другого!

Белый вознамерился все сделать за всех, даже за актеров, указывая им, где выкатывать глаза, а где, допустим, трясти головой. Подобно тому как поэзия пронизывала его прозу, проза в данном случае тотально вторгается в драматургию. Это и не проза, и не драма как таковая, то есть это либо недодрама, либо сверхдрама. Собственно, Белый наверняка осознанно стремился именно к сверхдраме. Сам эпитет — ***историческая*** драма — указывает на его сверхзадачу. Он гиперобилен во всем, в объеме тоже. В какой-то мере он опять обогнал время: в наши дни, скажем, спектакль «Фауст» Петера Штайна идет двадцать два часа, а «Орестея» — восемь часов. Беловский первый вариант пьесы — как минимум на два театральных вечера, по меркам тех времен (драма написана в 1924 году).

Мне кажется, жанр этого текста и есть мистерия-буфф. Но без малейших библейских отблесков. Мистерии как таковой в такой гремучей смеси попросту нет. Но элемент вселенского катастрофизма играет у Белого по полной. Считать Аполлона Аполлоновича Аблеухова Богом-отцом невозможно, нет оснований. В романе-то автор сравнивает его с Зевсом, а здесь, в драме, он и на захудалого языческого бога не тянет, несмотря на удвоенно-античное имя: это лишь анахронистический отголосок былых разговоров об аполлоническом и дионисийском.

Тень Маяковского возникает не случайно. Во-первых — мистерия-буфф, псевдомистериальная буффонада, то, что Маяковский уже сделал к тому времени. Во-вторых, уже назревающий к той поре Победоносиков Маяковского — в принципе, тот же Аблеухов-старший, его торжествующее перевоплощение, в каком-то смысле бессмертие его дела и его типа, берущего начало еще в гоголевском чиновничестве.

Он и сейчас живет: в громадье планов тогдашней власти обнаруживается, например, и «Проект реорганизации полиции», о чем кричат мальчишки-газетчики...

Актуально-памфлетная подоснова романа «Петербург», состоявшая в выпаде против Победоносцева (плюс Витте), обнаруживает общий подход к работе со злобой дня самых разных авторов от Достоевского до Маяковского. Литература конкурирует с газетой. В 24-м году Белый одним из первых осознал: тот чиновник был, есть и будет.

А до чего ж образован тот чиновник. Он тебе и Пушкина процитирует «Пора, мой друг, пора» (правда, исказив концовку), и знанием Гоголя щегольнет: «Какое кипучее и могучее производство...»

Поэт Андрей Белый в прозе своего пера наделял собой, своей личностью, своими познаниями и пережитым личным опытом чуть не всех своих персонажей, вне зависимости от авторских симпатий. Упырь-нетопырь и его сын оказываются весьма подкованными литературно и философски. Белый предается самообличению, его

---

[1] *Андрей Белый*. Петербург. Историческая драма. Подгот. текста и примеч. А.В.Лаврова; вступ. статья А.В.Лаврова и Джона Малмстада. — М.: Прогресс-Плеяда, 2010.

прозу пишет поэт. Можно сказать, поэт-сатириконец. В пересказе прозы — в драме — происходит то же самое. Но он ведь и стихи свои переписывал наново...

Белый постоянно оглядывается на Гоголя — и не только. Лев Николаевич тоже тут: за спиной сенатора Аблеухова — сам Алексей Александрович Каренин, тем более что его неверную жену, с любовником гастролирующую где-то в Толедо, зовут Анна. Белый и не скрывал прототипичность толстовского героя. Мне вспоминается другое: не исключено, что актер Николай Олимпиевич Гриценко много позже, в киноленте «Анна Каренина», воспроизводил ту самую незабываемую походочку, что была найдена Михаилом Чеховым для Аполлона Аполлоновича.

Само собой, не обошлось без Пушкина. Офицер Сергей Сергеевич выслушивает от своей огорченной Сонечки исповедь о том, как ее напугало красное домино — и где? У Зимней канавки: «Тут стояли и Герман, и Лиза, а он... (*С новым припадком плача.*) Не повел себя Германом...» Опера «Пиковая дама» налицо. Здесь — опера-буфф, опять-таки.

Кстати, сам Сергей Сергеевич любит играть на флейте мелодию «Выхожу один я на дорогу». Он тоже поручик (в романе — подпоручик).

Младший Аблеухов два-три раза выпаливает: «Бред, бездна, бомба». Это и есть содержание беловской драмы. В основном — бред. Или — чушь. Как сказано в романе, «совершеннейшая ерунда». Персонажи мелькают, недопроявляются, сливаются и слипаются, произносят нечто нечленораздельное. Сенатор чаще всего говорит «кхе-кхе» и «ме-ме». Ни единой законченной фразы.

Лакеи изъясняются по словарю Даля. Суперэксперимент — вывести на сцену Словарь! Целые словарные гнезда Белый переносит в речь дворни, обывателя и простонародья. Это слишком заметно, звучит искусственно и свидетельствует о недостаточной оснащенности автора в создании речевых характеристик своих низовых персонажей. Не знал Борис Николаевич Бугаев этого языка.

Он знал литературу. Про Медного Всадника. Который неизбежно возник. Белый идет дальше по этой линии — у него начинают говорить и ожившие кариатиды.

Между прочим, у Белого кариатиды почему-то мужеского пола, вполне бородатые.

Вообще говоря, эта работа Белого — чистейший метод постмодерна в границах модерна: по числу отсылок к предшественникам из XIX века и густоте аллюзий вообще. Смешав гротесковую комедию с надрывом квазитрагедии, он дает что-то третье — повторяю, условно говоря: мистерию-буфф. Лучше сказать: антимистерию. Действующие лица — шаржи, карикатуры, а не символы, посему о символизме в данном случае говорить не приходится, а если он и будет помянут, то в плане окончательного саморазрушения.

Что касается самой истории, она тут — бэкграунд, фон, задник происходящего бреда. То, что было сказано в романе о социальной атмосфере и народных волнениях хотя бы в подглавке Главы второй «Учащались ссоры на улицах», в драме пропущено — видимо, по условиям сцены. В сущности, драма — по результату — посвящена не революции Пятого года, не провокации, лежащей в ее основе, а вечной болевой теме Андрея Белого: конфликту сына с отцом, вине за архетипическое отцеубийство, принятое на себя.

Невозможность адекватного перевода романа в драму лишний раз напоминает об уникальной значительности той прозы Белого. Прозы, настоянной на поэзии, которая, как известно, непереводима.

Отсутствие хотя бы одного внятного, членораздельного, завершенного монолога — тоже, может быть, подтверждает опережение Белым на сей раз драматургии своего времени: перед нами — театр абсурда. Фрагментарность, опущенные звенья, проглоченные мотивировки, маскарад манекенов. В треугольнике сын–отец–мать нет ничего шекспировского. Младший Аблеухов не пародия на Гамлета, даже не Антигамлет. Пустое место, ряженое ничто. Для существования Гамлета нужна хотя бы Офелия. Замужняя ветреница Софья Петровна тут ни при чем. Активная шмуточ-

ница занята тем же, чем и ее идиотический поклонник, красный шут, — тряпками: атласная тряпка домино — вещь надеваемо-снимаемая, даже не оболочка, не часть тела, суррогат революционности, жалкое притязание на краснознаменность. Его невидимые интеллектуальные потуги, судя по отрывочным репликам, равны плоской каламбуристике его папаши.

Комкая диалог и диктуя режиссеру и сценографу, Белый предрек характер и состояние современного театра. Царит демиург-режиссер. Текст не так уж и важен, актер — кукла.

Это написано вне Шекспира, вне Островского, вне Чехова. Ни Горького, ни Блока — как драматургов — для Белого в его тексте нет. Зато просматриваются, скажем, Беккет и Ионеску.

P.S.

У Белого в романе «Петербург» есть образ: Ангел Пери (лирическая ипостась Софьи Петровны Лихутиной). Он его вертит так и этак. А что если «ангел Пери» потом превратился в «ангел Мэри» Осипа Мандельштама? «Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли, / Все равно. / Ангел Мэри, пей коктейли, / Дуй вино!»

Роман «Петербург» начал печататься в «Сирине» в октябре 1913-го. В этом же году написаны «Петербургские строфы» О.М. В «Петербурге» доминирует желтый. Не отсюда ли «Над желтизной правительственных зданий»?

А также: «И государства жесткая порфира, / Как власяница грубая, бедна». Порфира — красный плащ императора, то есть аналог домино.

А вот, в романе, песенка сапожника Бессмертного под гитару:

Никогда я тебя не увижу, —
Никогда не увижу тебя:
Пузырек нашатырного спирта
В пиджаке припасен у меня.
Пузырек нашатырного спирта
В пересохшее горло волью:
Содрогаясь, паду на панели —
Не увижу голубку мою!

Наконец-то возник первоисточник как Мандельштама, так и Вознесенского: «Я тебя никогда не увижу». Таким образом, (со)автор знаменитого шлягера — сапожник Бессмертный.

В статье «Литературная Москва» (1922) О.М. сказал: «Андрей Белый — вершина русской психологической прозы». В уничтожающем отзыве на «Записки чудака» (1923) Мандельштам честит Белого, однако: «А над Белым смеяться не хочется и грех: он написал "Петербург"».

А потом, в итоге, пишет плач по Белому. Благодарность и раскаянье: «Рисовали, просили прощенья у каждой черты». В принципе, весь реквием по Белому — память прежде всего о «Петербурге», хотя он, по свойственному им обоим алогизму, переносит автора «Петербурга» в Москву, на родину москвича Белого, и это совершенно логично: «Как снежок, заводил на Москве кавардак гоголек, / — Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок...»

Правда, «легок» отсылает к Некрасову, но это уже другая история.

Даниил Чкония

Общий план любви

Мне не довелось держать в руках предыдущие книги Вадима Муратханова, но его достаточно регулярные публикации в журнальной периодике позволяли составить о нем мнение, как о лирическом поэте с ярко выраженным самостоятельным поэтическим характером. Однако знакомство с новой книгой автора подсказывает, что помимо очевидного лирического происхождения его стихов, где автор одновременно лирический герой стихотворения, возникает способность видеть себя, словно со стороны:

Порезанный мельканьем белых крыл,
соленый день остановил теченье.
Я с чайкой осторожной говорил
на эсперанто хрупкого печенья,

а он все длился. В нем я был не мной,
забыл следить, как палуба дрожала...

Способность видеть мир, следить за событиями, «наблюдая» за своими реакциями, пропуская все это сквозь художническое осмысление жизни, превращает «картинку» в сюжет эпической картины. Характерно в этом смысле произведение, озаглавленное «Понтифик. Прощение». Стихотворение, разбитое на семь частей, представляет собой цикл, а по сути, по глубине — поэму, уместившуюся на двух страницах сборника. Движение поэтической мысли охватывает, осмысливает огромный путь от новозаветного сюжета до факта и событий нынешних времен с непрекращающимся спором и сражением той изначальной проповеди любви, ее творением в жизни, против зла, ненависти и бессмыслия.

При этом Муратханову удается совмещать «общий план» философского мировосприятия с «крупным планом» психологического портрета. Согласие кардинала на избрание его понтификом, на Избрание, дает понимание им своего пути. Это понимание сродни знанию Предначертанного, которым обладал Сын Божий!

Когда он произнес свое «согласен»
(и дым оповещающей трубы
еще, колеблясь, выбирал оттенки),
он знал, что с ним прощаются навек
сырые своды краковского неба,
костер в лесу, прогулки по реке
и строки недописанной поэмы.

Это осознанное прощание со всем, что составляло когда-то и радость мирской жизни избранника, — свидетельство и осознанности, с которой он принимает Служение. Поэтому и подчеркнуты поэтом такие земные и невероятно зримые детали: дым, выбирающий оттенки, сырые своды неба. Детали земные, но внятные взгляду, обращенному ввысь. Очень муратхановское, художническое живописание:

евангельский сюжет мерцает в снимке:
раскинув руки, падает понтифик
в людские волны навзничь.

И дальше, после выстрела террориста, этот путь — тюремным коридором, — путь внутренней борьбы между болью, взыскующей отмщенья, и Служением любви и добру. Муратханову достает трех-четырех строк для передачи внутреннего состояния своего героя, после чего сле-

---

Вадим Муратханов. «Испытание водой»: Книга стихов. — М.: «Воймега», 2010.

дует почти отчаянное восклицание, заклинание, полное недоуменного непонимания того, что сотворил другой персонаж произведения, Агджа:

Я лишь затем бы овладел турецким
и выучился чтенью по губам,
чтоб разобрать, что говорил Али,
чему он так смеялся простодушно.

И дальше:

Прикрыв глаза рукой, понтифик слушал.
Так жертва назначала палача
невольным соучастником победы
любви над смертью.

Кажется, достигнута точка высшего нравственного напряжения? Но достигнута ли цель этой победы? Животворна ли она? Ведь поэт напомнит нам картину того, как самолеты врезались в дома. Не страшен ли итог? Не сомнительна ли победа? Не осознание ли отсутствия ответа на эти вопросы окрашивает «усталое и скорбное лицо» понтифика на фоне улыбчивой оживленности Али? Способен ли он, Агджа, — и ему подобные — осознать этот урок любви?

Тяжкие вопросы не боится задавать себе и нам поэт, и нет ни у него, ни у нас очевидного, утоляющего боль и тоску сомнений, ответа.

Присутствие боли, как жизненной реальности, очень характерно для Муратханова: «болью каждый миг прошит». И нет, мне кажется, случайности в том, что новая книжка поэта открывается именно стихотворением «Земля»:

Зимой земле без холодов нельзя.
Зимой часы ночные благотворны,
где каждый след и каждая слеза
затвердевают в собственные формы.

Остатки луж держа перед собой,
как хрупкие мозаики музеев,
она дневную превращает боль
в среду хрустальных трубок и лазеек.

«Дневная боль», благотворно подмороженная ночными заморозками, разумеется, никуда не денется, но перетечет в эти хрустальные трубки и спасительные лазейки.

Кстати, это одно их многих стихотворений поэта, которому так удается зримая, почти кинематографическая, пластика образов-деталей, повод и для разговора о сквозной музыке его богато аллитерированных строф. Обратите внимание на эти звуковые повторы в начале строк и на рифмах первой строфы: зи-зя-зи-за-за. Вслушайтесь в сквозную прорифмовку пар: «зимой земле без холодов нельзя» и «где каждый след и каждая слеза». И далее звукопись первой строфы получает звуковую поддержку сквозной прорифмованности пар второй строки: когда «*хрупкие мозаики музеев*» перетекают в среду «*хрустальных трубок* и *лазеек*».

Образы и музыка стихов Муратханова — в их неразрывности — растут из памяти детства, из того времени, когда формировалась человеческая душа. Оттуда же извлекаются уроки любви, как изначальная нравственная составляющая человеческого характера. Не случайно же поэту, говорящему о старом доме и заросшем саде, которым другие руки век назад привили цвет и запах, кажется, что стволы и стропила его душа в младенчестве «сама из времени слепила». Так и есть: давно замечено, что поэт, обозначая предметы и явления, дает им иную, не замечаемую другими, жизнь.

Это особенно ощутимо в таких вещах Муратханова, как «Поэма двора», «Дом пропитан тьмой неизлечимо», «На берегу», в других стихотворениях, где пойманные мгновения задержаны, они все еще скользят «над этим тонким миром».

У Муратханова многие образы обретают свое развитие и свою динамику в поэтическом сюжете книги. Это прежде всего перетекающий из одного стихотворения в другое образ воды в книге, названной именно так: «Испытание водой».

Пройти испытание ванной,
где пахнет снотворно белье,
где страх посещает незваный
сознанье мое.

И постоянно возникающий образ воды, в ее самых разных состояниях проходит

путь от «незваного страха» к твердой уверенности:

Но никогда шагнуть не рано
В ту воду: во вчерашнем дне —
Реки извилистая ванна
И рыба-молния на дне.

Можно было бы подумать, что особняком в книжке стоит цикл «Вариации на темы рока». Но уже второе стихотворение цикла ставит все на свои места. Знаменитые темы знаменитых рок-групп не стали словесными пересказами-импровизациями, а запечатлели время, место и содержание жизни автора или его лирического героя (что в данном случае неразделимо) сквозь призму восприятия чужого художественного опыта и его преображения на родной почве. Это поколенческие стихи, выросшие

Из этих «Розыгрышей», черно-белых
«Валентин»
и «В моей смерти прошу винить...».
Но как просочилось за железный занавес
мое герметично хранившееся время?
Неисповедимы пути мелодий.
Я купил ее у седого фарцовщика
с волосатой грудью, запахом изо рта
и татуировкой на левой руке,
которой он продавал мне пластинку.

Похоже, небольшая книга стихов Вадима Муратханова не из разряда очередных, а в определенном смысле является знаковой. В ней отражено то накопление поэтической энергии, которое сулит нам новое качество, новые уроки любви, новый прорыв к масштабному художественному осмыслению жизни, к которому направлен творческий вектор этого талантливого поэта.

Елена Зейферт

Мамона, Чубайс и блаженная Матрона

Тексты Эргали Гера, созданные до повести «Кома», в основном разнились по тематике, а не по стилю.

Эргали Гер стал известен после публикации рассказа «Электрическая Лиза» (Вильнюс, 1989 г.), герои которого, по словам Вячеслава Курицына, «активно жили друг с другом половой жизнью, а автор рассказывал об этом с удивительной стилистической легкостью». Изюминка рассказа — в стиле, традицию которого продолжает повесть Гера «Дар слова. Сказки по телефону» (1999 г.), по определению того же Курицына, «текста потрясающей энергетики и выстроенности». Для другой группы читателей Эргали Гер — в первую очередь автор «Белорусского зеркала» («Знамя», № 1, 2007 г.), цикла путевых заметок о стране, которая, как пишет Гер, «остается белым пятном на карте Европы и белой вороной» и в которую мы смотримся, как в зеркало прошлого.

Автор «Электролизы» и «Белорусского

Эргали Гер. Кома: Повесть. — М.: АСТ, Астрель, 2011.

зеркала», чья стилистика легка и свободна, создает текучее, плотное полотно новой повести «Кома» с яркими «цветовыми пятнами» метафор на нем. Замедленность, певучесть текста здесь обусловлена не темой. Повесть охватывает время «перестройки» и наступившего за ней развала. Тема здесь, безусловно, трагичная, но ведь в «Белорусском зеркале» трагизм не изменил манеру повествования... Стиль в «Коме» определен типом главной героини. Недаром в ее голосе прорезается эпический, волжский распев.

Ее зовут Кома, или — полным именем — Комэра («коммунистическая эра»). В войну ребенком Кома голодала. Провинциалка из Рыбинска, поступила в юности в Московский полиграфический, осталась работать в Москве на полиграфкомбинате «Правда», получила двухкомнатную квартиру. Но жизнь оказалась «ровненькая такая, без всплесков»: «селедочный хвостик в детстве, кашка под старость».

Кома — начитанный, думающий человек, интеллигентка в русском, идейном, смысле этого слова. Читала — еще в советское время — затертую машинописную копию «Архипелага...», «страшилась найти в его ледяном аду упоминание об отце — не нашла и обиделась на Исаича». У Комы своя система мышления. Она входила в комнату сына Алексея, куда набивалась «инакомыслящая молодежь», и ставила вопросы на засыпку: «А вот скажите мне, дуре... А что такое демократия для прислуги? Чтоб на конюшню не отсылали?» В ней с детства от безысходности копилась тоска: «текучая материя души ребенка» вливается в любой сосуд, принимая его форму, а Кома росла в войну.

Алексей постепенно становился «не от мира сего», «подцепив какую-то древнюю гниль, мозговую плесень»... Практически не выходил из дома, раз в два-три месяца публиковал статьи в оппозиционных изданиях. К тому же «перестройка» привела Кому и Алексея к нищете. Кома «из последних сил цеплялась за человеческое в себе, но обида не отпускала». Тутто и забрела несчастная старуха на заседание так называемого «Братства Святого Духа» и попала под влияние отца Николая — Учителя, который «говорил негромко и задушевно — как будто читал все, что накопилось в душе, все, что сдавливало по ночам сердце». Да так попала под влияние, что, вдохновленная идеей общежития с братьями и сестрами в будущем жилом комплексе «Белый голубь», продала свою квартиру и вместе со взрослым сыном переселилась в общежитие, где стала комендантом ада. Братья и сестры вели себя стоически, как заложники белоснежного воздушного замка, но их общие силы подточил августовский дефолт.

В десятки раз, чем собственные страдания, для Комы мучительнее то, что она, поддавшись гипнозу «братства», обрекла на жизнь в аду общежития именно такого странного, не приспособленного к жизни человека, как ее сын. Алексей не выдержал этой жизни, умер от рака.

Почему автор повести не акцентирует внимание на страшной омонимии имени героини (Кома) и состояния полусмерти (кома)? Возможно, это и так очевидно. Право всегда называть героиню Комой повествователь оставляет за собой. Хотя так ее называют и некоторые герои — в том числе руководитель братства, Учитель, тот, кто введет ее в состояние душевной комы и затем смерти. Хотя многие зовут героиню по имени-отчеству: даже в унижающей Кому ситуации, когда она просит в метро милостыню, «ее окликнула по имени-отчеству пассажирка в беличьей шубке»...

Герои сами словно бы находятся в коме. Открыв повесть темой военного голода (на всю жизнь у Комы изжога от селедочных хвостов — основного ее источника питания в войну), Эргали Гер продолжает череду постоянных мытарств, сомнений, маленьких побед и больших отступлений обратно, в сторону нищеты и горя.

В повести несколько содержательных планов, которые сплетены в один экзистенциальный клубок.

Тема жертвы сопровождает главную героиню и ее сына, которые сначала пострадали от «перестройки», оказавшись на обочине жизни, а затем из-за доверия к «братству». Кома готова на жертвы. Она осознает (и учит других), что «только на крови и строится новый мир, ...другого строительного материала нет». «Больше-

вики, между прочим, своей кровушки не жалели, оттого и полет у них был орлиный — зря только от Христа отреклись, от главного революционера». Слушали Кому вполуха: «много по тогдашней Москве бродило бормочущего, ошарашенного старичья».

Готовность к жертвам не означает благополучия. Вышестоящим не нужно твое служение истине, им нужно твое служение им. И наказать себя человек, не понимающий или не желающий понимать этого, может сам. «За базар отвечать, мать, надо», — неожиданно грубо говорит не понимающей ситуацию Коме ее интеллигентный сын. Когда через долгие годы наконец был построен «Белый голубь», Кома и ее сын все равно остались без квартиры. Учитель отбирал входящих в Царство земное по принципу выбраковки слабых, а Кома при Учителе пожалела молодую женщину с двумя детьми. Ключи от Коминой и Лешкиной квартиры и достались этой несчастной.

Самая страшная сцена в повести: Кома, мечась по вагонам метро, просит милостыню на операцию уже умершему сыну. В припадке отчаяния и боли («Учитель выблевал меня»; сын умер) она не может остановиться, опомниться, успокоиться…

Земное/небесное: эта экзистенциальная пара — как сердце повести «Кома», что стучит на каждой странице. У могилы блаженной Матроны Кома «полезла в сугроб за пяточкой, стала царапать мерзлую землю, потом услышала звонкий смех. — Не там ищешь, Пифка, нету меня в земле! На небеси поищи, старая!».

«Только верой, только сердечной мышцей можно удержать Россию на краю пропасти…» — эти слова вложены в повести в уста обманщика Учителя. Но, во-первых, они, несмотря на свою внешнюю красоту, правдивы, во-вторых, выводят на еще одну важную идею книги — соответствие между сказанным (на земле) и содеянным (в других эмпириях). Слова не уходят в пустоту. Чужая истина, брошенная Учителем, сыграла с Комой злую шутку: она впитала ее, а та не воплотилась на земле.

«Без правды тошно, а с правдой страшно». Герои повести — правдоискатели. Алексей пишет «бесконечную, безразмерную Книгу Правды про все».

— Когда ты ее закончишь? — спросила однажды Кома.

— Не знаю. Похоже, что никогда, — спокойно ответил он.

«Раз нет правды, значит, и Бога нет», — говорит в финале повести Кома. Но вовремя останавливается: «Но такого не может быть. Я же чувствую Тебя! В чем же правда твоя, Господи?..». И опять переходит к еретическому прозрению: «Или правда Твоя в том, чтобы все отнять до конца?»

Правдорубка Кома не удерживалась на высоких постах, потому что «немедленно принималась конфликтовать с начальством за справедливость». Символично, что именно полиграфический комбинат с названием «Правда», где Кома «оттрубила от звонка до звонка», оставил ее, седую старуху, с нищенской пенсией. «Обманули жестоко и навсегда. Обманули по жизни». Кома разуверилась в голой правде тех, кто работает, но не ест.

После смерти сына Кома нажала в компьютере на ярлычок с Лешкиной книгой: иконка оказалась пустой, не считая двух слов мелким шрифтом: правды нет. Сбылись слова Алексея: «не для жизни такая правда».

В своем крайнем ракурсе — ракурсе болезни и даже смерти — в повести показано тяготение человека к своему углу, своему жилью, острые страдания человека, лишившегося дома. Лишенный своего угла человек теряет сон и аппетит, смысл жизни… И даже умирает.

Считается, что для русского человека тяга к дому менее характерна, чем, к примеру, для европейца. «Широк русский человек, — писал Бердяев, — широк, как русская земля, как русские поля. В русском человеке нет узости европейского человека, концентрирующего свою энергию на небольшом пространстве души, нет этой расчетливости, экономии пространства и времени, интенсивности культуры». Но в повести Эргали Гера утрата дома буквально убивает именно русского человека.

«Много званых, да мало избранных» —

эта мысль в повести и метафорическая, и прямая. Так и получилось, как по писаному в Библии: многих звали в «Белый голубь», да не все вошли. Узкими воротами своей совести Кома не попала в земной рай.

Земная правда всегда уступает небесной. Когда Кома отнесла дискету со статьями умершего сына в редакцию газеты, женщине уделили минуты три: деладела. Она отдала им статьи Алексея, «как будто урну с прахом в универмаге оставила». А небесный — не земной — псалом над умершей Комой звучит все увереннее и громче.

Оппозиция внешних и внутренних усилий — ключевая для повести. Утомительное вымаливание милостыни в метро оказывается менее эффективным, чем поход в храм и молитвы. Просить милостыню — это гордыня, упование на свои силы. Кома-нищенка в метро словно теряет человеческий облик, напоминая «оголодавшую птицу: такой подашь, а она клюнет в руку».

Повесть Эргали Гера — о времени, которое грядет, ведь в 1990-е выросло новое поколение, которое, по словам гуру Николая, «поклоняется Мамоне и верит в Чубайса», а по духу повести понимает, что «блаженная Матрона актуальнее Гагарина».

Владимир Шпаков

Краеугольный камень

Поэтической антологией сейчас вряд ли кого удивишь. На полках библиотек и книжных магазинов мы видим даже не братские могилы сотен поэтов, а целые братские кладбища: здесь кладбище традиционалистов, здесь — авангардистов, а вот, к примеру, большое и красивое коллективное захоронение мастеров верлибра...

Не будем, впрочем, о грустном. Подобную опасность составители питерского «Собрания сочинений» прекрасно осознавали и просчеты предшественников учитывали. Арсен Мирзаев, Дмитрий Григорьев, Валерий Земских и Сергей Чубукин — не новички как в поэзии, так и в издательском деле. Несколько лет назад, например, Дмитрий Григорьев был редактором антологии петербургской поэзии «Стихи в Петербурге. 21-й век». А в позапрошлом году Арсен Мирзаев стал одним из составителей вышедшей в том же «Лимбусе» антологии «Поэтическая формация». Опытные, короче, ребята, а главное — заинтересованные в том, чтобы выдать Urbi et Orbi нечто нетипичное, коль скоро представился случай.

Случай представился в лице Сергея Чубукина, который не только пишет хорошие стихи, но и имеет определенные финансовые возможности для их издания. Требовалась нетривиальная структурная идея, которая, с одной стороны, позволила бы участникам сборника «не затеряться в толпе», с другой — была бы нацелена в будущее поэзии, а не в ее прошлое. Ведь как раньше составлялись подобные антологии? Авторы представляли подборку стихов, написанных порой и десять, и двадцать лет назад, так что па-

---

Собрание сочинений. Том 1: Поэзия Петербурга 2009. — СПб.: Лимбус-пресс, 2009.

норама складывалась, скорее, ретроспективная, нежели отражающая современность.

Принципиальное отличие этой антологии — включение в нее стихов именно 2009 года (а не 1999-го и не 1989-го). То есть прошлыми заслугами здесь не отбоярishься, коль скоро ты поэт — представляй свое нынешнее, а не позавчерашнее творчество! Корректен ли такой принцип составления? Ведь может оказаться так, что в указанном году автор ничего не писал, у него была творческая пауза. В таком случае у него есть шанс попасть в другой том «Собрания сочинений».

Проект предполагает публикацию стихов, которые еще *не написаны*! И в этом отношении «Собрание сочинений» не имеет аналогов в истории отечественного книгоиздания, во всяком случае, мне подобные примеры неизвестны. В этом и заключается нацеленность в будущее, которое может быть разным. Благосклонным к поэзии (что маловероятно), неблагосклонным (что гораздо вероятнее), но стихи в этом будущем все равно будут писаться. Особенно в Питере, где вопреки всему «поэзия — пресволочнейшая штуковина: существует — и ни в зуб ногой».

В том включено 35 авторов, что представляется разумным. В вышеупомянутой антологии «Стихи в Петербурге. 21-й век» под одну обложку поместили 70 поэтов, подразумевая, что охватили всех. Увы, не охватили (в частности, «забыли включить» Кушнера и Гандельсмана), в итоге остались обиженные. В «Поэтическую формацию» включили уже 120 поэтов, но обиженные все равно были. Во-первых, питерских поэтов обидели авторы предисловий — Дмитрий Быков и Виктор Топоров. Во-вторых, от такого количества поэтов рябит в глазах, звенит в ушах, и поэтические голоса сливаются в некий нестройный хор. Получилось то же кладбище: вот тебе, поэт, два квадратных метра, то бишь место на пару-тройку стишков, и покойся с миром.

Если говорить о структуре антологии, то она, опять же, нетипична. Самая простая структура — выстраивание авторов по алфавиту — была отвергнута как искусственная и дежурная. Тогда что: группировать авторов по эстетическим принципам? Иначе говоря, помещать в каждый раздел поэтов одного круга? Но и такой подход показался составителям непродуктивным. «Все авторы имеют столь индивидуальные поэтики, — объясняется в предисловии, — что говорить об общих школах и направлениях затруднительно. Поэтому каждый раздел объединяется не столько фигурами поэтов, так или иначе близких друг другу: стилистически, формально, тематически, эстетически etc., — сколько характером самих текстов».

С учетом сказанного становится понятно, почему в рамках одного из шести разделов могли объединиться такие разные авторы, как Сергей Стратановский и Евгений Мякишев, Виктор Соснора и Александр Скидан, Тамара Буковская и Валерий Земских. Из общей стратегии составителей выпадает лишь финальный раздел In memorium, где помещены стихи ушедших поэтов: Виктора Кривулина, Елены Шварц, Константина Крикунова. Понятно, что здесь никто не требовал стихов, написанных в 2009 году; но и представить антологию *петербургской* поэзии без текстов этих авторов как-то трудно. Будущее будущим, но и о прошлом не надо забывать.

Теперь перейду к самому сложному. Даже предельно сжато невозможно рассказать об авторах, представленных в антологии. Да и не хочется «сжато», слишком хорошие авторы, некоторых вообще можно отнести к классикам. Поэтому придется говорить в общем и целом, предъявить не анализ, а скорее впечатление.

У меня лично складывается впечатление, что здесь представлена *современная* поэзия в широком смысле слова (а не потому, что стихи написаны в позапрошлом году). Один из несомненных признаков современного стиха — пренебрежение ямбами-хореями. Многие авторы антологии предпочитают самовыражение в свободных формах, чувствуя усталость традиции, которая даже глубокое и искреннее высказывание может сделать дежурным и схематичным. В конце концов, форму диктует жизнь: изломанная, искореженная, она проскальзывает

сквозь крупную ячею классических метров, стремящихся гармонизировать бытие и выстроить хоть какую-то иерархию. Увы, иерархия рушится, гармония исчезает, а поэт, который упорно пытается влить новое вино в старые мехи, терпит поражение, поскольку обречен на фальшь.

Авторы антологии тоже не предлагают читателю абсолютно безупречные стихи, но они, во всяком случае, не фальшивят. Недоверие к заезженному силлабо-тоническому клише порождено внимательным вслушиванием в гул времени. Этот звук зачастую режет ухо и в то же время настоятельно требует воплощения в поэтической форме.

в растерянности потеряв связь своих мыслей
со способом их выражения
понимаю это и есть начало смерти
нам всем только кажется что она настигает
внезапно
словно бы являясь ниоткуда
чтобы уйти с нами в никуда
скоро постигая все наши телесные тяготы
нет она проникает в нас медленно
и растворяясь в составе естества
вытесняет то что было нами
вытесняет то что было Я

Тамара Буковская

Впрочем, свобода может проявляться и по-другому. Например, у Валерия Мишина системным принципом становятся грамматические нарушения: «имея много женщин,/ превратил бы их в обнаженщин,/ но имею только одну/ и ни за что ее не раздну/. имея много ума,/ всем бы давал взайма,/ а так вот по уму/ никому не даю взайму». Понятно, что ошибки здесь являются языковой игрой и формой выражения авторской иронии.

Без иронии, конечно, современная поэзия не обходится. Ирония может быть мягкой, интеллигентной; может быть жесткой, даже на грани фола (Евгений Мякишев, «Ботанический сад»). Составители явно не моралисты, они и ненормативную лексику пускают под обложку, руководствуясь, видно, иными критериями. Автор должен быть прежде всего талантлив и не писать пустых стихов. Хочется шокировать публику? Шокируй, но не будь вульгарным. Хочешь играть с поэтическим наследием прошлого? Тоже не возбраняется, главное, чтобы поэтическое высказывание в целом было не заемным, оригинальным.

Мне на плечи бросается век-кошкодав
А навстречу бросается век-кошколюб
Загрузи меня в топку, ленивый удав
И смахни шелуху с навороченных губ..

Юлия Беломлинская

Классика тут не принижают, напротив, его любят «живого, а не мумию», и если такая игра помогает автору выразиться, создать запоминающийся образ, то это замечательно. В антологии — вопреки печальным, а порой и мрачным мотивам — вообще много *свободы*. Наверное, это последний оплот поэзии, которая в последние десятилетия стремительно теряет читателей, почти умирает, но умирать хочет не в застегнутом на все пуговицы сюртуке, а в плаще свободного покроя (а подчас и вовсе без всяких тряпок на теле).

Разумеется, изложенное впечатление страдает неполнотой, оно куцее и ущербное, но в противном случае неизбежно утомительное многословие. Скажем только, что у представителей других литературных направлений скорее всего получилась бы антология с несколько иным составом участников, и с другими стихами. Но в том-то и штука, что в задуманной перспективе никто не уйдет обиженным. То есть на страницах следующих томов места хватит всем направлениям, главное, чтобы авторы писали, а не доставали из ящиков столов стихи, покрытые многолетней пылью.

Основная проблема вообще в другом. Удалось ли составителям выбраться из могилы? Получилось ли обмануть безжалостное время, которое норовит загнать поэзию в подполье, вытеснить ее в маргинальное пространство, замуровать в склепе читательского равнодушия?

Хотелось бы верить, что эта антология — краеугольный камень не склепа, а Дома поэзии. «Надеемся, что через 5 лет (или более того — если проекту будет суждена долгая, успешная и счастливая жизнь) из этих камней мы все-таки сможем сложить некий общий Дом петербургской поэзии...» Мы тоже на это надеемся.

Михаил Румер-Зараев

Эпизод из жизни ученого

И словно выплывает на поверхность нашего времени эта коллизия из семидесятых годов с их интеллигентским бытом, с кухонными разговорами, самиздатом, кандидатскими диссертациями (что как знак научной карьеры), и другими реалиями нашего тогдашнего существования.

Молодой талантливый математик чувствует себя сломленным в мире, где невозможно «жить не по лжи». Его обворовывают, его идею присваивает высокопоставленный делец от науки, так что остается лишь один выход в попытке восстановить душевные силы — уйти матросом на небольшое речное судно, перегоняемое в караване других только что построенных судов из Москвы в Архангельск. Но и там, в мире, который казался простым и чистым, — цинизм, ложь.

Таков сюжет романа Игоря Дуэля с несколько лобовым названием «Тельняшка математика». Сюжет, открывающий причастному к российской литературе читателю множество аллюзий — от пресловутого хождения в народ взыскующих правды российских интеллигентов конца позапрошлого века до борьбы молодых искренних ученых — героев ранних романов Даниила Гранина — с карьеристами и бюрократами, а также морских историй Виктора Конецкого. Но у Дуэля — свой голос, свое видение мира. Его герои, особенно корабельные, выписаны точно и выпукло, а авторское знание дела, которым заняты эти герои, — отнюдь не заемное, а выношенное, приобретенное опытом.

Роман исполнен в духе русской добротной реалистической традиции, не оставляя у читателя вопросов и сомнений в подлинности происходящего, в свойственной этой традиции искренности переживания, которой подчас так не хватает многим современным произведениям литературы, полным холодной постмодернистской игры ума. Конечно, каждому литературному поколению свойственны свои игры, свое видение мира. Но прозе Дуэля присуще ничем не подменяемое ощущение правды жизни, где страдание героя не замутняет авторского глаза, не искажает видения реальности и точности художественного мышления.

Идя по пути аллюзий, на который толкает повествование Дуэля, вспоминаешь, как за полтора столетия до тех времен, когда происходили события этого романа, некий молодой и пылкий американский интеллектуал отправился в долгое плавание на китобойном судне, заложив тем самым сюжетную основу великой книги, которая до сей поры будоражит воображение мировой читающей публики.

Я, разумеется, далек от мысли сопоставлять произведение современного российского литератора с романом Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит» только лишь потому, что герои обеих этих книг, оставив привычные им занятия, уходили матросами в плавание. Аналогия в другом. При всем обилии морских китобойных реалий и библейских ассоциаций, наполняющих прозу Мелвилла глубоким религиозно-философским смыслом, его роман, как отмечает современная нам критика, в сущности, «о судьбах сообщества людей, именовавших себя американцами», плывущего по неизведанным водам истории.

Куда, к какой гавани устремляется этот корабль? Мелвилл не дает ответа. Его вселенная пуста и безразлична к человеку. В ней нет ни Бога, ни провиденциальных законов. Нельзя надеяться на высшие силы. Судьба человека в его собственных руках. Такая безрелигиозная

Игорь Дуэль. Тельняшка математика: Роман. — М.: Изд-во «Время», 2010.

мысль должна была наполнять мелвилловского современника ужасом, если бы он осознал эту мысль за густой завесой морской романтики, заволакивающей действие «Моби Дика».

Возвращаясь к корабельному путешествию нашего математика, напомним, что осью его странствий является глубинная Россия, деревнями и городками разворачивающаяся по речным берегам, вдоль которых плывет судно и куда оно пристает на недолгие стоянки, наполненные для матроса и его спутников разными приключениями. Автор вовсе не пытается исследовать жизнь провинциальной глубинки. Россия здесь обозначена тенью, силуэтом, цепью коротких встреч с самыми разными людьми, эпизодов, формирующих ткань жизни, образ этого медлительного и дремотного бытия.

Плывет, плывет кораблик сквозь страну — Дубна, Череповец, Углич с его храмом «на крови» (а что у нас не на крови?), и в другом безвестном селе — старинная пятиглавка, где «бревна, нагретые за день, были теплыми, будто живые, и прикосновение к их шершавой поверхности, хранившей следы топора, который тесал их сто или даже полтораста лет назад, доставляло необычайное наслаждение». Все в этом плаванье — исступленное пьянство старпома и механика, драки с местными парнями, промельком обрисованные образы капитана катера, что подвез подгулявших речников на их судно, одинокий рыбак в Архангельске, которому открывает душу герой романа — все это Россия, неизменная в своих пороках, пьянстве и душевной лености и вместе с тем меняющаяся в пространстве своей трагической истории, ищущая себя и прорицающая свое будущее, Россия, подобно мелвилловской Америке, плывущая невесть куда в пустой и безразличной к человеку вселенной.

Герой Дуэля — романтик, по-донкихотски бросающий вызов то обворовывающему его руководителю института, то пьянице-старпому, с холодным цинизмом ломающему жизнь человека. И в этом последнем поединке он побеждает. «По мне бы ты какой должен быть? — говорит старпом. — Трусоватый, хилый, неумеха. Тогда бы все о'кей. А так все карты шиворот-навыворот. Шестерки королей бьют. Неразбериха какая-то».

В этом конструировании характера героя — кабинетного ученого, углубленного в мир математических абстракций, в час жизненных испытаний оказавшегося физически и духовно сильным, способным противостоять злу, — авторская мечта о том, что представители близкого ему социального слоя, близкой среды способны принять вызов жесткой и грязной действительности. Чистая мечта, рождающая, кстати, размышление о природе романтики. «Романтика — это тяга к раскрепощению, потребность в движении застывшей в статике души, ее порыв. Но от чего освобождаться? Куда рваться? В этом душа слепа. И романтический по своей форме порыв способен заполниться любым содержанием. Так возникает блатная романтика, романтика кулачного боя, романтика анархии. И все это вместе и есть романтика цинизма». На столкновении двух начал романтического мироощущения и основан конфликт математика и старпома.

Следы подобного разлома сознания, некой двойственности видения мира — и в другой части книги, посвященной основной работе героя. При известной приблизительности описания этой работы, что немудрено, учитывая математический ее характер, отметим ее типичную для семидесятых годов тематику, уходящую своими истоками в размышления завлаба нашего героя, собственно, и подсказавшего ему направление поиска. Речь идет о создании гуманитарно-математического стиля мышления, открытии с помощью математики некоторых закономерностей жизни общества вплоть до вбирающей в себя всю мудрость мира «Формулы человеческого счастья».

Каково? Это вам не мелвилловская грозная непознаваемость бытия. Здесь замах на приближение к его истокам, к миру платоновских символов. Но при всей фантастичности такого замаха само размышление об открытии с помощью математики некоторых закономерностей жизни общества характерно для общественной атмосферы семидесятых годов. Все эти попытки планирования производства, все эти автоматизированные системы управления им, противопоставляемые «слепой» стихии рынка, заставляли меня, довольно активно работавшего тогда в экономической журналистике, вспоминать толстовскую сцену военного совета перед Аустерлицем. Дремлющий и уже

понимающий неизбежность поражения Кутузов и начальник австрийского штаба генерал Вейротер, разворачивающий тщательно продуманную на основе военной науки диспозицию и бодро возглашающий свое вошедшее в наш интеллектуальный обиход: «Ди эрсте колонне марширт, ди цвайте колонне марширт…».

Стихия войны, стихия жизни, фаталистически воспринимаемая Кутузовым, и четкий, далекий от реальности расчет, олицетворяемый в романе в «сумрачном германском гении», — это контрапункт нашей истории с ее хорошо рассчитанными утопическими проектами, громыхающими на небосводе национальной жизни лозунгами коллективизации или столыпинской реформы, и вязкая тина провинциального медлительного существования российских городков и деревень, вдоль которых плывет по речной глади кораблик с нашим честолюбивым математиком в тельняшке.

Роман написан от лица его героя, преуспевшего ученого, сделавшего свое открытие в прикладной математике (какое, уж не формулу ли счастья?) и вспоминающего события своей молодости. Для современного же читателя эти события — часть нашей новейшей истории, которая складывается не только из чередования войн и генсеков, но и из духовных поисков и переживаний людей, их социального бытия, их страданий и скитаний, попыток обрести себя.

Закрыв последнюю страницу книги, я подумал о том, как сложилась бы судьба ее героя в наше время, как доживал бы он свой научный век в том же академическом институте, где так звонко и драматично начиналась его карьера. Как, будучи увенчанным степенями и званиями, он тем не менее охотился бы за грантами, глядел на Запад, куда уезжают его самые талантливые ученики, и вспоминал прошлые достижения… Но это была бы уже совсем другая, лишенная романтического флера, печальная книга.

Андрей Турков

Милость к падшим…

Эта горестная судьба побуждает вспомнить строки молодого Тютчева:

…Ваша память от потомства,
Как труп в земле, схоронена.

Тем более что бесследно исчезнувшая на далеком сибирском кладбище в Петровском заводе плита, где значилось: «Прыжов Иван Гаврилович, сочинитель…», некогда соседствовала с могилой декабриста Горбачевского, одного из непосредственных «адресатов» этого сурового приговора.

Но если по отношению к ним история сравнительно быстро отменила его, окружив их имена заслуженным ореолом («Декабрист — одно это слово заставляло выпрямиться», — сказано в книге), то Прыжова и его товарищей по большей части вспоминают лишь как «сподвижников» мрачнейшей фигуры отечественной истории — С.Г.Нечаева, ставших прототипами «бесов» в знаменитом романе.

Диагноз, поставленный Достоевским деятельности самого Нечаева, так точен, так совпадает с мнением об этом «революционере»-самозванце уголовного толка лучших представителей русской общественной мысли, а также Маркса и

Валерий Есипов. Житие великого грешника: Документально-лирическое повествование о судьбе русского пьяницы и замечательного историка-самоучки Ивана Гавриловича Прыжова. — М.: Русская панорама, 2011.

Энгельса, внимательнейшим образом исследовавших сей казус, наконец, настолько важен для понимания и других трагических развилок отечественной истории, что, по справедливому определению Валерия Есипова, «бесы» начинают восприниматься — во всяком случае, некоторыми современными литературоведами — как «род Евангелия», непогрешимого и не подлежащего уточнению и каким-либо поправкам.

На этом фоне слова исследователя, что «Бесы», несмотря на гениальные пророчества, требуют к себе критического отношения, выглядят прямо-таки дерзостью, хотя он тут же предупреждает о своем намерении «хоть чуть-чуть обновить или освежить аргументацию... в спорах» как о знаменитом романе, так и о непосредственных фигурантах нечаевского дела и вообще о революционерах, категорически аттестованных Достоевским как люди «без чести».

Обращает на себя внимание уже первое, акцентируемое автором обстоятельство. Предполагали, что Федор Михайлович лично присутствовал на процессе (последнего Есипов не упоминает, но вот что говорится в статье сатирика «Так называемое "нечаевское дело" и отношение к нему русской журналистики»: «Войдя в одно из заседаний, мы...» и т.п.).

Однако, как убедительно показано в книге, будущий автор «Бесов» там, по всей видимости, не появлялся. Помимо некоторых бытовых причин (в частности — опасений попасть на глаза кредиторам, о чем говорится в воспоминаниях жены писателя), он по своему обыкновению и не стремится к «фотографической» точности, считая, что его «фантазия может в высшей степени разниться с бывшей действительностью», которую, по собственному признанию, знал не иначе, «как из газет».

Впоследствии, посылая свой роман наследнику престола, будущему Александру III, Достоевский подчеркивал, что там «нет списанных событий, не списанных лиц», ибо, как сказано в «Дневнике писателя», «надо дать поболее ходу идее». Там же, когда заходит речь о портретисте, декларируется: «А стало быть, что же делает тут художник, как не доверяет скорее своей идее (идеалу), чем предстоящей действительности?»

Как отмечают современные комментаторы «Бесов», действительность нечаевского дела «предстояла» перед художником в весьма специфическом освещении катковских «Московских ведомостей». Если выступавшие на суде лучшие русские адвокаты («молодцы, как на подбор», — пишет В.Есипов), кропотливейшим образом изучившие и само дело, и подсудимых, единодушно и решительно отделяли главаря, сбежавшего за границу, от людей, вовлеченных им в общество обманом и впутанных в убийство мифического «предателя», то «Московские ведомости» представляли негодяями всех их скопом и громко негодовали, когда суд проявлял к ним снисходительность, а некоторых оправдывал.

Главная же судебная ошибка была сформулирована газетой следующим образом: «Нигилистов ссылают, на каторгу, нигилистов сажают в тюрьму, а нигилизму перед лицом суда воздан некоторый почет».

Дело в том, что защитники подсудимых дружно вскрывали причины, толкавшие тогда — особенно молодежь — в паутину заговоров и террора. «Возникновение тайных обществ, начиная с 1861 года, — прозвучало, например, в речи князя Александра Урусова, — указывает на такое патологическое состояние страны, которое, по-видимому, не устранено, несмотря на самые энергические меры». «Ненормальная жизнь влечет за собой ненормальные последствия...» — говорилось и в «Исповеди», написанной Прыжовым для своего адвоката К.К.Арсеньева.

Понадобилось всего несколько лет, чтобы и Достоевский признал, что в юности сам мог стать «нечаевцем» и что «даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого чудовищного злодейства», каким было убийство студента Иванова, заподозренного в намерении(!) донести.

Однако в пору самого процесса Федор Михайлович полностью «доверился» своей идее не только о полнейшем тождестве Нечаева с нигилизмом вообще, но и о том, что «прямыми отцами Нечаева... были наши Белинские и Грановские».

«Пишу... в большом жару... Нигилисты и западники требуют окончательной плети», — говорится в его письмах того времени, и если так она вовсю гуляет по «Белинскому, Грановскому и всей этой шушере», «навозным букашкам», то рядовым нечаевцам и вовсе ждать пощады не приходилось.

При этом, зарекаясь от «списывания» с лиц, автор романа тем не менее уснащал «фантастические» портреты персонажей конкретными чертами вполне реальных людей, весьма вольно трактованными.

Таков, в частности (если не в особенности), образ одного из ближайших подручных главного «беса» — Петруши Верховенского — Толкаченко. Он явно иронически, уничижительно охарактеризован как «странная личность, человек уже лет сорока, славившийся огромным изучением народа, преимущественно мошенников и разбойников... щеголявший... дурным платьем, смазными сапогами, прищуренным хитрым видом и народными фразами с завитком».

Предоставим читателю решать — говорить ли о «списывании», если:

— и Прыжов много странствовал по деревням и монастырям Московской, Владимирской и Тверской губерний, живо интересовался историей и литературой Украины, проникновенно писал о Шевченко;

— помимо того, что и обычный сюртук у этого не слишком удачливого человека был изрядно поношенным, Иван Гаврилович в своих скитаньях нередко облачался в форменное рубище, которое, по меткому определению одного из его первых биографов, «было не только «проф-», но и «бронь-одеждой», поскольку, как и Толкаченко, ходил «нарочно по кабакам», но — в отличие от персонажа «Бесов» — в результате написал высоко оцененную Лесковым «Историю кабаков в связи с историей русского народа» (1868), а допрежь того — книгу «Нищие на Святой Руси»;

— щурился он и вправду, но лишь по близорукости, будучи, по многочисленным свидетельствам, «добрейшей душой» и вот уж, действительно, чистейшим сердцем и простодушнейшим человеком, обмануть которого Нечаеву не стоило труда;

— наконец, подобно Толкаченко, часто бывал без места и тоже служил «по железным дорогам».

Однако бесконечно интереснее то, что Достоевский самовластно «вписал» в биографию героя и что было принято за истину и по отношению к «прототипу». Именно эти «приписки», как показывает исследователь, затем многократно варьировались и «тиражировались» во всяких трудах как исторического, так и беллетристического толка, в том числе и в наши дни.

Именно Толкаченко на сборище, принимающем «последнее решение» о судьбе воспротивившегося Верховенскому Шатова (в реальности — Иванова), прервав общее молчание, «первым крикнул»: «Да отправить же его наконец к черту!» А вечером, перед убийством, «почти не отходил от Петра Степановича... часто и суетливо лез с ним перешептываться». Наконец — первым же «бросился сзади» на Шатова.

Когда же все было кончено, Толкаченко вместе с Эркелем (тоже напавшим на Шатова сзади) «принесли еще с утра запасенные ими два камня», и пока Верховенский привязывал их к трупу, «Толкаченко все это довольно долгое время продержал свой камень в руках на отвесе, сильно и как бы почтительно наклонившись всем корпусом вперед, чтобы подать без замедления при первом спросе, и ни разу не подумал опустить свою ношу пока на землю». Так же послушно исполняет он и другие приказания Петра Степановича.

В одной рецензии той поры Щедрин, чрезвычайно высоко отозвавшись о Достоевском, который «стоит у нас совершенно особняком», сетовал, однако, что некоторые его персонажи сделаны «руками, дрожащими от гнева». Это относится к Толкаченко в полной мере. Чернящие его краски слишком уж намеренно густы и своей «увесистостью» начинают походить на вышеупомянутые камни[1].

И вот последний взмах «окончательной плети»: после ареста Толкаченко «наклонен покраснобайничать; много и с охотою говорит, а когда дело дойдет до знания народа и революционных(?) его элементов, то даже позирует и жаждет эффекта. Он тоже (как одноделец Липутин. — *А.Т.*), слышно, намерен поговорить на суде».

Вопросительный знак, вероятно, призван напомнить читателям о преимущественном интересе героя к «мошенникам и разбойникам», столь характерном для Нечаева и его «крестного отца» Бакунина, но отнюдь не для Прыжова. (Не придется ли тут к слову патетическое

[1] Хорошо, пожалуй, что Федору Михайловичу осталось неизвестным обыкновение Прыжова в день рождения Грановского — 4 октября — обметать листья с его могилы. А то не «подкрепила» ли бы эта грустно-идиллическая картинка мысль о «прямых отцах» Нечаева!

утверждение «Московских ведомостей»: «Слава Богу, в нашем народе не оказывается иных революционных элементов, кроме людей, которые незаметными переходами приближаются либо к дому сумасшедших, либо к притону мошенников!»?)

В заключительном суждении автора о Толкаченко угадывается и косвенная уничижительная оценка сказанного Прыжовым на суде, восходящая, похоже, увы, опять-таки к катковской газете, издевавшейся над процитированными им стихами Гете:

> Жертвы валятся здесь —
> Не телячьи, не бычьи,
> но неслыханные жертвы —
> человечьи...

«Может, и в самом деле Прыжов произнес последние слова громче, чем обычно говорил, — замечает В.Есипов. — Он сильно заикался с детства, и всякая речь давалась ему с трудом. А эта — тем более...»

«Московские ведомости» же трунили: «...Один (из подсудимых. — *А.Т.*) рявкнул стихами...»

Исследователь к месту напомнил, как недвусмысленно отозвались на эту выходку «Отечественные записки» Некрасова и Щедрина: «Только палач способен остановить человека сказать последнее в жизни, в физической или политической».

И насмешливое упоминание о наклонности Толкаченко «покраснобайничать» и намерении «поговорить» на суде тоже, мягко выражаясь, могло быть сделано только «в большом жару»...

Но в чем же, действительно, повинен Прыжов?

Роковым образом единственным подлинным документом, с которым явился в Россию мнимый эмиссар Международного товарищества рабочих, было письмо, адресованное болгарским писателем-демократом Любеном Каравеловым именно Ивану Гавриловичу, его знакомому. Восхищенный тем, что Нечаев «вышел из народа», уверовав в его — лживую! — героическую биографию (Нечаев с Бакуниным уговорили Огарева «переадресовать» ему восторженное стихотворение о студенте-революционере, который «весь век нелицемерен»), Прыжов не мог отказать в просьбе «помочь народу» и свел нового знакомого с друзьями, ставшими, подобно ему самому, доверчивыми жертвами беззастенчивой лжи, иезуитских козней и бешеной энергии «эмиссара» (поговаривали о своего рода гипнотизме, ему присущем).

Вскоре, однако, Иван Гаврилович, по собственным словам, тяготевший к «мирной социальной пропаганде путем распространения знаний», убедился, что Нечаев презирает этот «вздор» и действует (якобы) от имени некоего «Комитета народной расправы». Поняв, что, говоря словами Грибоедова, «шел в комнату — попал в другую», Прыжов пытался увиливать от поручений самозваного вожака, но тот был хитер и цепок, как клещ, а решимости пойти на полный разрыв недоставало, да Нечаев и перед откровенным запугиванием не останавливался.

Больно и горько читать, как бессильно барахтался Иван Гаврилович, пытаясь вырваться из оплетавшей их всех паутины, и как не миновал понурой, с трудом одолеваемой этим близоруким ревматиком дороги к роковому гроту в Петровском парке, куда он еле доплелся, сделавшись горестным свидетелем преступления...

Это только в романе «сильнее всех был Толкаченко», «он подал совет идти в ногу» (неся труп к пруду), оказался и среди тех, кто «крепко схватили» впавшего в истерику Лямшина, и — уже единолично — «связал ему руки».

Все, как говорится, с точностью до наоборот!

Никаких показаний об участии Прыжова в убийстве Иванова на процессе не прозвучало, но тем не менее за отсутствием главного — сбежавшего — «беса», как по старшинству (42 года), так и потому, что в составленном Нечаевым списке членов «организации» Иван Гаврилович стоял вторым после «вождя» да еще под кличкой Чертов, он вышел в главные «государственные преступники»: его приговорили к двенадцати годам каторги с последующим поселением в Сибири навечно.

В.Есипов считает, что свою роль в этом сыграли предыдущие «грехи» Ивана Гавриловича, в особенности его резко антиклерикальный памфлет «Житие Ивана Яковлевича, известного пророка в Москве» (1860), разоблачавший кумира московских суеверов и святош, мнимого прорицателя И.Я.Корейшу (книга, которую ревностные почитатели лжеюродивого подвергали сожжению), да и «История кабаков...» и «Нищие...» настораживали горестной правдой о теневых сторонах

отечественной действительности, где, как писал автор, «легче напиться, чем наесться» и «прибежищем народа... остается один кабак... последний приют, куда он приходит с горя».

В том, что выходило из-под прыжовского пера в тюремную и позднейшую пору, живо ощутимы не только понятное «ожесточение против судьбы, людей, общественного строя», как писал современник А.Н.Веселовский, но и мучительная, вдумчивая честная попытка осмыслить случившееся и его уроки.

«Насколько высоко социальное учение с умственной стороны, — сказано в «Исповеди», — настолько же вредно, когда оно обращается к практике, — это тот же деспот, который вертит по-своему народную жизнь, бессильный сделать что-либо доброе». В.Есипов справедливо сопоставляет эту горькую запись, явно порожденную нечаевской историей, с аналогичными тревожными раздумьями в «Письмах к старому товарищу» Герцена, вообще оказавшего на Прыжова заметное влияние.

В ссылке Иван Гаврилович принялся за — к сожалению, таки не завершенный — труд «Декабристы в Сибири на Петровском заводе», где решительно выступил против ставших ему известными «попыток стащить декабристов с их пьедестала и подвергнуть их «либерализм», их душу, их сердца всевозможному уничтожению». Он, пишет В.Есипов, «не только протестует против наветов и инсинуаций, окруживших святые для него идеи, но и воссоздает портреты тех, кто был олицетворением этих идей», — людей «с высоко поднятым челом», как именовал он самых стойких из них.

Ничтожно мало из написанного Прыжовым пробилось тогда в печать (под псевдонимом Благовещенский) — в «Вестник Европы», где публиковались «Записки из Сибири», и в доживавшие свои последние годы «Отечественные записки», на закрытие которых ссыльный горько отозвался: «...Сбылось пророчество: “Съест свинья, съест”» (имея в виду знаменитую щедринскую «героиню» — Торжествующую свинью).

Даже за год до смерти Прыжов, судя по обнаруженному В.Есиповым в архиве его письму Александру Николаевичу Веселовскому, был полон творческих планов. «Умираю, а ногой дрыгаю», — с обычным ерничаньем над собою сказано и в более раннем послании старому другу, шекспироведу Н.И.Стороженко.

Подобно защитникам на нечаевском процессе, которые, не ограничиваясь характеристикой своих непосредственных подопечных, старались замолвить словечко и за их товарищей по несчастью, автор рецензируемой книги при всей своей увлеченности ее главным героем внимательнейшим образом проследил судьбы его «сопроцессников», тоже никак не укладывающиеся в предначертанное им некогда «амплуа» злодеев, будь то Петр Успенский, оказавшийся на каторге в дружеских отношениях с Чернышевским, а позже с рядом выдающихся народников, или Александр Кузнецов, будущий выдающийся просветитель Забайкалья, высокообразованный, благороднейший, стремившийся на помощь каждому, кто в ней нуждался. Он снова попал на каторгу за участие в революции 1905 года (а сначала чуть было не под расстрел), но пережил и это испытание и после освобождения в 1915 году еще больше десяти лет продолжал свою культурную деятельность.

Разумеется, в книге В.Есипова много и подробно сказано и про главного виновника тех давних трагических событий, и про многочисленные попытки его «реабилитации» и даже романтизации, возвеличивания (одно промедление — уже в советское время — с переводом и публикацией беспощаднейшей к Нечаеву с Бакуниным работы Маркса и Энгельса «Альянс и Международное товарищество рабочих», этого, как пишет исследователь, «суда политического разума и заставляет о многом задуматься!).

И все же главное своеобразие «Жития великого грешника» (название, довольно смело заимствованное автором у своего частого «оппонента» — Достоевского!) — в том, что здесь наконец-то воздана справедливость несчастным, которые десятилетиями, как горестно писал один из позднейшего поколения революционеров, «слыли за демонов... без сердца и совести», или попросту были безнадежно забыты, как последовавшая за мужем в Сибирь Ольга Григорьевна Прыжова.

Вопрос о чести и достоинстве реальных людей, ставших жертвами обмана и клеветы, как справедливо утверждает автор книги, «если брать по большому историческому счету... касается и чести всего русского освободительного движения», — которое, следует добавить, в последнее время слишком уж часто подвергается самой безапелляционной критике.

Анна Папченко

Дорогами фантазий

Сегодня никого не удивить путешествиями даже в самые экзотические и труднодоступные места. В век, когда устраиваются экскурсии к кратерам действующих вулканов, турпоездки в Антарктиду, и словосочетание «космический турист» уже вызывает не только усмешку, никто не ахает от названий «Тасмания» или «Аляска». И уж тем более «Испания» или «Израиль». Поэтому, возможно, кто-то, повертев в руках книгу Алексея Анастасьева «Истории с географией» и прочитав в аннотации, что речь пойдет о журналистских экспедициях в Ла-Манчу, Палестину, Шри-Ланку, только пожмет плечами и скажет: «Подумаешь невидаль! Мы прошлым летом на Галапагосах были...»

И ладно. Эта книга не для него. Это чтение для тех, кто в путешествие берет с собой не только карту и путеводитель. Для тех, кто перед поездкой в Португалию читает «Ночь в Лиссабоне», хотя там ни слова нет почти о достопримечательностях города, а прежде чем отправиться в Швецию, перечитывает «Малыша и Карлсона», хотя там не сказано, где лучше пообедать в Стокгольме.

И еще для тех, кому интересно читать Петра Вайля и Александра Гениса, даже если он не собирается объехать полсвета и осесть в Нью-Йорке. Кто не относится к «Русской кухне в изгнании» как к поваренной книге. Кто покупает своим детям Бианки и смотрит передачи про животных, и читает научно-популярную литературу, которая, впрочем, становится в нашей стране (и в мире, правда, тоже) все менее популярной. Не так давно было подсчитано, что в СССР примерно каждый 20-й человек ежемесячно был потребителем научно-популярной периодики, то есть покупал, например, журналы «Вокруг света» и «Знание — сила». А в 2000-е в России лишь каждый 140-й ее житель более или менее регулярно интересуется научно-популярными изданиями такого рода.

Кстати, одно из них, вышеупомянутый журнал «Вокруг света» и стал той трибуной, с которой тесно связана журналистско-писательская и экспедиционная судьба Анастасьева. Будучи в 2004—2009 годах редактором географического блока этого старейшего в России познавательного издания, он, во-первых, поднял его на высокий художественный уровень, требуя от себя и от авторов не только «познавательности», но и «слога». А во-вторых, придумал и совершил, в частности, описываемые в «Историях с географией» путешествия.

Они условно объединены в три блока, составляя три главы книги: первая посвящена поискам исчезнувших животных — тасманийского волка соответственно в Тасмании и быка купрея в Камбодже, вторая — земной географии трех персонажей («трех Евангелий» в терминологии автора — христианского, светского и азиатского) — Иисуса Христа (современные Израиль и Палестина), Дон Кихота (испанская провинция Ла-Манча) и Будды (Шри-Ланка) и третья — своеобразному обходу самых дальних (если иметь в виду центром столицу) границ России по обе стороны: Аляска и Приморский край.

Я говорю условно объединены, потому что, если поводом отправиться в камбоджийскую саванну стал таинственный южноазиатский бык-купрей, последнее открытое на планете крупное млекопитающее, это не значит, что речь идет только о быках и саваннах. Умеющий путешествовать и рассказывать Анастасьев как бы мимоходом сообщит про Камбоджу море любопытного: как переводится название столицы Пномпень и почем там сдают квартиры, как живут современные кхмеры, зачем высушивают внутренности бе-

---

Алексей Анастасьев. Истории с географией. — М.: GELEOS, 2010.

лок-летяг и разводят крокодилов в плавучих деревнях. И наоборот, если автор задался целью пройти земными путями Христа, то это не помешает ему сообщить, где в Иерусалиме подают «рыбу Святого Петра», как устроена израильская система водоснабжения и что простые люди думают по поводу арабо-израильского конфликта.

Предвидя постную мину на лицах романтиков и любителей приключений, которых познавательная сторона путешествий интересует в меньшей степени, отмечу, что в термине «научно-популярная литература» для автора «Историй с географией» ключевым является все же слово «литература». «В детстве автор этой книжки больше всего на свете любил два занятия: рассматривать карты и сочинять истории» — так начинается повествование.

Достоинство рассказчика собранных в книге историй не столько даже в удивительной и редкой в наше время широте взгляда и эрудиции (хотя и это совсем немаловажно), сколько в умении поделиться ими без педантства и без «зауми» и сделать из рассказа о личных впечатлениях приключенческую повесть, что под силу только настоящему писателю. Потому и читать его интересно вовсе даже не в связи с путешествиями. Это путеводитель «LonelyPlanet» по Тасмании глупо читать, если ты не сидишь в самолете, направляющемся в эту самую Тасманию, или впечатления только что побывавших там любителей экстремального дайвинга. А про то, как пара русских журналистов переживала тропический ураган, поставив парусиновую палатку в тасманийских джунглях, можно и в электричке по дороге на подмосковную дачу.

Приключения сами находят автора «Историй», что, в общем, неудивительно, потому что он по природе своей их искатель. Плюс по призванию — беллетрист. Потому он сначала, несмотря на все предостережения, отправился один, без рейнджера в дебри камбоджийского природного заповедника, где едва не сгинул, а потом описал это так, что и смешно, и дух захватывает, и не оторваться...

И все же не это, наверное, делает книгу «Истории с географией» литературой. Вообще говоря, всякое передвижение для Алексея Анастасьева — лишь повод для размышления о вещах, напрямую не связанных ни с историей, ни с географией. И поэтому в книге предстает актуальной и обновленной столь популярная еще совсем недавно, в советские времена, и совсем увядшая ныне очерковая литературная традиция. Писательская практика хождения «в народ» или «по местам», отчасти дискредитированная сегодня, когда все пути открыты и доступны и свои путевые заметки не публикует в какомнибудь блоге или ЖЖ только ленивый, оказывается не просто плодотворной, но и спасительной для этого жанра. Алексей Анастасьев тонко напоминает читателям, что это только кажется, что путешествие со всеми его случайностями предопределяет содержание очерка. На самом деле это писатель выбирает те дороги, на которых он рассчитывает найти ответы на волнующие его вопросы, и ведет по ним читателя.

Не случайно автор, который пошел на испанское отделение филфака МГУ лишь затем, чтобы прочитать в оригинале великий сервантесовский роман, отправляется по деревням и селам ла-манчской глубинки по следам великого положительного героя Дон Кихота. Он делает это, чтобы поделиться своими соображениями о том, что «во всей светской литературе вряд ли найдется роман более значимый для цивилизации, для народной мифологии, чем «Дон Кихот», — пусть даже цивилизация не всегда это осознает».

Потому же Анастасьев выбирает для экспедиции Приморский край, а не, например, Галапагосы. Для него это повод поговорить о том, благо это или бремя — широта родных просторов — и что такое российское имперское сознание и как так получилось, что большинство россиян скорее десять раз побывает в Турции и Египте, чем на Дальнем Востоке. И всякий, кто хоть раз тоже задумывался об этом, с улыбкой согласится с автором, завершающим эту главу и всю книгу в дальневосточном продуктовом магазине, где продаются готовые салаты — такого же ассортимента, запаха и консистенции, что в районе московской Таганки: «пока на всем пространстве от Калининграда до Приморья продаются у нас такие салаты, единообразные, как форма пограничников, наша страна не распадется, как многие того боятся. Не нужно спорить о том, что делать, дабы предотвратить распад. Достаточно следить за наличием салатов».

ГОВОРЯТ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ журнала «ДРУЖБА НАРОДОВ» за 2010 год

В конце марта 2011 года произошло знаковое для нашего журнала и наших авторов событие, которого давно не случалось и которое ждали больше десяти лет: в Москве, в Доме-музее Марины Цветаевой состоялась церемония вручения литературных премий журнала «Дружба народов» за 2010 год.

Это торжественное событие стало возможным благодаря спонсорской поддержке и активному организационному участию ОТП Банка во главе с его президентом А.А. Коровиным, отметившего вместе с редколлегией журнала лучшие публикации прошлого года в 6 номинациях, и в том числе в специально учрежденной ОТП Банком номинации «От Урала до Дуная», направленной на поддержку и развитие культуры Венгрии и других финно-угорских народов.

Мы сердечно благодарим ОТП Банк и лично А.А. Коровина за эту гуманитарную акцию и публикуем речи наших лауреатов, прозвучавшие на церемонии вручения премий.

Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ

Уважаемые дамы и господа!

Прежде всего позвольте мне выразить искреннюю и глубокую благодарность журналу «Дружба народов», с которым меня связывает многолетняя творческая дружба, и ОТП Банку, руководство которого, в отличие от, увы, многих, осознает жизненную важность той уникальной и благородной деятельности, которой журнал самоотверженно занимается на протяжении нескольких десятилетий, за присуждение мне специальной премии «От Урала до Дуная».

Если говорить о том из миров, которому посвящена эта премия, об угро-финском мире, то, конечно, в него входят очень разные этносы — марийцы, венгры, финны, эстонцы, удмурты... Они — разные звезды одной галактики. Но любая проблема, которую мы хотим понять и решить, в конечном счете упирается в человека. В отношение к нему, в то, какова, с точки зрения конкретной культуры и общества, ценность отдельного человека.

Один пример из близкой мне области. Когда начинаешь выяснять, почему маленькая Финляндия сегодня первая в области образования, то обнаруживаешь, что это зависит не только от школы, но от всей частной истории и современного состояния общества. А в этой истории есть место разным поучительным фактам — и традиции семейного чтения долгими зимними вечерами, и нормальному для страны явлению, когда хозяева частных вилл нередко отдают часть дома под разнообразные небольшие музеи и галереи для детей и взрослых. Или, например, такому поразившему меня факту: во дворе обычного дома стоит флагшток, утром приехала специальная служба и спустила флаг – это означало, что в доме умер старый человек. Вот это и многое подобное, наряду со школой, мне кажется, и определяет результаты системы образования.

У каждой культуры, у каждого народа есть чему учиться. Желаю журналу «Дружба народов» и его друзьям, всем нам, непрерывного образования. Спасибо.

Фарид НАГИМ

Дружба народов преследует меня с детства. Я родился в русско-казахской деревне на границе с Казахстаном.

Прямо во дворе нашего дома сохранился старинный пограничный столб, на одной стороне которого было написано ЕВРОПА, а на другой — АЗИЯ. Отец, провожая

меня в школу, говорил: «Иди в Европу, сынок, учись»! Иногда он сам, заложив руки за спину, прогуливался по западной стороне и замечал, что дышит воздухом Европы. А когда приходил пьяным, то ложился спать на траве «азиатской» стороны.

Учитель физкультуры нашей средней школы для пущего азарта делил моих одноклассников на две команды — «Россия» и «Казахстан», а я частенько сидел на скамейке запасных, но болел все же за русскую сторону, мне хотелось быть русским.

Первый мой рассказ был опубликован в нашей районной газете «За коммунистический труд», он был написан в духе горбачевской антиалкогольной кампании.

В Литературном институте я учился на семинаре прозы. Но по окончании института жизнь моя сложилась таким драматическим образом, что я, неожиданно для самого себя, написал пьесу, которая прославила меня в основном в Германии, я известный немецкий драматург — Farid Nagim. Эта пьеса познакомила меня с Людмилой Петрушевской и Татьяной Толстой, они отмечали язык моих прозаических ремарок. Естественно, что я показывал им и свои прозаические опыты. И странно, что обе они, по прочтении и после некоторых раздумий, сказали, что это надо нести к Бахнову, удивительно, будто сговорились.

Но опять же, первой в «Дружбе народов» была опубликована пьеса «Техника продажи», которую рецензент Николай Сухоцкий так, наудачу, предложил Александру Эбаноидзе. Я, конечно, был уверен, что не выйдет ничего из этого, тем более что журналы пьес-то не печатают. И как же я был удивлен, когда Эбаноидзе одобрил эту пьесу для печати. Он же предложил мне принести что-нибудь из прозы, будто знал точно, что прозу я пишу. И все-таки прозу — повесть «Теория падений» я понес в другие журналы, словно бы не веря, что «ДН» — мой журнал. И мне отказали в двух журналах и одном издательстве, а в третьем журнале прочитали и сказали... «А идите-ка Вы к Бахнову!»

И я пошел к Бахнову.

Я свободолюбивый человек и стараюсь, как для писателя, чтобы для меня не было запретных тем. В повести запретные темы были, все-таки — теория падений. Но Бахнову повесть понравилась, он посчитал это литературой и сказал, что покажет ее Эбаноидзе. И я снова был уверен, что она ему не подойдет. И снова ошибся — повесть была напечатана в ближайшем номере и уже через полгода стала финалистом премии имени И.П.Белкина.

Всякий раз, когда я поднимаюсь по лестнице в редакцию «Дружбы народов», я понимаю, как наше государство относится к дружбе народов — чердачное помещение, низкие потолки маленьких каморок, соединенных коридором, по которому можно пройти только боком. А что может быть актуальнее и нужнее этого журнала для многонациональной России, окруженной бывшими братскими народами?

И тем более я благодарен всем сотрудникам редакции, которые в таком шатком положении, в таких условиях, не получая толком зарплаты, все же делают свою великую работу.

По сводкам ГУВД Москвы, на Манежной площади собрались от шести до десяти тысяч фанатов и националистов. А я думаю — вот же они, возможные подписчики и читатели «Дружбы народов», вот кто должен был бы составлять ее читателей. А им просто негде встречаться больше — русским, кавказским и прочим, чтобы общаться, знакомиться друг с другом, познавать обычаи и культуру своих народов, чтобы видеть людей друг в друге, а не зверей и черных — они сталкиваются только на агрессивных, сопредельных территориях — на площадях, рынках, стадионах и в метро, всё.

«Дружба народов» была уникальной площадкой, на которой встречались, общались и дружили такие мастодонты, как Грант Матевосян и Яан Кроос, Чингиз Айтматов и Василь Быков и многие-многие другие.

Ах, как хорошо отмечать праздники в «Дружбе народов». Слушать грузинские анекдоты Александра Луарсабовича, настолько классные, что многие не удерживаются и присваивают их, пересказывают другим уже как свои собственные. Слушать блатные песни Леонида Бахнова. Знаете, как он поет блатные песни! И все теплеет вокруг, пространство маленьких комнат раздвигается до бесконечности, и хочется, чтобы это не кончалось никогда.

Я очень благодарен «Дружбе народов». Я уже не сижу на скамейке запасных. Благодаря этому журналу в России появился русский писатель с татарским акцентом — Фарид Нагим. Этот журнал необходим нашей стране. Все просто — не будет дружбы народов, будет вражда народов.

Я рад, что у премии появился спонсор — ОТП Банк, у которого такой подходящий слоган — «Давайте доверять друг другу».

P.S.

Знаете, я особенно рад и даже поражен, что вручение премии проходит в Доме-музее Марины Цветаевой. Здесь присутствует женщина, в которую я влюблен, я чувствую на себе ее светлый, умный и печальный взгляд. Я восхищаюсь ею как поэтом и мыслителем. Эта женщина поразила меня в самое сердце, я сожалею о ее трагической судьбе. И с недавних пор каждую свою литературную радость я адресую ей, мысленно отправляю в те мрачные последние годы, делюсь с ней каждой своей творческой новостью, своим успехом, и этот букет — можно — я бы тоже хотел подарить Марине Цветаевой, оставить в ее Доме. Спасибо!

Ирина МАМАЕВА

Здравствуйте!

Я очень рада сегодня присутствовать здесь, на этом замечательном мероприятии. Журнал «Дружба народов» очень дорог для меня. Моя дружба с ним началась несколько лет назад. Когда я приехала на Форум молодых писателей России, организованный Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ, сжимая в руках свою первую повесть «Ленкина свадьба». Тогда я была еще никому не известной девочкой из провинции. На форуме я познакомилась с присутствующей здесь Ириной Юрьевной Ковалевой, сотрудницей фонда. Она взяла мою повесть и пообещала, что отдаст ее в настоящий большой российский литературный журнал. Но шло время, и никто не спешил публиковать никому не известного автора из провинции. Я уже совсем было отчаялась увидеть «Ленкину свадьбу» напечатанной, как Ирина Юрьевна сообщила мне, что журнал «Дружба народов» берет ее в ближайший номер. И это было для меня настоящим чудом. Я была очень счастлива. С этого момента — а было это в 2005 году — и началась моя дружба с журналом и его сотрудниками. Именно в «Дружбе народов» вышли мои следующие повести «Земля Гай», «С дебильным лицом», «Бутыль», дорога на Поварскую стала привычной и любимой. Я очень благодарна всему коллективу журнала — Александру Луарсабовичу Эбаноидзе, Леониду Владленовичу Бахнову, Юлии Владимировне Ильиной-Король, Ирине Яковлевне Дорониной, Татьяне Васильевне Навроцкой, Наталье Николаевне Игруновой — за то, что они однажды поверили в меня и верят до сих пор. А для любого писателя это очень важно. Это дает силы писать. И еще я хочу сказать огромное спасибо президенту ОТП Банка Алексею Александровичу Коровину за то, что он считает нужным поддерживать культуру, помогать творческим людям. Это также дает силы и желание писать, творить дальше, потому что это кому-то нужно. Спасибо всем!

Александр РЕВИЧ

«Дружба народов» — это *мой* журнал. В течение многих лет я здесь печатаюсь, здесь меня хорошо понимают и принимают мою простоту. А я отвечаю журналу – верностью.

* * *

Забавы детства незапретные,
младенческие акварели,
невинные, как дым над Этною,
вы до сих пор не постарели,

вы до сих пор из сновидения
приходите, из непокоя,
как шелест, звон, и тем не менее
вполне отчетливой строкою,

той, что нечаянна, негаданна
и появляется до смысла,
как звук напева в дымке ладана,
как линии, цвета и числа.

Строка, число и свет, и линия,
и каждый лист, и стебель каждый,
равнина, горы, небо синее,
так свет, так мир возник однажды.

Георгий КУБАТЬЯН

О посреднике

Переводчик, он и есть переводчик. Если не придавать этой профессии некоей мистической значимости, то суть ее и смысл очевидны — быть посредником. Имея дело с хорошими стихами, надо постараться, чтоб и после твоего вмешательства и манипуляций с текстом они сохранили главное свое качество, то бишь остались и по-русски хорошими стихами. Все прочее так или иначе входит в эту задачу — донеси, будь любезен, информацию, которая содержится в оригинале. Сперва — что по-армянски сказано, далее — как оно сказано. Верлибром или рифмованным стихом, а если второе, то какова схема рифмовки, каков ее характер и что за строфа. Ну и так далее. Вот и вся недолга. Ты посредник. И закавыка лишь одна, как и в любом ремесле, — выполнить очевидную свою функцию квалифицированно. Понимающие люди сочли, что ты свое дело неплохо делаешь? Это, разумеется, приятно.

Пользуясь возможностью, хотел бы прилюдно и благодарно помянуть двух отменных литераторов, только-только, в нынешнем уже году, нас покинувших. Они были, помимо всего прочего, великолепными посредниками. В присутствии коллег Леонида Арамовича Теракопяна по «Дружбе народов» не стану толковать, сколько в редакции лежало на нем забот и как он управлялся с ними. Все, что знаю, как раз от его коллег и слышал. Скажу лучше про то, что видел своими глазами. Леонид Арамович многажды приезжал в Ереван, и любая его поездка, любая встреча, даже застольная, становились отчего-то рабочими. Свою посредническую роль он исполнял удивительным образом. Естественно, ненавязчиво, но и неотступно делал именно то, ради чего приехал, — интересовался, кто из известных ему прозаиков, и поэтов, и критиков чем отличился, и появились ли новые, и как заполучить у того-то стоящую вещь. И только-то? Правда, при этом он был едва ли не самым доброжелательным из всех, с кем я когда-либо сталкивался. То же, что в Ереване, происходило во всех, должно быть, и советских и послесоветских столицах. И, главное, завершалось журнальными публикациями. Не представляю, кто сделает эту подвижническую – не преувеличиваю! — работу так же просто, скромно и блистательно.

Внезапно скончалась Анаит Баяндур, энергичная до последнего дня, деятельная, непоседливая. В ее переводах изданы многие прозаики, раньше всего — Грант Матевосян. Его повести неизменно становились литературным событием, и как же не вспомнить — их, от первой до последней, представила по-русски Анаит. И за двумя, кажется, исключениями («Мы и наши горы» и «Похмелье» появились в «Литературной Армении») повести Гранта печатались именно и только в «Дружбе народов».

Султан ЯШУРКАЕВ

Уважаемые дамы и господа!

Позвольте назвать вас и коллегами.

Присуждение премии и выступление по такому поводу пред столь представительной аудиторией в моей биографии впервые. И, несмотря на свои немалые годы, я глубоко волнуюсь, не зная, что в таких случаях положено говорить, кроме «Спасибо».

Узнав о присуждении премии, мысленно сходил к босоногому пастушонку, пасшему коров в казахстанской степи, доложил ему: очень солидный журнал страны присудил тебе премию, и в глазах его увидел чувство удовлетворения, что написанное им воспринято каким-то числом людей.

Это событие и смущает, так как ощущения, что я писатель, никогда в себе не находил. Да, я человек пишущий. Жанр, в котором пишу, называю «жалобой», жалобой на человечество... тому же человечеству. В этот «жанр» меня вовлек... товарищ Сталин, ребенком депортировав с теплой родины в холодные степи чужого Казахстана и заменив молоко матери уличной травой, которую мы ели, чтобы выжить. В шесть лет, тайком от товарища Сталина, я перешел от травы к картошке, которую крал на огородах местных жителей. В восемь, став от картошки чуть сильней, подрядился пасти сельских коров. Теперь, выбрав корову поласковей, мог, как теленок, сосать ее вымя.

Недалеко от нас жил однорукий дядя Нажмуддин. Люди говорили, что его одна

рука грамотней всех вместе взятых рук жителей села, ею он писал заявления товарищу Сталину, что чеченцев без его (Сталина) ведома выслали в Казахстан и он как вождь и отец всех народов должен наказать совершивших такое и вернуть нас домой. Как-то, зайдя к сыну этого Нажмуддина, увидел, что, пристроившись на краю деревянных нар, Нажмуддин писал очередное заявление. На бумагу ложились ровные строки, которые он выводил, слюнявя огрызок «химического» карандаша. Смотрелись они очень красиво, и мне захотелось написать такие же. Придя домой, стал царапать гвоздем по бокам глиняной печи. В школу я не ходил, букв не знал, главным было, чтобы строчки выходили ровными, но они такими не получались, да и писал я в обратную сторону — оказался левшой, но еще не знал, что это такое. Исписав печь, перешел на стены. Закончив за зиму внутренние стены, весной перешел на наружные. Исписав дом, в котором жили мы, стал писать на соседних. Когда закончил большую саманную стену сельского клуба, строчки стали выходить почти ровными. Так стал пишущим... по глухой стене.

В 11 лет, когда повалил первый снег и коров моих не стали выгонять на пастбище, пошел в школу и выучил буквы. Считал, что все, что вносил в школьную тетрадь, как и дядя Нажмуддин, пишу товарищу Сталину. Не успел я закончить второй класс, товарищ Сталин умер. Писать стало некому.

Годы не стерли из памяти Казахстан. Он жил во мне и в каждом, кто побывал там. Память требовала, чтобы записал ее на бумагу. Начав писать, понял, что строчки должны быть не только ровными. Мой бывший директор школы посоветовал: «Грамоты тебе не хватает, в институт поступай». Так и сделал.

Но и после института строчкам чего-то не хватало. Вычитав из книги, что слово «юстиция» в переводе означает «справедливость», поступил на юридический факультет МГУ. После университета стал служащим. Это занятие тоже не стерло память о Казахстане, она все требовала записать ее ровными строчками. Так появились рассказы о жизни там депортированного народа. Их никто не печатал. Тогда написал стихотворение о том, что электричество в наш аул провел Владимир Ильич Ленин, это напечатали. В качестве кого был принят в Союз писателей СССР, точно не помню — не то чеченского советского поэта, не то прозаика.

Опубликовали мои вещи, когда вождем в Кремле стал Горбачев. Кстати, и ему я писал, что все это плохо кончится. Все жду ответа...

Когда в 1994 году началась первая война в Чечне, сидя под бомбежками в своем доме в Грозном, стал записывать происходящее вокруг в твердой вере, что за такое многих накажут. Так, неожиданно, получилась книга «Царапины на осколках». Когда началась вторая война, продолжил свои «царапины», из которых вышла вторая книга, она-то и опубликована журналом «Дружба народов».

Мне 70, из них пять — счастливых, студенческих. Что вынес для себя в этом мире? Хоть не был я ни философом-мыслителем, ни историком, ни политиком, ни писателем в полном смысле этого слова, в силу заданных реалий мне выпало думать о человечестве и прийти к печальному выводу, что оно, имея столь долгий исторический опыт, будучи столь просвещенным, столь одаренным Создателем, живет неразумно, и эта иррациональность приобрела уже характер необратимости. Полвека назад, получая Нобелевскую премию, великий Фолкнер сказал: «Я верю в то, что человек не только выстоит — он победит». Я в это не верю. Против кого выстоит? Кого победит? Кто воюет против человека, кроме него самого? Кто, кроме него, рушит планету, на которой живет? Кто с каждым днем рушит себя? Кто самый страшный враг ему, как не он сам? Сотни лет назад били мыслители в набат, призывая человечество остановиться, отчаянно кричали: «Назад!» Кто услышал глас вопиющего? Человечество не управляет самим собой, так человечество ли оно? Или несколькомиллиардная людская масса, раздираемая теми, кого называют сильными мира сего, и созданными ими политическими технологиями, экономическими рычагами-корпорациями, блоками, союзами? Не в человечестве ли идет естественный отбор, который мы приписывали диким животным — война сильных против слабых, чтобы выжить за их счет?

Прошу прощения, я знаю, что это называется пессимизмом, даже мрачным, увы, но мне трудно в сегодняшних реалиях найти в себе что-то другое.

И все же жизнь продолжается, и теплится последняя надежда, что все мы — люди — оглянемся на себя и станем... человечеством, в котором один будет в ответе за шесть миллиардов, шесть миллиардов — за одного...

Спасибо.

Приземление рюмки

Рубрику ведет Лев Аннинский

> Страна — непредсказуемая... Удалая и безалаберная... Много болтовни на кухнях и много водки... Все для своих... Традиционная неприязнь к чужим и умным... Немного иностранцев России не помешает.
>
> *Александр Гордон. Венгерская летающая рюмка и иные тексты, обсуждавшиеся нами за тем же столом.*

По нынешним телешоу-временам надо уже уточнять, какой именно Александр Гордон. Нет, не тот, который с экрана руководит обсуждением фильмов. А тот, который сам когда-то делал фильмы. Например, «Схватку в пурге», «Двойной обгон», «Выкуп». А до того — учился во ВГИКе вместе с Шукшиным и Тарковским. А до того — служил в кавалерии (или в артиллерии? — в артполку на конной тяге). А после того — написал мемуары о Тарковском (точнее, обо всех Тарковских). А теперь заявил о себе как уверенный прозаик. В чем могут убедиться читатели его книги «Венгерская летающая рюмка».

Насчет рюмки спорить не буду, хотя приземляется у нас обычно стакан, впрочем, это дело тонкое, а иногда и граненое. А вот с венгерским наполнением я чуточку подожду. Как и с немецким, литовским, таджикским и цыганским. Потому что суть в том, каково наполнение русское. А оно так интересно у Александра Гордона, что этот вопрос вполне мог бы обсудить со своими собеседниками и тот Александр Гордон, который устраивает «Закрытые просмотры». Я, во всяком случае, готов прокомментировать у Александра Гордона (автора венгерской рюмки) дерзкую мысль о том, что в России народ не очень хорошо знает, что ему делать с властью, а власть — что ей делать с народом.

Тут надо сообразить, где власть и где народ. В каждом конкретном случае.

Майор, орущий на лейтенанта, — это власть? А майор, на которого может наорать полковник? Про генерала молчу: генерал в крайнем случае наорет на полковника. Но эти военные чины сверху донизу — власть или не власть? А лейтенант, оказавшийся с солдатом вне расположения части и лишившийся, как и солдат, военной формы (по случаю ливня, совпавшего с появлением прекрасной дамы), — он еще может на него наорать или уже нет?

У Гордона — нюх на такие ситуации. Когда к власти пришел (ненадолго) Юрий Андропов, то послал агентов, чтобы отлавливали прогульщиков и сообщали по месту работы. И вот был отловлен такой прогульщик, который оставил свое место работы в суде и пошел купить пива, — «через три дня бумага легла к нему же на стол. Он не успел принять строгие меры взыскания к самому себе, потому что как раз Андропов умер».

Генсек умер — дело живет. Где оказывается власть, когда ее ветви схватываются друг с другом (нет, не в солидарном рукопожатии, а в рукоприкладном соперничестве)? Вот, например, сбегает из психушки больной; его ловит милиция, но ловит же и охрана той больницы, из которой его нельзя выпускать.

Сюжет — для голливудского боевика, как со знанием дела сообщает нам Гордон. И отдается жанру. Допросы, погони, засады, спрятанный нож, набитые морды,

улики, трупы... Написано все экономно, точно, суховато. Эротические сцены, напротив, влажны и сочны. Что объясняется сюжетно-клинически: «Только сумасшедшие бывают бурными в постели» (а сбежал герой, как мы знаем, из психушки), а еще объясняется спросом публики, чувствующей, что теперь «в мире секса все краны сорваны»...

Но не хочу отвлекаться от того главного, что открывает нам Гордон с помощью своего голливудского боевика.

Дело в том, что один из следователей специализируется по криминалу, связанному с перекупкой драгоценных, полудрагоценных и поддельных камней, а у одной из фигуранток как раз и обнаруживается такая коллекция. Браслет из Киргизии, колье из Литвы, чеканка из Армении...

Следователь задает законный вопрос:

— У вас украшения из всех советских республик... Вы сознательно это делали?

— Нет, конечно, — отвечает честная коллекционерка.

— Да, конечно, — отвечаю и я, потому что вижу в повествовании Александра Гордона экспертизу нашего многонационального мира во времена как советского строя («Записки лейтенанта»), так и постсоветской перестройки («Деревня») и, конечно, в романе «Летние облака», которые прикрыли «Венгерскую летающую рюмку».

Вот с венгров и начну.

Лейтенанты наши снимают жилье в мадьярском селе. Дочь хозяйки, молодая красавица, с трудом терпит русских оккупантов и ненавидит само слово «комсомол», которое они принесли на своих штыках. Но роман с нашим лейтенантом — крутит! Он — не уверен, что она любит его, «чужого ей по духу офицера». Но роман с нею — крутит!

В перенасыщенной страхом и ненавистью Европе первых послевоенных лет души ищут путей друг к другу — как проходов через минное поле.

Жизнь прожить — поле перейти, засеянное осколками поле.

Я не говорю об истинах общеизвестных. Что бы ни случилось, болгары русских все равно любят, а поляки все равно не любят. Или: после ухода цыган надо проверить, все ли хорошо лежит, потом — догнать их, отобрать украденное, после каковой разборки стороны расходятся... рискну сказать: *достойным* шагом...[1]

Диалог национальных душ — лейтмотив прозы Гордона. Украинцы — прямотаки созданы для армейской службы: «старшина в роте или в батарее обычно — украинец».

А литовец?

А литовец, сызмала привыкший у себя дома управляться с лошадьми, запросто будет управляться с ними и в советском артполку; правда, сосед его по хутору подался в «лесные братья», в связи с чем нашего литовца таскают на дознания; в каком тоне с ним разговаривают, можно себе представить; понятно и то, что с лошадьми ему куда приятнее разговаривать, чем с дознавателями. Но что касается службы, то литовец несет ее пунктуально...

Мир состоит не просто из людей. Мир состоит из людей, у которых за плечами тысячелетний опыт предков; опыт этот не сведешь к пяти-шести элементарностям хоть тоталитарного, хоть либерального кодекса, — надо мириться с бесконечностью человеческих вариантов.

— Кто они такие? Гуцулы, русины или какие-то лемки? — соображает наш лейтенант, беседуя с вислоусым стариком в карпатском селе.

— Кто вы такие? Украинцы? Гуцулы?

— Ни-и-и...нэ украинци.

— Гуцулы?

— И нэ хуцулы.

— А кто же?

— Мы — русины.

— Русские, что ли?

— Ни-и. Нэ русские. Мы — русины.

И это же тонкое этническое «ни-и» наследуется чресполосно следующей, постсоветской эпохой, только наполняется новым смыслом.

Вот несколько картинок из постсоветских очерков Гордона... Картинки вроде бы

[1] Этот «*достойный* шаг» — стилистическая находка Гордона, иногда посверкивающего своим литературным пером... Солдаты, одевающиеся по тревоге и *вбрасывающие* ноги в сапоги, — такое же стилистическое попадание... Но не буду отвлекаться от главной темы — от диалога национальных душ.

«скользят» параллельно действию, но в них заключено (для меня) не меньше смысла, чем в допросах по ходу голливудского боевика.

Напротив церкви — памятник Ленину. Бабка под ним торгует огурцами. В кустах укрылся азербайджанец: «крышует русскую старуху и свой товар».

Памятник недавней власти (напротив памятника давней власти) не мешает сотрудничеству народов в условиях перестройки?

А посмотрим.

«Церковь начали ремонтировать. Навезли машинами песок и гравий. Две стены в строительных лесах. У стены храма молодые таджики по-восточному не спеша ставят строительные леса. На корточках внизу сидят их соплеменники. Этот кусок Востока — теперь обычный российский пейзаж».

Что интересно в этом «куске Востока» — неспешное спокойствие и уверенная рабочая хватка. По контрасту с нервической тусовкой местных авторитетов: подъехали на машине к памятнику (к тому самому, что напротив церкви), что-то орут прохожим.

Что орут — в это лучше не вслушиваться. Но если вслушаться (я кое-что смягчу), то они орут здравицы в честь Гудериана и Мантейфеля — по случаю того, что в этих местах в войну гитлеровские генералы как следует проучили русских...

Проорали, прыгнули в машину, укатили.

Не бред ли все это?

Бред. Но какой-то вывернуто логичный, что ли. Русские стараются хоть на немецкой теме пробудить в себе чаемую ярость, потому что боятся собственного неистребимого благодушия?

А немцы? Что они теперь делают в наших градах и весях: слушают здравицы фашистским генералам?

А немцы не слушают. У них такие здравицы запрещены законом и запретны в обществе. Молодые гости из объединенной Германии разглядывают в нашей деревне дома и поражаются «отсутствию цветов в саду, у дома, или цветов в горшочках, висящих на окнах или стоящих у дома». Вежливые такие немцы, деликатные, в очках из тонкой металлической оправы, аккуратно в джинсу одетые. Молодые стажеры-ученые, биологи. Изучают нас.

Что-то не по себе мне от этой деликатности. Так и хочется спрятаться куда-нибудь, в глушь сбежать с этой улицы, в тот заросший овраг, на дне которого журчит ручей, играют камушки, поют птички...

И что же?

«И вдруг я замечаю, что недалеко от ручья замер и стоит, слившись с деревьями, травой, птичьим гомоном самый настоящий индиец, в яркой чалме, в тонком и цветном хлопковом одеянии. Смуглый, черноглазый. Бородатый и очень красивый... Замер, слился с голосами природы, с сырым воздухом оврага. Не оторвать ему глаз от невиданного, а может быть, и непонятного. Но стоит в гармонии, и сам гармония... И очень чужой в наших местах».

Чужой? Да ведь и мы с нашей мировой всеотзывчивостью, с нашей тягой к невиданному и непонятному — чужого не чуем. Мы ж весь мир жаждали в родню принять! Ну, и приняли. И уверены, что весь мир от нас в восторге.

А весь мир смотрит на нас так деликатно из прорубленных нами окон и из щелей нашего щелястого дома. С большим интересом смотрит, примечая и обдумывая, что с нами, русскими, происходит и что с нами делать, если мы не знаем, что с собой делать.

Это и есть то главное, глобальное, неотступное, что старается объять и обдумать Александр Гордон в своей «Деревне», в «Записках лейтенанта» и в летающей между ними «Венгерской рюмке».

Вот русский человек, встреченный в послевоенную скудную эпоху в военной части. Майор.

Тот самый майор, который, напившись до зеленых чертей, орет на лейтенанта, оскорбляет его, измывается и называет... русской свиньей, да еще на немецкий манер, как запомнилось ему на фронте: «Хенде хох! Руссиш швай!»

Опять: надо же довести себя до запредельной ярости, чтобы справиться со всепрощением, дремлющим на дне русской души?

Семья у майора погибла — вся — под немецкими бомбами во время эвакуации. Воевал он отчаянно. За освобождение Минска получил Героя и «Золотую Звезду». Потом за пьяные дебоши все тихо отобрали. Продолжал куражиться. Кричал, что он не Байрон, он — *другой*. В конце концов застрелился.

Но это — случай вопиющий, русская беда в растопыренном виде, между властью (майор все-таки) и народом (выше майора так и не поднялся). Ярко, горько, безнадежно.

Рядом с ним — солдатик, вроде бы простецкий, москвич (москвичам завидуют и потому ненавидят), но из Марьиной Рощи, вроде бы приблатненный. Но службу несет исправно…

Если не считать традиционных пьяных дебошей, в ходе которых солдата вяжут другие такие же солдаты и кладут в конюшне отсыпаться…

И если не считать приступов традиционного же разгильдяйства — от злобы «на весь мир». Откуда злоба? От обиды. Не весь мир?! Да! «А больше всего — на самого себя». Но почему? «А вы меня не трогайте! Я вот такой человек».

Тот говорил: «Я другой». То есть не такой, как все. Этот говорит: «Я такой», то есть не такой, как все. Русский комплекс. От судьбы не уйдешь. Хотя реализуется судьба по-разному. Одно дело — Герой, награжденный и развенчанный, покончивший с собой. Другое дело — солдатик, от куража лезущий на стену. Буквально: решил сбежать в самоволку, полез. Часовой (между прочим, тот самый литовец), по уставу, выстрелил в нарушителя. Попал в ногу. Наехали дознаватели: не было ли «неприязненных отношений»? Литовец сначала не понял, что это такое, потому сказал правду: не было. Стрелял, потому что так следует по уставу.

Литовца за образцовое исполнение службы поощрили отпуском, и он поехал к матери. А наш куражистый скончался через четыре дня от сепсиса, естественного при ранении в ногу.

По той же русской причине погиб: не сумел примирить в себе запредельную волю и задавленность чужой волей. Как-то тихо погиб, «статистически»: пенициллину в медчасти не хватило, а может, не хватились вовремя.

Армия послевоенная перебаливала долго. Но в небытие не ушла.

В небытие прицелилась деревня. То есть в следующие десятилетия стала вымирать. Или разбегаться. Оставались — старики. Молодые, не находя работы, отваливали в город. Или промышляли в округе. То есть воровали. Потом получали срок. Потом, если удавалось, из зоны бежали.

Нет, это у Гордона просто потрясающая картинка современной деревенской жизни. Бежит из заключения зек, его ловят. Он запутывает следы, в родной дом не идет, идет на дальнюю заимку. Но его и там ловят, потому что прочесывают округу с вертолета.

С вертолета! На районном уровне! Двадцать первый век!

Интересно, а в вертолете кто? Солдат (внутренней службы) выслеживает зека? Он — власть или не власть? А человек-зверь, убегающий от него по родным тропам, — это народ? Или не народ?

А если убежит этот народный герой от вертолета? Где он найдет пропитание?

Известно, где. Или случайного встречного ограбит (а то и угробит: зеки, как известно, народ безжалостный). Или по домам пойдет брать, что плохо лежит (цыганам можно, а нам нельзя?).

Гордон кончает книгу «исчезающе» многозначным эпизодом. Входит такой гость в дом, начинает грабить. Убивать не хочет, но старушка-хозяйка умирает от испуга. Ее родственники грабителя ловят и избивают. Причем норовят до смерти. До смерти им не дают, отбирают жертву.

Что власть будет делать с преступником? Что народ будет делать с властью, от народа неотличимой?

«Наташа, ты привези ружье, и мы его пристрелим в овраге».

В *овраге*! — знает же Александр Гордон цену слову.

Много горечи в его книге. Отчаяния нет.

Тысячелетие живет народ на этой полуосвоенной, недоосвоенной, полудикой земле «рядом с волками и медведями».

Что станется, когда еще через тысячелетие эту землю доосвоят? Легче будет?

Может, и будет. Но не нам.

А нам — жить в привычной непредсказуемости, в нашей чисто российской способности попадать в безвыходные положения и выходить из них с чисто русским талантом, расплачиваясь за неизбежные страдания великой культурой.

Только вот пасть лучше не раззевать. А то венгерская рюмка залетит. Из тех заоблачных высот, куда нам так хочется.

Summary

ELENA DOLGOPYAT. Short stories.

Elena Dolgopyat is an expert at telling queer stories and twirling an intrigue so intricately that the reader remains in tension till the very last page. It must be added to this that her riddles not only organize the plot but nearly become the main characters of her stories. How does she manage to do it? This is one more riddle.

RADA POLISCHUK. Lapserdak Sewed of Scraps.

Last year we published some stories from the book of this title which R. Polischuk is been writing for a time. Here are some more. «Lapserdak (long-lap frock-coat of Polish and Galician Jews) sewed of scraps» is of course a metaphor not without paradox. But isn't life itself a paradox in some way? Both Big History, and great number of small life-stories which this book is sewed of are also paradoxes of some kind. Sad, funny, human

ALEXEY IVANTER. Poems.

This name is well-known to the readers of the site stihi.ru as well as to the readers of «Drouzhba Narodov» and «Siberian Lights» magazines. Evgeniy Evtushenko called him «a big poet with his own breaking breath, with his own linguistic richness and with all-Russian responsiveness to others' anguish».

ARSEN MARTIROSYAN. June, 22, 1941.

In his article a historian A. Martirosyan tries to analyze and states his personal point of view on the causes of the tragic defeat of the Soviet troops in the first days of the Great Patriotic War.

ANATOLIJ TZIRULNIKOV. Taman before the Great Explosion.

«Why is it so? If only we have some heavenly corner we are bound to destroy it. Aral, Baykal Now Taman. Are we short of territory? Or destroying of the earthly paradise is a model situation, experiment, trying of the safety factor?» To investigate these questions as applied to Taman's situation tries our regular author, well-known scholar and far from indifferent traveller Anatolij Tzirulnikov.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2011 г.
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.

Наш индекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Сожалеем, но редакция нашего журнала не имеет возможности рассматривать рукописи, приходящие электронной почтой.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.
Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 691-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 695-52-03, зав. редакцией — 691-62-27, отдел прозы — 691-85-10, отдел поэзии — 691-63-63, отдел публицистики — 691-05-09, отдел критики — 691-64-50, факс: 691-63-54.
E-mail: dn52@mail.ru, http://magazines.russ.ru/druzhba/

Сдано в набор 20.04.11. Подписано в печать 20.05.11. Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл. кр.-отт. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 2500 экз. Заказ 2265. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом "Красная звезда"». 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 38. http://www.redstarph.ru